

ЕЛЕНА ФЕРРАРИ



Александр
Куланов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Ее звали Люся Ревзина, Ольга Голубовская, Елена Феррари. Еще имелись оперативные псевдонимы — «Люси», «Ольга», «Ирэн», были, вероятно, и другие. Мы знаем о ней далеко не всё, но и то, что установлено, заставляет задуматься. О том, например, какое отношение имела эта эффектная женщина с библейскими глазами к потоплению в 1921 году яхты генерала Врангеля «Лукулл», с легкостью приписанному на ее счет журналистами. И о ее роли в вербовке агентов для группы Рихарда Зорге в Токио. И о том, кем же она была на самом деле: террористкой, которую арестовывала ЧК еще в 1919-м, «преданным делу партии» агентом разведки или одной из последних поэтесс Серебряного века, дружившей с Горьким? Разочаровалась ли она в своем творчестве или принесла талант в жертву оперативной работе? И, возможно, главное: надо ли искать в ее судьбе подтверждения расхожей фразы «совпадений не бывает» или списать все несчастья на волю злого рока, без подозрений на заговор?..

- [Александр Куланов](#)
 -
 -
 - [Предисловие](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)

- [Вместо эпилога](#)
- [Приложение 1](#)
- [Приложение 2](#)
 - [Эрифилли](#)
 - [«Золото кажется белым...»](#)
 - [«Море в отсветах лиловых...»](#)
 - [«Пахнет морем и зноем...»](#)
 - [«Мне звезды на небе — глаза твои...»](#)
 - [«Мне звезды на небе — глаза твои...»](#)
 - [Свечи к образам](#)
 - [Молитва](#)
 - [Эшелоны](#)
 - [Полночь](#)
 - [Кафе](#)
 - [Полдень](#)
 - [На лугу](#)
 - [Часы вокзальные](#)
 - [Вокзал](#)
 - [«Куда мне девать глаза...»](#)
 - [«Тенью серой, тенью тихой...»](#)
 - [«Вы уедете и сразу станет пусто...»](#)
 - [«Захлопнутым мышонком сердце билось...»](#)
 - [«От зеркал и стекол зайчики...»](#)
 - [«Свищет и дразнит ветер...»](#)
- [Основные даты жизни и деятельности Е. К. Феррари](#)
- [Литература](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)

- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)

- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)

- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)

- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)

- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)

- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)

- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)

- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)

- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)

- [comments](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)

- [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
-

Александр Куланов

Елена Феррари

© Куланов А. Е., 2021

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление,
2021

*

Никто не умеет загнивать всем коллективом незаметнее разведчиков. Никто так охотно не отвлекается на второстепенные задачи. Никто не знает лучше, как создать иллюзию загадочного всеведения и за ней спрятаться. Никто не умеет так убедительно делать вид, будто смотрит свысока на эту публику, которой ничего другого не остается, как платить по самым высоким расценкам за разведданные второго сорта, а их прелесть не в том, что они объективно ценные, но в том, что процесс их получения окутан готической таинственностью.

*Джон Ле Карре «Голубиный туннель:
Истории из моей жизни»*

Предисловие

Я взялся за эту биографию сразу после того, как принял решение биографий больше не писать. Из этого понятно, что мое обращение к судьбе Елены Феррари стало случайным и «случайность», возможно, главное слово в этой книге. Несколько раз во время работы люди в погонах с нажимом и пафосом говорили мне: «Вы верите в случайности? Я — нет». После чего наотрез отказывались объяснить, как иначе можно трактовать бесконечные совпадения, из которых оказалась не связана — нет — выкована жизнь женщины, взявшей себе звонкий металлический псевдоним: Елена Феррари. Попытка реконструкции ее биографии для меня самого оказалась тем более неожиданной, что до сих пор все мои работы так или иначе были связаны с одной темой — с Японией. Ничего не поделаешь: я занимался изучением этой страны много лет, продолжаю делать это и теперь. Новая героиня не была с Японией связана никак (или почти никак, но это выяснилось позднее, по ходу написания книги). Так что же это оказались за обстоятельства, заставившие меня снова включить компьютер или, образно говоря, взяться за перо?

Летом 2019 года я прочитал книгу Алисы Аркадьевны Ганиевой «Ее Личество Брик на фоне Люциферова века». История возлюбленной Маяковского сразу же напомнила мне биографию другой женщины из той же эпохи и тоже расположившейся в опасной близости от Люциферова трона — Агнессы Мироновой. Судьбу жены высокопоставленного чекиста изложила несколько лет назад Мира Мстиславовна Яковенко, а ее дочь Ольга Игоревна подарила мне экземпляр первого издания книги. По большому счету оба повествования — и «Агнесса», и «Ее Личество...» об одном и том же — о женщинах, попавших в круговорот очередной кошмарной эпохи и всеми силами пытающихся выжить за счет доступных им способов и приемов: красоты (пока есть), очарования (держится дольше), врожденного умения очаровывать мужчин (совершенствуется с годами). Обе добились успеха: они выжили. Выжили, пережив всех своих защитников и вспоминая о них десятилетия спустя. Так совпало (в первый раз!), что пока я читал о Лиле Брик и перечитывал мемуары Агнессы Мироновой, на глаза мне попало подаренное другом издание, посвященное столетию военной разведки — знаменитого ГРУ: дорого выглядящий фолиант со множеством фотографий и минимумом текста. Причем, поскольку с иллюстрациями в этой системе всегда проблемы —

что показывать, если все сплошь секретно? — то портреты одних и тех же разведчиков оказались воспроизведены в ней по нескольку раз. Как будто для того, чтобы приковать к ним чье-то внимание. Получилось.

С одной страницы за другой на меня смотрела женщина с иконописным ликом, огромными глазами Мадонны и красивым именем: Елена Феррари. Тут же разъяснялось, что это псевдоним — то ли оперативный, то ли литературный. Настоящее же ее имя Ольга, и снова «то ли»: Ревзина, Голубева, Голубовская, Голубковская. Заинтригованный, я немедленно отправился в интернет и обнаружил сразу две статьи, посвященные многоликой «мадонне», явно служившие первоисточниками для всех остальных опусов о ней. Израильский литературовед Лазарь Соломонович Флейшман отнесся к Феррари так внимательно, что, «вытащив» из темы все, что в его положении и в данном формате было возможно, практически составил конспект для будущих исследователей ее биографии и творчества. В его изложении Елена Феррари предстала передо мной героиней, в революцию и разведку попавшей случайно. На самом деле она мечтала стать знаменитой поэтессой, но не вышло. Хотела, но так и не сумела воспользоваться покровительством своих маститых знакомых — Максима Горького и Виктора Шкловского.

Историк военной разведки Владимир Иванович Лота, используя материалы Флейшмана и рассекреченные документы своего ведомства, писал о Феррари, наоборот, в первую очередь как о разведчице и исключительно в превосходной степени, с пиететом и нескрываемым восхищением. Подход для корпоративных отношений естественный. Вот только что стояло за таким отношением с точки зрения фактологии, понять было сложно. К сожалению, мне уже не раз приходилось читать не только книги, но и рассекреченные документы по истории разведки, из которых явствовало: мало где образ и реальность расходятся настолько сильно, как в этой, крайне интимной, сфере политической жизни общества. К тому же из статьи Лоты можно было сделать вывод, что благодаря неординарным профессиональным качествам Феррари к этой женщине с особым уважением относился глава Разведывательного управления Красной армии Семен Петрович Урицкий, и это показалось мне важным совпадением.

«Секреты выживания в Люциферов век Агнессы Мироновой, Лили Брик и Елены Феррари» — примерно с таким настроением подходил я к идее новой книги, и сам псевдоним главной героини подталкивал автора к тому, чтобы, не особенно напрягаясь, изготовить совсем небольшую, по возможности остросюжетную и не изнуряющую читателя биографию красивой женщины, шпионки и поэтессы, жившей в не самый подходящий

для раскрытия ее талантов момент истории. Сам собой возник вполне «продаваемый» заголовок: «В погоне за Красной Феррари», что окончательно укрепило меня в мысли: надо писать.

Я уже отправился по архивам, уже начал собирать материалы, когда издательство «Молодая гвардия», где я случайно рассказал об этой истории, тут же предложило отказаться от длинных заголовков и писать сразу для серии «Жизнь замечательных людей». Автор встал в тупик.

«ЖЗЛ» с советских времен служила для меня образцом не столько добросовестного подхода авторов к изучению и воспроизведению биографии своих героев (в детстве я об этом не задумывался, а сейчас понимаю, что мир устроен сложнее, чем казалось тогда), сколько примером тщательного выбора самих героев. Павленковский^{1} вариант серии, основанный в 1890 году и оборванный в 1924-м, имел преимущество: в распоряжении первых авторов был обширный список великих людей прошлого — от Колумба до Некрасова и далее. Оспаривать справедливость выбора подобных личностей вряд ли приходило кому-то в голову, а простор для отбора выглядел поистине неохватным. После воскрешения усилиями Максима Горького серии в 1933 году корабль «ЖЗЛ» получил неизбежный идеологический крен, но основной павленковский курс не сменил. Главная проблема заключалась теперь в уровне новых авторов, и сам Горький в апреле 1933 года сетовал и негодовал в письме своему старому приятелю, бывшему сормовскому социал-демократу, ставшему литературоведом, Василию Алексеевичу Десницкому: «Не помню — предлагал ли я тебе помочь делу издания серии „Жизнь замечательных людей“? Возьмись, В. А., за это дело! Я забраковал уже с десятков рукописей, — отчаянно плохо и малограмотно пишутся биографии! Старый чорт, возьмись!» В конце концов Горький добился своего. Пусть не стараниями Десницкого, но со временем в серию придут роскошные авторы, такие как Михаил Булгаков, например, но... герои — кто они теперь? Кем должны быть эти самые «замечательные люди»? Безупречными рыцарями, носящими, как латы, идеалы, близкие каждому поколению читателей? Учеными? Святыми? Персонажами легенд? Сам Горький не оставил нам по этому поводу точных рекомендаций. И все же я думаю, он сильно удивился бы, если бы узнал, что новым героем серии «ЖЗЛ» стала его старая знакомая Елена Константиновна Феррари.

В рассуждениях о том, кем могут быть эти самые «замечательные люди», нередко присутствует цитата из поэмы Маяковского «Хорошо!». Мол, это должны быть такие герои, чтобы можно было рекомендовать их «юноше, обдумывающему житье, решающему, делать жизнь с кого...». Но

у этих строчек есть финал — всем финалам финал: «...скажу, не задумываясь — „Делай ее с товарища Дзержинского“». Да, это было такое время, такая специфическая эпоха, и Максим Горький, вероятно, ничего не имел против биографии «железного Феликса» в «ЖЗЛ». Но можно ли сказать молодому читателю «делай свою жизнь с товарища Феррари»? Да и сама по себе тема разведки, тайных служб, чекистов — модная и актуальная во все времена, достойна ли она становиться фоном для биографий героев почетной серии в принципе? Наверное, ответ у каждого читателя, у каждого автора найдется свой, и далеко не все скажут «да, такое может быть», но... Несколько лет назад литературный критик Олег Демидов в статье, посвященной чекисту-террористу Якову Григорьевичу Блюмкину, обмолвился: «С таким наплывом биографий шпионов остается ожидать, наверное, появления жизнеописания Елены Феррари — авантюристки, советской разведчицы и поэтессы... Пора бы». Пора пришла.

«ЖЗЛ» давно уже — «Жизнь заметных — примечательных — людей», а дальше уж кому кто больше нравится: кому «Сталин», а кому «Иисус Христос». Ничего не поделаешь, государственных издательств больше нет, а рынок сам диктует, что ему надо, и читатели теперь решают, что им покупать. Главным критерием попадания в серию стал масштаб личности кандидата — без оценки, без колористики. Но удовлетворяет ли этому условию Елена Феррари? Насколько она, если не замечательный, то хотя бы заметный человек?

Ответ на этот вопрос кажется простым. Версия биографии этой женщины, изложенная Владимиром Лотой с опорой на ведомственные документы и литературоведческое исследование Лазаря Флейшмана, стала не только канонической, но и чрезвычайно популярной. Еще бы — она основана на двух важных моментах, якобы случившихся в жизни Елены Константиновны: блестящей диверсии, приведшей к гибели врангелевской яхты «Лукулл» в 1921 году, и дружбе с Максимом Горьким. Интернет полон статьями на эту тему, в которых один автор старательно дополняет выдумки другого. Появилось залихватское художественное произведение с налетом декадентского эротизма, эксплуатирующее захватывающую дух историю «авантюристки, советской разведчицы и поэтессы». А когда уже наполовину была написана книга, которую вы держите в руках, отдельным изданием вышла подробная работа Владимира Лоты на ту же тему. В нее, развернутую из старой статьи, оказались включены важные исторические документы, имеющие прямое отношение к нашей героине и до сих пор недоступные гражданским историкам. Сами по себе они являются

исключительно ценным материалом для исследования. Но текст, обрамляющий эти материалы, содержит порой столь серьезные противоречия, что вызывает серьезное недоумение: как же все-таки было на самом деле? Практически одновременно с этой публикацией на экранах страны грянул художественный телесериал — не о реальной Елене Феррари, но все про ту же роковую красотку (правда, почти вдвое прибавившую в возрасте) — губительницу флота и разбивательницу сердец с помощью отточенной рифмы и ассонанса.

Приходится признать: героиня явно стала настолько популярна, что заслужила себе место в серии «ЖЗЛ». Неясным оставалось только одно: ее подлинная биография. Кем была эта женщина? И насколько прав был я, держа поначалу в голове ее образ, сопряженный с образами Агнессы Мироновой и Лили Брик? Очевидно, что ответы на эти вопросы неразрывно связаны между собой. В попытках найти их я переходил из архива в архив, отправлял запросы, был обрадован и разочарован полученными сведениями и отказами, ругался с представителями некоторых ведомств и удивлялся памяти родственников героини, получал ценные советы от историков и литературоведов. Медленно, мельчайшими шажками, набивая обидные шишки, то и дело сворачивая в тупики и вынужденно возвращаясь обратно, теряя время и обретая знания, я продвигался вперед по темному и извилистому коридору прошлого.

Уже в начале пути выяснилось, что и мое собственное, и более ранних авторов представление о том, кто такая на самом деле Елена Феррари, как складывалась ее подлинная биография и действительно ли она совершила те подвиги, что ее прославили в веках, в значительной мере основано на пересказах слов одних людей другими людьми. Не раз и не два, пока я разбирался с этим «испорченным телефоном», в памяти всплывал бородатый анекдот:

— Хаим, я слышал: вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?

— Не совсем.

— Что значит «не совсем»?

— Ну, во-первых, не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И, в-третьих, не выиграл, а проиграл.

Оказывается, самые авторитетные источники, которым принято доверять безоговорочно и бесспорно, имели странную тягу к неумному фантазированию, а в случае с нашей героиней их маниакально тянуло создавать о ней сказки. В то же самое время подлинных, не ангажированных и поддающихся перепроверке воспоминаний — да хоть каких-нибудь — не оставил почти никто. Она годами общалась со

знаменитыми писателями, поэтами, художниками, входила в различные творческие организации, выступала на вечерах, издавала книги, писала картины, но клише воспоминаний коллег о ней лапидарно до обидного: «какая-то Феррари». Почему так получилось? Как это могло произойти? Нет ответа. История «Красной Феррари» вообще переполнена загадками, не находящими никаких документально подтвержденных объяснений: путаная история большевистско-анархистского подполья и партизаны, которые не партизанили, казусы «Лукулла» и сына Шкловского, одновременная работа в Берлине и в Париже, в Париже и Риме, двойная вербовка Вукелича и две «Ольги» с аппендицитами в одной резидентуре... — обо всем этом узнает читатель, решивший пройти с автором до конца истории. А сколько в ней еще таких загадок, о которых мы пока просто не знаем...

Более десяти лет своей жизни Елена Константиновна Феррари отдала советской военной разведке. Абсолютное большинство материалов почти столетней давности о ее (да и не только ее) деятельности в этой службе до сих пор засекречено. Но даже то, что известно — а это, как правило, сведения, связанные с ее начальниками, — заметно мифологизировано. Сегодня принято считать, что все руководители тайных служб тех времен были «гениями разведки», а их подчиненные сплошь и рядом — «настоящие мастера шпионажа». Увы, если средний уровень образования в стране был близок к церковно-приходской школе, если у многих командиров и начальников в секретных ведомствах не хватало знаний, чтобы без ошибок написать элементарное письмо или заполнить анкету, то можно ли поверить в то, что они были в состоянии грамотно руководить огромной, сложной, неординарной организацией? Можно ли доверять кадровикам, которые, к примеру, записывали данные о знании иностранных языков разведчиками с их же слов, не в силах проверить их, поскольку ни они сами, ни кто-либо вокруг не знали вообще никакого языка? А ведь это было обычной ситуацией для 1920-х годов (и если бы только для них). Неудивительно, что Елена Феррари, действительно имевшая настоящий лингвистический талант (и этому как раз есть подтверждения), побывавшая в Европе еще до революции, не лишенная литературного дарования, чувствовала себя неуютно в компании коллег, хотела выделиться и со временем становилась все более и более амбициозной, мнительной и раздраженной женщиной.

Монотонная трескотня бывших завхозов от разведки, секретчиков и кадровиков, строчивших пустейшие мемуары о своем «пути в профессии», и их романтично настроенных фанатов сплела настоящий кокон — мягкий

и непроницаемый — вокруг подлинной истории советской тайной службы, которая на самом деле вряд ли хуже или лучше любой разведки мира. «Готическая таинственность» и высокомерная убедительность, о которых так точно написал бывший британский шпион Дэвид Корнуэлл, он же знаменитый писатель Джон Ле Карре, чьи слова вынесены в эпиграф к этой книге, часто прикрывали безграмотность, невежество и карьеризм, стоившие жизни и свободы многим настоящим разведчикам прошлого. Собирая материалы о Елене Феррари, я то и дело вступал в описанный в самом начале диалог относительно веры и неверия в случайности совпадения и всякий раз получал обескураживающий ответ: «Ничего не известно. Никаких подтверждений этому нет, но разве бывают такие совпадения? Вы в это верите?»

Должен огорчить часть потенциальных читателей: я скорее готов поверить в случайности, которые правят миром, чем стать адептом секты конспирологов, и считаю, что каждый здравомыслящий историк меня поддержит: факты важнее веры. Этому правилу я старался придерживаться во время написания книги о Елене Феррари, и оно же заставляло меня неоднократно менять внутреннее отношение к своей героине. Надеюсь, это был путь к объективности. По той же самой причине я тщательно старался избегать собственных соблазнительных фантазий в стиле «И тогда Ольга со всей ясностью почувствовала, что...»; «В цехе Ольга подружилась с такими же...». Откуда нам знать, что и когда она почувствовала и дружила ли она вообще с кем-нибудь, любила ли кого-то — если об этом не оставлено недвусмысленных свидетельств? С другой стороны, допустимо предложить читателям подумать вместе с автором, что она могла чувствовать или думать в какие-то моменты — это раскрывает авторское отношение к героине, и нормально, если читатель в чем-то будет не согласен с автором. Я старался соблюдать это и еще одно условие: если мне казалось, что отсутствие документов и уникальность ситуации позволяют строить какие-то версии относительно того или иного события, то пытался по возможности четко и определенно указывать на это читателю: «возможно», «не исключено», «есть версия, что...» и т. д.

К счастью, в любой организации, включая спецслужбы, встречаются не только поэты и писатели (почему-то литературная деятельность особо привлекательна для братии бывших шпионов), но и просто хорошие, умные, честные люди. Некоторые из них помогали и мне, за что я им крайне признателен. И, раз уж зашла речь о благодарностях, с большим удовольствием я говорю отдельное спасибо моему уже много лет бессменному личному редактору и помощнику — Марии Николаевне

Бересневой, которой новая тема позволила особенно эффективно применить свои профессиональные знания историка и любителя поэзии. Я также искренне и глубоко благодарю всех, кто помог мне в изысканиях по этому непростому делу. Тех, кто немного подтолкнул в нужном направлении, родственникам Елены Феррари, для которых она прежде всего любимая и несчастная «тетя Люся» и которые раскрыли для меня семейные архивы, позволив почувствовать сопричастность к этой, очень личной для них, истории. Тех, кто переводил с неведомых мне языков, кто просто помог советом.

Айя Айратовна Алиева, Николай Игоревич Герасимов, Анна Борисовна Делоне, Олег Владимирович Демидов, Анатолий Викторович Дубовик, Олег Владимирович Каримов, Мария Классен, Владимир Иванович Коротаяев, Олег Анатольевич Коростелев, Никита Анатольевич Кузнецов, Татьяна Александровна Кузнецова, Павел Вячеславович Малкин, Елена Рафаэловна Матевосян, Виктор Анатольевич Миронов, Василий Элинархович Молодяков, Владимир Владимирович Нехотин, Анастасия Геннадьевна Плотникова, Галина Эдуардовна Прополянис, Габриэль Гаврилович Старфин, Юрий Хангиреевич Тотров, Ольга Владимировна Учускина-Петсалаки, Лазарь Соломонович Флейшман, Александр Владленович Шубин — спасибо вам всем!

Исторические документы и переписка приводятся так, как в оригинале, если не указано иное.

Глава первая

Еврейка Люся

*Встань и пройди по городу резни,
И тронь своей рукой, и закрепи во взорах
Присохший на стволах и камнях и заборах
Остылый мозг и кровь комками: то — ОНИ...*

Хаим Нахман Бялик «Сказание о погроме»^[2]. 1904 год

Происхождение семьи нашей героини, корни ее генеалогического древа представляют собой довольно туманную картину, но вовсе не по причине какой-то намеренной таинственности, нарочито напускаемой спецслужбами. Будущая роковая женщина, *femme fatale* советской разведки, вошедшая в историю под броской фамилией Феррари, звезда резидентур Берлина, Парижа, Рима и Нью-Йорка родилась бесконечно далеко от любой столицы — в городе, малоизвестном за пределами Российской империи. Она появилась на свет 19 октября (нового или старого стиля — неизвестно) 1899 года в городе Екатеринославе (ныне — город Днепр на территории Украины), и нарекли новорожденную Ольгой Федоровной Ревзиной. В семье, среди родных и друзей нашу героиню всю жизнь звали Люсей, и со временем это имя перекочевало в протоколы спецслужб и даже в переписку резидентур, хотя и несколько измененное на французский манер: Люси.

Малая родина Люси — Екатеринослав, хотя и не гремел славой за пределами империи, для самой России был местом стратегически важным. Расположенный в самом центре Таврического края, он начал планомерно застраиваться в конце XVIII века как третья — Малороссийская, или Новороссийская (и даже назывался так одно время — Новороссийск) столица империи. Ко времени рождения Ольги город превратился в крупный промышленный и транспортный центр, связывающий железнодорожными, водными и сухими путями Криворожский железорудный бассейн, угольные шахты Донбасса, Киев и Черное море.

Пять огромных металлургических заводов, не считая массы менее крупных предприятий, паровозные депо, речная пристань, электрический трамвай (третий в стране — после Киева и Нижнего Новгорода!), гимназии, реальное училище, театры и более 120 тысяч человек жителей — таким был Екатеринослав в 1899 году. И более трети людской массы, населявшей этот город, составляли евреи.

В следственном деле, заведенном на Елену Феррари Главным управлением государственной безопасности (ГУГБ) Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР в 1937 году, подшита «Анкета арестованного». Есть там, конечно, и строка «национальность», в которой содержится краткое и на сегодняшний взгляд несколько странное определение: «русская (из евреев)»^[1]. Однако для тех лет подобная формулировка была обычной и означала, что арестованная, хотя и родилась в еврейской семье, по вероисповеданию (по крайней мере, официально) являлась православной. Возможно, была выкрестом во втором поколении, то есть дочерью перешедшего в православие иудея.

Ее фамилия — Ревзина (Ревзин) не самая редкая в Российской империи, но в Таврии она встречалась не так часто, как севернее — в еврейских местечках на территории современной Белоруссии. По одной из версий, она произошла от женского имени Ревза, что означает Роза. В целом ряде документов, касающихся нашей героини и относящихся к первой четверти XX века, она существует исключительно в мужском роде: Ольга Ревзин или, и даже чаще: Люся Ревзин, как если бы была иностранной. Но идиш, бывший в начале XX века основным языком еврейских диаспор, как раз и относится к так называемым «немецко-еврейским» языкам, а потому найти пример в Германии несложно: знаменитая немецкая коммунистка, ставшая автором идеи Международного женского дня, звалась Клара Цеткин, а не Клара Цеткина. Чтобы сравнение было более корректным вспомним наших соотечественниц: Надежду Вольпин — поэтессу, одну из подруг Сергея Есенина, Наталью Меклин — советскую летчицу, Героя Советского Союза. Проще говоря, в старом русском языке еврейские фамилии часто не имели женского рода.

В семейном архиве потомков мужа Ольги Ревзиной о ней сохранилась краткая, но характерная запись: «Был женат на Люсе-еврейке...» Ее непонятный, даже немного странный (то ли итальянский — если ее встречали за границей, то ли семитский — если отзывались о ней москвичи) облик с огромными, светлыми и печальными глазами и невероятной красоты ресницами запечатлели в своей памяти все, кто ее знал. Но дело, конечно, не только во внешности, которая позже помогала

Люсе, как и сотням ее коллег-евреев из советской разведки, так удачно растворяться в массе южноевропейских жителей, и даже не в фамилии, которую она поспешила сменить при первой же возможности. Происхождение нашей героини из-за черты оседлости может оказаться чрезвычайно важным для понимания того, как формировался характер этой женщины, в каких условиях прошли ее детство и юность, понимания того, как она стала тем, кем стала, и почему, в конце концов, погибла.

В той же «Анкете арестованной» перечислены родственники Ольги Федоровны Ревзиной: «Брат — Воля Владимир Федорович — ВРИО начальника 8 отдела Разведупра, бригадный комиссар. Проживает: Каляевская, д. 5, кв. 263. Брат — Ревзин Рафаил Федорович — учащийся, проживает: завод „Майкор“, Свердловская область. Сестра: Ревзина Любовь Федоровна — учащаяся, проживает там же; мачеха Ревзина Капитолина Ивановна — инвалид, проживает там же; приемная мать Давидович Эмма Ионовна^[2] — зубной врач, проживает в Кисловодске, Красноармейская, 12»^[3].

Уже в этом списке были скрыты загадки, которые предстояло разгадать. В чем разница, к примеру, между мачехой и приемной матерью и как они обе оказались родственницами Ольги Федоровны? Почему некоторые из родственников живут в настолько отдаленных от Екатеринослава краях, что непонятно, как они могли туда попасть? Но для нас все же наибольший интерес представляет биография старшего брата Ольги — Владимира. Он родился в семье штейгера (горного мастера) Федора Абрамовича Ревзина^[4] (по другой версии, исходящей, как и первая, от самой Ольги Ревзиной, — в семье мещанина и механика-самоучки^[5]) на полтора года раньше сестры — 19 февраля 1898 года^[6], и не в Екатеринославе, а в городе Кременчуге, расположенном выше по течению Днепра.

Кременчуг в конце XIX века — город примерно вдвое меньше Екатеринослава, но еврейская часть населения пропорционально еще более велика: около половины жителей. К сожалению, в опубликованных в интернете сведениях о горожанах семья Ревзиных не упоминается, а коммуникации с архивами Украины затруднены, так что можно только предполагать: штейгер Федор Абрамович Ревзин мог найти себе работу в этих краях, когда разрабатывался Криворожский железорудный бассейн — Кривбасс. В 1884 году сюда была проведена железная дорога и началось промышленное освоение месторождения. Важный момент: в горном деле, вне зависимости от того, каким способом ведется добыча — открытым или

закрытым (шахтным), используется взрывчатка. Мы этого не знаем точно, но штейгер Федор Ревзин вполне мог оказаться специалистом и в этой, весьма своеобразной, всегда востребованной и за пределами месторождений профессии подрывника. Более того, вполне вероятно, что сам Федор родился не в Кременчуге да и Федором был не всегда. В сохранившихся ведомостях Екатеринославской мужской гимназии есть запись о некоем отчисленном по причине неуплаты за обучение сыне мещанина Фриделе Ревзине, родившемся 2 июня 1874 года. Покинул гимназию указанный ученик 23 февраля 1892 года, то есть в возрасте семнадцати лет^[7]. Если предположить, что этот Фридель Ревзин позже крестился, став Федором Ревзиным, то вполне возможно, что именно он являлся отцом Владимира и Ольги. В таком случае их переезд из Кременчуга в Екатеринослав стал возвращением на родину после того, как бывший гимназист крепко встал на ноги. Однако этой версии противоречит автобиография Владимира, написанная им в 1926 году при поступлении в Коммунистический вечерний университет имени Я. М. Свердлова. Огромный вопрос — насколько эта автобиография вообще соответствует действительности, но, так или иначе, Владимир Ревзин вспоминал (почерк его, увы, не похож на сестринский и во многих местах неразборчив):

«Отец служил в промышленных предприятиях и разных подрядах младшим... <неразборчиво>. Он с 14 лет жил самостоятельным трудом. Работал рабочим в Северо-Американских Соединенных Штатах, затем в разных странах Европы и одновременно учился в технических учебных заведениях, но кончить ему не удалось ни одного.

В России, вследствие революционной деятельности и преследования полицией, он был вынужден часто менять место и службу. В этой обстановке гонений, частых обысков и крайней нужды воспитывалась сестра (она на 1,5 года младше меня) и я.

Мать нас учила грамоте, революц... <неразборчиво>, и рассказывала о жизни революционеров.

Товарищи отца и матери тоже рассказывали о своих похождениях, которых я смутно помню. Это Негрескул (Миша)... <неразборчиво>, Зина (Лаврова), машинист... <неразборчиво>»^[8].

Помимо чрезвычайно упорного, и оттого несколько сомнительного, акцентирования на революционно-бедняцком происхождении (с другим в указанное заведение, скорее всего, Владимира Федоровича могли просто не принять), в этом фрагменте не могут не удивлять отсылки к знаменитым народникам XIX века. Михаил Федорович Негрескул — зять выдающегося

русского революционера, одного из идеологов движения народничества Петра Лавровича Лаврова, скончался от чахотки в 1871 году, не дожив до тридцати лет^[9]. Зинаида Лаврова — возможно, одна из его дочерей. Вряд ли Владимир Ревзин мог помнить их хотя бы смутно, и нет никаких подтверждений того, что с ними мог быть близко знаком его отец. Может быть, они упоминались в каких-то разговорах и абитуриент Ревзин ввернул громкие фамилии в автобиографию для повышения собственного «революционного» статуса? Так или иначе, любая из версий происхождения отца Елены Феррари («профессиональный народоволец» или «выкрест Фридель Ревзин») сегодня пока не подтверждена и не опровергнута. И в любом случае в 1898 году — в период между появлениями на свет сына Владимира и дочери Ольги — семья Ревзиных перебралась в Екатеринослав.

Трудно сказать, насколько переезд (возвращение?) помог семье обрести счастье. Всего через несколько лет, в 1905–1907 годах, Екатеринослав, крупнейший промышленный центр Украины, переполненный крупными заводами с многотысячными коллективами рабочих, занятых в основном на тяжелейшем металлургическом производстве, стал ареной сражений между пролетариатом и полицией в ходе первой русской революции, а затем по нему прокатились волны террора и еврейских погромов.

Строго говоря, первый крупный еврейский погром в городе был зафиксирован еще в 1883 году. Его пришлось ликвидировать с привлечением не только полиции, но и регулярной армии, после чего на пару десятилетий волна антисемитизма отхлынула от порога екатеринославцев. В следующий раз ситуацию резко обострили чрезвычайные события: Русско-японская война, повлекшая за собой падение уровня жизни и, как следствие, поиск «внутреннего врага» националистическими элементами, и неудачная пролетарская революция, которую в городе поддержали многие рабочие с крупных предприятий. Во время массовых избиений евреев в октябре 1905 года в Екатеринославе были убиты, по разным данным, от 64 до 189 человек, несколько сотен получили ранения. Как выглядели эти погромы, каждый читатель, вероятно, представляет себе по фильмам и литературе. Местный житель Владимир Дальман свидетельствовал: «...внешняя картина погрома была везде поразительно однообразна. По улице с гиком и свистом пробегал отряд казаков. Они стреляли в прохожих, работали нагайками и „очищали“ улицу. Это требовалось для того, чтобы навести страх на самооборону. Улица замирала, и вот в этот-то момент появлялись банды хулиганов.

Начинался погром, и через полчаса дело было сделано: дома разрушены, битое стекло, обломки мебели, пух и перья покрывали мостовую, слипаясь с грязными ручейками крови. Затем появлялись солдаты: они „прикрывали тыл“ хулиганам все от той же еврейской самообороны...

Нас как громом прошибла страшная новость: с одного из пунктов близ пароходной пристани сообщили, что в 7 часов вечера к пристани подъезжал пароход с массой евреев, спасавшихся от погромов из различных городков по верхнему течению Днепра, на пристани этот пароход поджидала толпа хулиганов в чаянии добычи; как ни просили и не молили несчастные пассажиры, матросы отказались повернуть пароход обратно, и, едва пароход причалил к пристани, как на него ворвалась дикая банда, и началась расправа... Несколько десятков человек раненых побросали в воду, около десяти трупов выбросило впоследствии на берег»^[10].

25 октября екатеринославский полицмейстер подвел итоги резни сухим языком рапорта на имя губернатора:

«Доношу Вашему Превосходительству,

что во время происходивших в последние дни беспорядков в городе Екатеринославе разбито и разграблено 122 лавки, 64 магазина, 135 рундуков, 40 квартир и сожжено 5 домов. Убито евреев холодным оружием: 34 мужчин, 9 женщин, 1 девочка; огнестрельным оружием — 20 мужчин. Русских: 6 мужчин и 1 женщина огнестрельным оружием. Турок: 1 мужчина огнестрельным оружием. Ранено холодным оружием и огнестрельным оружием 48 человек евреев и 46 русских».

Одним из самых явных результатов этого кровавого кошмара стал массовой отток евреев из Российской империи вообще и из Екатеринослава в частности. До начала Первой мировой войны губернию покинули около 27 тысяч евреев^[11]. Другим принципиально важным итогом погромов стало укрепление сил национального и интернационального сопротивления. Уже в ликвидации этого погрома, как и других — более мелких, принимали участие силы еврейской самообороны — добровольные формирования, состоящие в основном из молодых, физически крепких и решительно настроенных членов диаспоры. В отличие от прежних времен теперь среди них велась политическая пропаганда, объяснявшая, что власти попустительствуют погромщикам, а значит, остановить насилие можно не ожиданием вмешательства этих же самых властей, а, наоборот, их насильственной сменой. Это сближало позиции собственно еврейских отрядов и интернациональных кружков социал-демократов, эсеров и анархистов, имевших большое влияние на екатеринославский пролетариат.

Одна из групп самообороны, созданная левой еврейской партией «Поалей Цион»^[3] (основанной в 1901 году в самом Екатеринославе), даже была объединена с отрядом заводских рабочих, насчитывающим около пятидесяти человек и возглавляемым социал-демократами^[12]. Всего «поалейционовцев» в городе насчитывалось около ста человек. Еще более восьми сотен местных жителей представляли Бунд — Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, строивший свою идеологию на марксистской основе и ориентировавшийся в разные периоды времени то на большевиков, то на меньшевиков, но в любом случае — на Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). Так, помимо своего желания и тем более желания властей, еврейская молодежь Екатеринослава оказалась чрезвычайно сильно политизирована и готова на самое решительное сопротивление кому бы то ни было. Видевшие своими глазами не только ужас грабежей, разорения, убийств, изнасилований, но и неспособность власти противостоять им, а то и прямое попустительство и подстрекательство, еврейские парни и девушки горели желанием мстить.

И не только еврейские. Среди рабочих других национальностей, прежде всего украинцев (малороссов), которых здесь было большинство, и русских, царила атмосфера не менее гнетущая, а настроения ненамного более оптимистичные. Это была именно та обстановка, которую воспроизвел в романе «Мать» литературный кумир молодежи начала XX века Максим Горький — человек, которому суждено будет сыграть особую роль в нашей истории. Это была та правда, за которую Горького любили и благодаря точному выражению которой он получил заслуженный статус настоящего народного писателя.

Картину, запечатленную Горьким, почти дословно (возможно, и под его непосредственным влиянием) и с еще большей документальной, биографической точностью изобразил в своих воспоминаниях Григорий Иванович Петровский — крупнейший деятель Российской социал-демократической рабочей партии в Екатеринославе. Позже, уже после Октябрьской революции, он стал одним из создателей Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), а в конце 1930-х годов — заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР и потерял в застенках НКВД сына. В Екатеринославе Петровский еще до революции 1905 года фактически сменил в подполье другого видного члена РСДРП — Ивана Васильевича Бабушкина, отбывавшего в Малороссии ссылку и организовавшего в Екатеринославе рабочие кружки. Начинать же работу Петровский на

местном Брянском металлургическом заводе в возрасте пятнадцати лет:

«Приехав в Екатеринослав и подойдя к заводу, я увидел величественную картину огнедышащей фабрики. Завод источал из себя огромные массы различных цветов дыма, пара, копоти, пыли, различных тонов стука, грохота, скрипа, свистков, сигналов и звонков, а вдали от завода, как будто бы на острове, стояло какое-то здание, кругом залитое водой, около которого возвышались две трубы. На мои расспросы, где водокачка Брянского завода, мне указали на это залитое водой здание. Подойдя к пристани, я заметил, как повернули лодки, которые подвозили и отвозили обратно смены рабочих. <...>

Рабочий день на заводе продолжался с половины седьмого утра до 7 час. вечера с полуторачасовым перерывом на обед. Завтрака не полагалось, но все рабочее в узелках приносили с собой завтрак, урывками, прячась от всех рангов начальства, где-нибудь в уголке под доской съедали его. Некоторые приспособлялись кипятить себе чай и также потихоньку урывками распивали его. Но начальство все время боролось с этим. <...> Масюков (тип, которых часто описывают социалисты, как французские или бельгийские капиталисты расправлялись с невольниками в Африке) иногда на своем пути случайно нападал в тот момент, когда рабочий, развернувши тряпочку, ел кусок хлеба. Масюков подходил и ногой отшвыривал тряпку и кусок хлеба, приказывал штрафовать на половину поденного жалованья нарушившего заводские правила рабочего с предупреждением, что, если это повторится, он выкинет его совсем с завода. Если он натыкался на ведро с кипяченым чаем (а чай тогда, нагревавшийся на курнике, отчего пропитывался запахом серы, представлял для рабочих лакомое блюдо), разбивал ведро о землю с таким же последствием для рабочих — штрафом и предупреждением на выкидку.

Громадина-завод поражал своей капиталистической стихией. В то время здесь работало тысяч пять или шесть народу. Редко, когда проходил день, чтобы не было убийств на заводе, а то обычно пять-шесть и даже десятков жертв всегда было. Что же касается травматических повреждений, то они считались десятками. И слышен был кругом стон от тяжелой работы, слышались всегда жалобы между собой рабочих о том, когда из этой невылазной бедности придется выйти.

Я помню тогда свое положение. На завтрак себе я мог брать только небольшой кусочек хлеба и больше ничего. Иногда, видя, что я в сухоматку жую хлеб, иной мастеровой, получая 1 руб. 20 к. — 1 руб. 40 коп. в день, подойдет и даст мне огрызок сахару и нальет остаток старого провонявшего серой чая: „пей, Петровский“... Если нужно бывало

закурить, то по очереди одной спичкой закуривали три-пять-семь человек... Обращение с рабочими было, что называется, „галантерейное“: при малейшем сопротивлении рабочие рассчитывались, при малейшем сопротивлении или строптивости требовались архангелы, выносили в знаменитую кордегардию проходных ворот и там уже кулаки черкесов и полицейских уснащали сознание пролетарию в незыблемость установленных порядков...

Здесь были не только избиения — это было тогда в порядке вещей, — но истязание с отборной руганью, плевки в лицо, сбивание с ног рабочего и топтание ногами. Что касается штрафов, так это была тогда самая доходная статья у каждого начальника...

Если Масюков увидел, что рабочий курит — 50 коп. штрафа (при норме ежедневной выработки около 35 копеек. — А. К.), застанет рабочего сидящим и отдыхающим — тоже штраф; остановился рабочий поговорить с товарищем на минутку — опять штраф, перед шабашем за пять минут кто-либо помыл руки, он подходит, рассматривает руки и опять штраф. Трудно рассказать и припомнить сейчас, сколько причин было для этих двух свирепых эксплуататоров, чтобы они ястребом набросились на рабочего, с целью унижить, оскорбить, оштрафовать его или сбавить расценку. Для них это был высший закон — рабочего сделать нищим, зависимым от них, это казалось им идеалом порядка в заводе, и они подобные вожделения высказывали вслух»^[13].

Революция 1905 года закончилась неудачей, но, несмотря на это, наглядно продемонстрировала заводской молодежи, что если нет возможности жить, то хотя бы умереть можно по-другому. Не от истощения и туберкулеза в заводской землянке, а со смыслом, дерзко, «на миру». Рабочие не хотели существовать так, как до сих пор, не верили больше никакой власти, не признавали никакую силу, кроме собственной, и даже временное подавление этой силы государством не казалось им теперь вечным и безысходным. Им нужна была только еще более серьезная идеологическая подпитка, стройная теоретическая база, которая могла бы сплотить их вокруг того или иного революционного учения, нужны были система и организация. Самое главное, им нужны были революционеры-учителя, наставники, и эти учителя пришли.

Создателем одного из первых рабочих кружков большевистского толка стал представитель еврейской диаспоры Гавриил Давидович Лейтензен («Вознесенский», «Валерин», «Линдов»), именем которого потом была названа улица в Туле, где он долгое время работал на знаменитом оружейном заводе. Некоторое время в городском подполье скрывался один

из организаторов первых марксистских кружков в Забайкалье Моисей Израилевич Губельман — брат будущего главы Союза воинствующих безбожников и Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б) Емельяна Ярославского. Как бывшие екатеринославские подпольщики-большевики стали известны потом Серафима Ильинична Гопнер («Наташа»), Григорий Исаакович Чудновский — участник захвата Зимнего дворца, Соломон Исаевич Черномордик — один из основателей Музея революции в Москве, и многие другие подпольщики, поднявшие общий уровень пропагандистской работы в Екатеринославе на высоту, недостижимую для большинства губернских городов империи. И, когда много позже бывшая работница того самого Брянского завода, условия труда на котором описывал Георгий Петровский, Ольга Федоровна Ревзина будет рассказывать о своих «неуспехах» в большевистской пропаганде следователю НКВД, нам стоит вспомнить об этом самом уровне социал-демократической пропаганды и образования рабочих южной столицы Украины, об общем фоне, на котором выступала наша героиня.

Второй чрезвычайно влиятельной силой екатеринославского подполья стали анархисты. Летом 1905 года в город перебрался из Белостока агитатор Фишель Штейнберг («Самуил»), а за ним — опытный и чрезвычайно энергичный «Дядя Ваня» — Николай Игнатьевич Музиль-Рогдаев (не путать с другим анархистом, тоже «Дядей Ваней», но на самом деле Леонтием Васильевичем Хлебныйским — встреча с ним еще впереди). Очень скоро «Дядя Ваня» сумел перетащить на свои позиции одну из районных организаций эсеров, и уже в ходе революции анархисты Екатеринослава принялись осуществлять близкую и им самим, и эсерам тактику террористических актов в отношении представителей власти. В октябре 1905 года взорвалась первая анархистская бомба: был убит директор одного из машиностроительных заводов. Другой лидер анархистов — Николай Стрига (Владимир Лapidус), сначала попытался поднять в городе восстание по типу киевского, а когда план провалился, тоже обратился к практике террора. С именем Стриги связывают начало «эпохи экспроприаций» («эксов») в Екатеринославе, когда деньги на изготовление бомб, закупку оружия и боеприпасов, шрифта для печатных изданий подполья и «помощь арестованным товарищам» анархисты получали путем «экспроприации у экспроприаторов», то есть с помощью банальных грабежей и рэкета «богатеев».

Постепенно полиции и войскам удалось прекратить и революционные выступления, и погромы, а террористические акты в силу неумелости их планировщиков и исполнителей совершенно не оправдали надежд

анархистского подполья. Однако наступившее спокойствие лишь на время укрыло пеленой тумана внешней законопослушности ослабленное, но не уничтоженное окончательно антиправительственное движение. Остатки кружков и союзов социал-демократов, социалистов-революционеров, еврейских социалистов-бундовцев, анархистов и приверженцев всех прочих антиправительственных организаций и течений, время от времени создаваемых и вскоре исчезающих, — к 1908 году практически все они ушли в глубокое подполье, дожидаясь своего часа. Но... как история революционного Екатеринослава связана с судьбой нашей главной героини и ее брата? Ответ на этот вопрос непрост.

Во время первой русской революции Ольге Ревзиной было всего шесть-семь лет. Хотя она наверняка видела, что творится на улицах ее родного города, не приходится всерьез говорить о том, что у нее могла сложиться цельная и внятная картина происходящего. Известно, что Федор Абрамович Ревзин сумел обеспечить поступление Владимира и Ольги в гимназию, где они должны были получить неплохое по тем временам образование, включая знание французского и немецкого языков. Похоже, что уровень жизни Ревзиных, вопреки позднейшим заявлениям Владимира Федоровича, хотя бы какое-то время позволял им существовать в относительной безопасности. Впрочем, ведь и Владимир Ленин, и Виктор Чернов, и Михаил Бакунин, и многие другие вожди РСДРП, эсэров, анархистов вовсе вышли из дворянского сословия — ни положение в обществе, ни материальное благосостояние не смогли изолировать детей привилегированного сословия от социальных потрясений, которые давно уже переживала вся страна. Не только каждый взрослый, но и каждый подросток, ребенок рисковал тогда оказаться в гуще событий, которые так скоро привели Российскую империю к гибели. Хоть каким-то шансом уберечься, спастись от участия в этом водовороте разрушений могло быть только физическое отсутствие человека в стране, и в какой-то момент именно так и получилось с Ольгой Ревзиной.

Судя по имеющимся у нас, пусть и не самым надежным, данным, в 1906 году — после революционных событий и в разгар погромов — тяжело заболела мать Владимира и Люси Ревзиных. У нее нашли туберкулез, главным лекарством от которого на рубеже XIX–XX веков считали смену климата. В условиях Российской империи врачи обычно рекомендовали поехать на юг, в Крым, до которого от Екатеринослава рукой подать. Однако Федор Абрамович Ревзин выбрал не Ялту и не Гурзуф, а Женеву — его жена с детьми Владимиром и Ольгой, которой в то время было семь лет, отправилась в Швейцарию. С одной стороны, это согласуется с версией о

небедном происхождении семьи — лечение в Швейцарии никогда не стоило дешево, а уж жить там годами... С другой — существует «коммунистическая» автобиография Владимира Ревзина, отражающая совершенно иной взгляд на те же события.

«В 1906 году отец должен был скрыться после забастовки на руднике „Червонная балка“ (Криворожский бассейн), в которой я активно участвовал. Мать, сестра и я уехали за границу. Большую часть времени прожили в Лозанне (Швейцария) — всего около одного года.

Вскоре по приезде в Россию мать умерла от чахотки в крайней нужде. Сестра и я тоже были больны ею. Это начало 1909 года^[14]. Я начал работать в г... <неразборчиво> Екатеринославской губернии в местной лавке на побегушках и затем на механическом заводе помогал чем мог механикам, слесарям... <неразборчиво>.

Платили мало. Было голодно. Затем отец прислал денег, и мы поехали к сестре матери в г. Екатеринослав. Она давала уроки. Отец работал техником на Софиевских карьерах ст. Б... <неразборчиво> Екатеринославской железной дороги и в 1914 году забрал нас к себе. Я помогал ему работать и работал плотником на подъездной дороге. Начал учить математику и прикладные науки, мечтал поступить на какие-нибудь технические курсы»^[15].

Получается, что в общей сложности за границей Ревзины провели около двух лет, в том числе около одного года в Швейцарии. Немалый срок, особенно для детей. В нежном возрасте, как известно, легко усваиваются иностранные языки, и Люся, скорее всего, успевшая получить какое-то начальное образование дома, оказалась в Европе в самое благоприятное в этом смысле время, погрузившись, хотя и не по своей воле, в чуждую ей языковую среду. Швейцария с этой точки зрения могла оказаться особенно удачна, поскольку находилась «на стыке» сразу нескольких европейских языков. В будущем ей это сильно пригодится, а пока...

Вернувшись в Екатеринослав, Ревзины прожили около пяти лет со своей тетей. Возможно, упомянутая в анкете 1937 года зубной врач Эмма Ионовна Давидович — это именно она. Никакого ухода, бегства из дома, о котором часто сообщают переписчики одной и той же, «канонической» статьи-биографии Елены Феррари, от «отца-алкоголика» не было. Судя по дальнейшим событиям, все было как раз наоборот: отец, как мог, старался обеспечить жизнь детей. Другое дело, что не всегда получалось.

Из опубликованной официальной биографии Владимира Ревзина известно, что с марта 1914 года он работал на одном из екатеринославских

заводов, спустившись, таким образом, из прослойки еврейского среднего класса Екатеринослава в самые что ни на есть пролетарии. Трудился сначала токарем и электриком (последние высоко ценились среди террористов — электрики умели управляться с взрывными устройствами) ^[16]. Версия неофициальная, но зато его собственная, выглядит несколько иначе: «В конце (а не в начале. — А. К.) 1914 года я с сестрой поехал в Екатеринослав работать в пятиминутной фотографии. И там, чтобы учиться, отец уехал работать на Урал-Майкорский завод. Я поступил на технические курсы и одновременно учился. Сестра тоже работала. Вскоре хозяйка фотографии умерла. Она осталась в нашей памяти как настоящий человек, меня с сестрой приняла на равных началах. Всего было пять человек. Учились все (все были молоды). На жизнь фотография давала крайне мало. Голодали все вместе. Вскоре один был взят на войну, другая вышла замуж, я поступил в мастерские фрезеровщиком и токарем, так как фотография тогда перестала давать средства» ^[17].

Возможно, со временем, заполняя одну за другой новые анкеты, Владимир Федорович просто удлинил свой пролетарский стаж, выбросив из биографии невнятные фотографические месяцы и заменив их на куда более надежную с точки зрения пролетарского происхождения работу (в разных вариантах) то ли токарем, то ли электриком, то ли фрезеровщиком — одним словом, рабочим.

Ольга тоже в автобиографии рассказывала, что первое время помогала деревенской портнихе, летом нанималась на полевые работы в селе Софиевка Славяносербского уезда, а потом устроилась в одно из фотоателье Екатеринослава — в «Фотографию Штейна» на Первозвановской улице ^[18]. Лишь в 1916 году она вернулась к учебе, поступив в шестой класс гимназии — это был финал ее очного гражданского образования. Позже она сдаст экзамены, но уже экстерном, за восьмой класс ^[19].

Украинский историк анархизма Анатолий Дубовик, опираясь на собственные исследования, называет брата и сестру Ревзиных (под псевдонимами: он — Владимир Воль; она — Елена Феррари) в числе екатеринославских юношей и девушек, присоединившихся к местной группе «анархистов-коммунистов» (была и такая) уже в 1914 году ^[20]. Информация выглядит достоверной: окунувшись в самостоятельную жизнь, молодые Ревзины очень скоро могли эту жизнь невзлюбить и начать искать пути, ведущие к жизни новой — справедливой, без погромов, свободной, но точно не спокойной...

Глава вторая

Как Феррари становилась «Красной»

*Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.*

*Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, пред театром — прибор
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.*

*Борис Пастернак «Весенний
дождь». Лето 1917 года*

Любопытную картину нелегального «образования» рабочих Екатеринослава в 1912–1914 годах рисует один из основателей Коммунистической партии Украины, поочередно побывавший в рядах бундовцев, анархистов, большевиков, ставший чекистом, а затем логичным образом репрессированный Моисей Ефимович Равич-Черкасский (Рабинович).

«Рабочие газеты тогда продавались одним-двумя газетчиками. Продавали меньшевистский „Луч“ и большевистскую „Правду“. Нельзя сказать, чтобы в городе (я не говорю о заводах) они распространялись в большом количестве. Кроме того, разносчики, вручая газету, всегда делали вид, что они совершают какой-то героический подвиг, продавая революционную газету, что этот подвиг — тайна для недремлющего полицейского ока и что за этот подвиг нужно заплатить лишнюю копейку: не пять копеек, а шесть. Кроме того, рабочие газеты получались нерегулярно.

Со службы я всегда направлялся в одну из столовых, забирая у газетчиков очередной номер „Луча“ и „Правды“. Эти столовые мне казались каким-то оазисом в пустыне города, находящегося в стране

царской деспотии, полицейщины, жандармских застенков. Я садился за один стол с людьми, мне совершенно незнакомыми, чувствовавшими себя здесь, как в „нейтральной зоне“. Говорили свободно, не стесняясь, обо всем, горланили, спорили. Тут были меньшевики, большевики и даже анархисты. Как чужой человек, я за обедом не вмешивался в споры и, глядя в газету или в тарелку, слушал споры, временами возмущаясь беспечностью спорящих. Здесь далеко не все знали друг друга, при входе ни у кого партийного билета не требовали, и я не сомневался в том, что среди обедающих было немало агентов охранного отделения...

Бывали случаи, когда тот или иной из обедавших обращался ко мне с просьбой дать ему пересмотреть номер „Луча“ или „Правды“. Некоторые повторяли эту просьбу часто. Таким образом, у меня завязывалось знакомство. Была такая группа лиц, которых я изучал изо дня в день, наблюдая за обедом за их разговорами тихими, короткими. Я знал все, если не фамилии, то имена. Так я сошелся с тов. Абрамом. Парень высокого роста, красивой наружности, чрезвычайно энергичный с умным выражением лица. Мы с ним пару-другую раз обменялись мнениями по злободневным вопросам. Он сообщил мне, что нужна в интеллигентных работниках колоссальная, что он берет на себя посредничество между мною и организацией. Для него из наших коротеньких бесед стало ясно, что я ищу связей с большевиками. Я ему сообщил свой адрес, так как из организации должен был прийти „следователь“ для того, чтобы ощупать меня со всех сторон... В этот промежуток времени я сталкивался с вышеназванным Абрамом в столовой. Он очень интересовался последствиями переговоров. Он близко принимал к сердцу интересы партии и был в высшей степени предан ей (Тов. Абрам в 1917 году сделался анархистом Екатер[инославской] федерации)»^[21].

Неизвестно, носил ли Владимир Ревзин подпольную кличку «Абрам», но анархистом Екатеринославской федерации он сделался точно. Причем именно в 1917 году. Сделался не сразу. Его, равно как и его сестры Люси, приходу под черные знамена анархии предшествовала бурная и не до конца проясненная история с кумачовым оттенком. Вообще, революционная юность Ольги Ревзиной и ее старшего брата Владимира по уровню мифологизированности не является исключением из всего жизнеописания «Красной Феррари». Каноническая, хорошо известная ее версия при внимательном прочтении больше изумляет, чем разъясняет реальный ход событий уже более чем столетней давности. В равной степени это касается биографии и Владимира, и Ольги, ибо фактически тогда она у них еще была одна на двоих.

Согласно их собственноручно указанным сведениям в анкетах, в августе 1916 года Владимир Ревзин вступил в партию большевиков — РСДРП(б)^[22]. «Ольга последовала примеру брата и получила партийный билет номер 23. Она также вступила еще и в члены Индустриального союза России»^[23].

Может показаться странным, каким образом партбилет РСДРП, существующей с 1898 года, у вступившей в партию почти два десятилетия спустя Ревзиной оказался за номером 23. Но до 1917 года образца единого партийного билета в РСДРП не существовало. Каждая территориальная парторганизация печатала свои документы и со своей нумерацией. Вполне возможно (и даже скорее всего), таким же образом дело обстояло и в Екатеринославе.

Общая численность задействованных в революционных кружках марксистского толка и пока что находящихся на свободе рабочих там была невелика: на конец 1916 года, по оценкам полиции, не более нескольких десятков человек. С другой стороны, подпольные организации марксистов, пусть и совсем немногочисленные, имелись на каждом крупном заводе города, и это не укрылось от внимания полиции и жандармерии. В начале революционного 1917 года ротмистр Николай Николаевич фон Лангаммер, руководивший нелегальной агентурой Особого отдела губернского жандармского управления, докладывал, что его люди выявили в Екатеринославе шесть заводских ячеек РСДРП и одну — Украинской социал-демократической рабочей партии^[24].

Несмотря на то что правоохранители ликвидировали марксистские кружки едва ли не по одному в месяц, окончательно уничтожить движение не удавалось — оно расплзлось по заводам. Происходило это в значительной степени благодаря исключительно деликатному поведению самой полиции, стремившейся при проведении операций оставаться в рамках закона, и общему весьма либеральному ее настрою (вспомним откровения Равич-Черкасского). В соответствии с действовавшим тогда законодательством применение каких-либо репрессивных мер было возможно только при обнаружении улик, подтверждающих противозаконную деятельность, а подпольщики, отлично осведомленные о таком прекраснодушном поведении охраны, старались ничего противозаконного при себе не держать. В таких условиях особенно важной становилась активность нелегальных сотрудников полиции и тайных агентов среди самих марксистов, но и благодаря им охранка оказывалась лишь осведомлена о ситуации в городе, не имея ни воли, ни возможности

раз и навсегда прекратить процессы революционного брожения.

С приближением к революционному 1917 году ситуация становилась все напряженнее. Вот как описывал события, предшествовавшие Февральской революции, уже знакомый нам жандармский ротмистр фон Лангаммер (сохранены орфография, пунктуация и подчеркивание оригинала): «Что же касается деятельности собственно городской города Екатеринослава группы РСДРП, то по сему делу в самом начале января месяца в Управление поступили агентурные сведения о том, что действующая в городе Екатеринославе инициативная группа городской означенной организации РСДРП решила выпустить свои прокламации, которые и появились в Екатеринославе 7 января к „Товарищам солдатам“ с призывом к прекращению войны и [к началу] революции». Более того, представители кружков РСДРП(б) разных заводов решили объединиться с целью создания единого, мощного движения «большевиков-пораженцев» под общим лозунгом «Война войне!» и четко поставленными целями: срыв очередного призыва в армию и разложение морального духа на фронте с помощью социалистической пропаганды^[25].

К концу января Особому отделу жандармерии от агентуры среди марксистов стало известно, что на 3 февраля и на следующие несколько дней социалистами запланированы антивоенные и антиправительственные демонстрации под лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!» и «Да здравствует демократическая республика!». Не участвовать в них Ольга Ревзина не могла — согласно ее анкете 1935 года, с января 1917-го она уже являлась членом подпольного комитета большевиков^[26]. Поэтому последовавшее решение властей перехватить инициативу у подпольщиков, срочно и внезапно пресечь подготовку к демонстрациям и арестовать активистов относилось к ней не в самую последнюю очередь. Аресты и обыски прошли в ночь на 2 февраля. Всего взяли 22 человека, но четверо из них были отпущены сразу же — их фамилии даже не попали в протоколы задержания. Логично предположить, что кто-то из четверых мог быть источником тех самых «агентурных сведений», которыми на протяжении многих месяцев пользовалось жандармское управление. Сведений неполных, ибо среди арестованных оказалось несколько человек, которые были включены в число заговорщиков только на основании данных наружного наблюдения, и даже их личности на момент ареста не были установлены. В протоколе фигурируют лишь клички, данные им филерами, и способ выхода на них сотрудниками полиции. Например, «Сердечная. Конспиративная квартира. Связана со всеми членами городской группы»

или «Гречанка. Конспиративная квартира». И как не вспомнить тут автобиографию Владимира Воли-Ревзина, написанную в 1927 году: «... наша квартира, где находилась фотография „пятиминутка“, как ее звали, стала местом для явок и собраний. В 1916 году я и сестра вступили уже... <неразборчиво> в РСДРП (большевиков). У нас часто были обыски, но мы всегда держали всё в других местах, менее подозрительных. У нас готовились документы для нелегальных... <неразборчиво> и т. п.»^[27]. Внешний же облик Ольги Ревзиной, которую позже часто будут принимать за уроженку Средиземноморья, не может не навести на мысли о том, что упомянутая «Гречанка» вполне могла быть нашей героиней.

Владимиру вторит Серафима Гопнер — одна из главных участниц революционных событий на Екатеринославщине в 1917 году: «Некоторые собрания происходили на Первозвановской улице в фотографии, хозяевами которой являлись двое юношей (так в документе. — А. К.), брат и сестра (Воля и Люся Ревзин). На этой квартире, точно так же, как и на моей, собиралась небольшая группа интеллигентной молодежи, среди которой изредка попадались и рабочие (среди них Александр Суханов). В этой группе состязались анархисты с марксистами. Анархистскую философию подносил этой молодежи известный екатеринославский агроном Гертопан, оказавшийся с первых же дней революции в лагере самых озверелых врагов большевизма. Марксистскую платформу защищала я. Из этой группы молодежи выработалось несколько коммунистов (А. Суханов, В. Минухина, В. Ревзин и др.)»^[28].

Воля и «В. Ревзин» — один и тот же человек, брат Люси Владимир (возможно, он же и «Абрам»). Это первое известное нам упоминание в прессе его клички, закрепившейся окончательно, видимо, уже позже, в годы Гражданской войны. Возможно, поначалу она была уменьшительным вариантом имени Владимир (разве сообразить, кто такой Владимир Алексеевич Костыльков, пока не скажут, что это Волька из «Хоттабыча?»). И только позже, уже в ходе боев, Владимир Федорович Ревзин становится известен под именем Михаил Яковлевич Воля (или Воль), а потом совершает обратный полупереворот, превратившись во Владимира Федоровича Волю.

«Нелегальные», то есть скрывающиеся от полиции и стоящие у нее на учете революционеры при облаве были арестованы. У одного изъяли оружие (браунинг), гектограф для печатания прокламаций и запрещенную литературу — дело ясное: опытный товарищ. Напротив фамилий и кличек остальных значится одно и то же: «Запрещенного не обнаружено», а значит,

и претензий к ним быть не может. Но даже против тех революционеров, что были готовы с оружием в руках сменить власть в государстве, дело на этом закрыли. Вскоре после задержания к губернатору Екатеринослава прибыли ходатаи от заводов, требующие освобождения социалистов, занятых в том числе в сфере медицинского обслуживания рабочих, и добросердечный губернатор Андрей Гаврилович Чернявский попросил полицию всех отпустить. Спустя 20 лет его самого как бывшего царского чиновника и дворянина расстреляют чекисты, а пока что благодаря его ходатайству уже 6 февраля, всего через четыре дня после ареста, арестованные оказались на свободе. В их числе была и уже знакомая нам «ГОПНЕР Сима-Двойра Иоселева. Заведующая регистрацией в больничной кассе Брянского завода».

История с облавой на большевиков на их конспиративной квартире в фотографии на Первозвановской 2 февраля 1917 года и странное поведение жандармских следователей неожиданным образом заинтересовали следователей НКВД тогда, когда, казалось бы, уже никто не должен был об этом вспомнить. 25 января 1938 года арестованную Елену Феррари вызвали на допрос.

«— На следствии вы заявили, что в 1917 году за месяц до Февральской революции был арестован весь партийный комитет в городе Екатеринославе, при котором работали вы и ваш брат Воля (тогда Ревзин) Владимир Федорович. При каких обстоятельствах был арестован этот партийный комитет?

— Обстоятельств ареста не помню... Наша с братом квартира являлась конспиративной и явочной квартирой Екатеринославской партийной организации. Кроме того, я выполняла отдельные поручения партийного комитета»^[29].

Этот диалог, если так можно назвать ответы на вопросы следователя, зафиксированные в протоколе, выглядит несколько странным. На первый взгляд, каким бы надуманным ни был повод для ареста Феррари в 1937 году, очевидно, что чекисты постарались собрать о ней как можно больше материала, включая данные о ее дореволюционном прошлом. Сама по себе такая практика была распространена: НКВД, обладая обширнейшими базами данных («Учета ББО (бывших белых офицеров)», «Харбинцев» и т. д.), искал изъяны в биографиях арестованных, начиная именно с дооктябрьского периода. Одной из главных задач органов в эпоху Большого террора являлось не только выполнение плана по аресту тысяч «шпионов», «диверсантов», «троцкистов» и «антисоветчиков», но и подтверждение марксистских тезисов о «родимых пятнах капитализма» и «усилении

классовой борьбы» путем выявления в ходе массовых арестов действительных агентов царской полиции и жандармерии, иностранных разведчиков, среди которых находились такие, кто работал еще в царской России.

Иногда эти усилия приносили конкретные плоды. Но, судя по доступным сегодня архивным следственным делам, в подавляющем, в абсолютном большинстве случаев несчастные «бывшие», доведенные до отчаяния пытками, оговаривали себя, в чем было угодно следователю, надеясь таким образом приблизить своим мукам конец, каким бы он ни был. Ученые, учившиеся, стажировавшиеся, работавшие до революции за границей, называли себя шпионами всех разведок, под диктовку чекистов детально выписывая истории своих «предательств». Ошеломленные внезапным поворотом судьбы старые большевики, не ожидавшие, что когда-нибудь станут вспоминать заключение в царских тюрьмах как занятия в библиотеке, а ссылку почти как отдых на курорте, каялись в вымышленной работе на охранку и «выдавали» целые сети своих «единомышленников», якобы стремившихся изнутри подорвать дело революции. Относилась ли к таким Елена Феррари — Люся Ревзина?

Если допустить, что она сказала на следствии правду и их с братом квартира, которая действительно использовалась екатеринославскими подпольщиками-большевиками как конспиративная и явочная, стала местом ареста всего городского комитета партии, то сразу возникает вопрос: зачем она это сказала? Очевидно же, что при самом поверхностном анализе этого ареста первое подозрение падало на тех членов пролетарского горкома:

а) кто точно знал постоянное место сбора большевиков — хозяйева явочной квартиры оказываются скомпрометированы в первую очередь;

б) кого вскоре после облавы либо отпустили, либо не арестовали вообще — и это снова брат и сестра Ревзины.

Кроме того, известно, что именно Владимир и Ольга охраняли место сбора подпольщиков в ночь ареста и это именно они не смогли подать сигнал тревоги^[30]. Может быть, объект наблюдения «Сердечная» — это Ольга? Или она все-таки «Гречанка»? А может быть, «юноши» Ревзины оказались в числе тех четверых, чьи данные вообще не фигурируют в документах полиции? Если да, то почему? Ответов на эти вопросы нет, и вряд ли они появятся в будущем. Слишком много документов утрачено или уничтожено умышленно. Но сложно не видеть явного: признавшись (или «признавшись») в том, что на их квартире была провалена явка подпольщиков, а они не только не были арестованы, но даже ни разу не

вызваны на допросы в полицию, Ольга Федоровна фактически дала повод чекистам обвинить ее вместе с братом в работе на эту самую полицию. Данное ею объяснение («я не знаю почему») — не объяснение вовсе. Тем более что далее арестованная продолжила выкладывать компромат на себя, заявляя (или подписывая выдуманное следователем «признание»), что еще за год до описываемых событий (то есть в январе 1916-го) на их же с братом квартире был арестован «студент или писатель, прятанный, как я помню, какую-то революционную литературу», и это опять никак не отразилось на жизни владельцев самой квартиры^[31].

Рассказ Ольги об арестах большевиков в 1916–1917 годах характеризует ее саму как максимум второстепенную, не слишком важную фигуру среди подпольщиков. Этим же можно объяснить и почти полное отсутствие воспоминаний о ней среди тех большевиков, кто потом охотно делился своими мемуарами о «героической борьбе с царизмом». Снова получается расхождение с официальной версией, по которой в 1916 году она, гимназистка и литейщица, с «задатками агитатора» и готовится, ни много ни мало, «стать лидером революционного подполья в Екатеринославе»^[32]. И в то же время, по ее же собственным словам, в их квартире живет какой-то то ли студент, то ли писатель, прячущий «какую-то» революционную литературу, а она, зная об этом, даже не интересуется — какую именно, — ей все равно.

Линия с явным намеком на связь Ревзиных с охранкой в 1938 году в деле Феррари внезапно обрывается, чтобы проявиться потом в деле Воли. Так же неожиданно изменилась ситуация и в Екатеринославе в 1917 году. Пока полиция арестовывала и выпускала большевиков, грянула революция, которую те так усиленно приближали, но столь скорого наступления которой никто не ждал.

«Пожалуй, главная особенность Февральской революции в Екатеринославе состоит в том, что сам город не являлся центром исключительной революционной активности, — отмечал украинский историк Максим Эдуардович Кавун. — *И революция пришла в город со стороны* (курсив мой. — А. К.), буквально свалившись на голову большинства жителей»^[33]. Очень скоро по примеру крупных городов России в Екатеринославе организовался Совет рабочих и солдатских депутатов, формально взявший власть в свои руки, но контролировавшийся тогда еще не большевиками, а меньшевиками. Именно в это время, после провала большевистского подполья и сразу после Февральской революции, Ольга Ревзина возглавляет стачечный комитет и якобы становится заметной

фигурой среди большевиков этого важнейшего и довольно крупного города Южной Украины. Но в 1938 году, рассказывая о тех событиях, она в очередной раз обескураживает следователя своим признанием — на этот раз в собственной «политической безграмотности».

Когда на допросе ее спрашивают о причинах выхода из партии большевиков, Елена Константиновна Феррари сообщает, что совершила это именно по указанной выше причине — по безграмотности. Цель такого манифеста собственной скромности понять нетрудно: «Была глупа, необразованна, не понимала, кто на самом деле сделал революцию и ведет страну к победе». Но вот что интересно: в 1919 году, отвечая на тот же вопрос, Ревзина привела совершенно другую причину — большевики отказались отправить ее на фронт («партия непустила»)^[34].

Вряд ли она — тогда восемнадцатилетняя девушка, вспыльчивая и энергичная, требовала у товарищей по партии дать ей в руки винтовку, чтобы воевать с немцами и австрияками. Можно предположить, что «большевики-разоруженцы» отказали ей в отправке на фронт, куда товарищи по борьбе выезжали совершенно с иной миссией: для разложения солдат воюющей Русской армии. И правильно, думается, отказали. Трудно представить, каким образом могла их разложить она — тонкая, стройная, миниатюрная еврейка с огромными глазами, и чем для нее самой это могло кончиться. А если так, то логику дальнейших событий можно попробовать смоделировать. Ольге отказывают (неважно, по каким причинам), она — яркая, амбициозная, молодая и горячая, обижается на ячейку в частности и на всю партию в целом и начинает искать тех, кто отнесется к ее решимости биться на любых фронтах «за правое дело» с бóльшим пониманием. Благо таких партий, союзов, организаций в то время в Екатеринославе было пруд пруди. Но все же... «политическая безграмотность» для члена городского совета образца 1917 года — это звучит странно. Все-таки кто она — Люся Ревзина: полуподросток-неофит или опытный подпольщик-пропагандист? Озадачен и следователь:

«— Вы были в 1916–1917 годах на руководящей партийной работе?

— Да, в 1916-м я была членом подпольного комитета большевиков (до Февральской революции), а после... в 1917 году была секретарем партийного комитета городского района г. Екатеринослава... Я была руководителем марксистских курсов, кружка в Екатеринославе — у нас на квартире в 1916–1917 годах. Там мы изучали Эрфуртскую программу»^[35].

Эрфуртская программа — первая и единственная программа Социал-демократической партии Германии, написанная с марксистских позиций (теоретическая часть — Карлом Каутским, практическая часть — Эдуардом Бернштейном). Принята в 1891 году на съезде в Эрфурте. Труды Фридриха Энгельса оказали на теоретическую часть программы решающее влияние, поэтому в ней говорилось о закономерности превращения частной собственности на средства производства в социалистическую, а главной целью партии называлось руководство пролетариатом во время захвата политической власти, но сам же Энгельс (а позже и Владимир Ленин) критиковал практические выводы за то, что не ставилась задача борьбы за демократическую республику и установление диктатуры пролетариата.

Принятие этого документа было важным этапом в развитии немецкой социал-демократии, свидетельством укрепления в ней марксистских идей. Однако в 1921 году Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) провозгласила отход от марксизма, заменив Эрфуртскую программу на Гёрлицком съезде новой — оппортунистической программой.

Итак, Ольга Федоровна еще раз подтвердила не только факт предоставления им с братом квартиры для нужд марксистского кружка в 1916–1917 годах, но упомянула и о своем руководстве этим кружком. Более того, она вела занятия по разъяснению менее образованным (и в общем смысле, и в марксистском) слушателям этого кружка не самой простой для понимания Эрфуртской программы. Той самой, изучив которую будущий Железный Феликс якобы «убил в себе Бога» и из истового католика превратился в правоверного большевика^[36]. Но тогда уж, наверное, для того, чтобы такую программу преподавать, надо самому в ней разбираться? А значит, заявление о выходе из партии по причине политической неграмотности звучит как ложь. Во всяком случае, с точки зрения следователя.

Дальнейшая официальная биография будущих разведчиков — Владимира и Ольги — гладкая, лишенная малейших шероховатостей, напоминает текст школьного учебника «История СССР» для девятого десятичного классов: «В мае 1917-го Владимир Ревзин под влиянием заводских товарищей, увлекшихся идеями анархистов, вышел из РСДРП. Он продолжал сражаться против деникинцев (курсив мой. — А. К.) вначале как рядовой боец, а затем как командир взвода городского отряда

Красной гвардии»^[37].

В мае 1917 года будущий создатель Добровольческой армии и главнокомандующий Вооруженными силами Юга России Антон Иванович Деникин служил начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего Русской армией и находился в Петрограде. После чего, в июне того же 1917 года, был назначен командующим армиями Западного фронта и воевал не с отрядом анархистов из Екатеринослава, а с армией кайзера. Анархисты, как, впрочем, и представители остальных антиправительственных движений, прежде всего большевики, как могли этой войне мешали, пытаясь распропагандировать солдат Русской армии.

Сам Владимир Ревзин рассказывал о событиях первой половины 1917 года несколько иначе и, конечно, не о каких «деникинцах» не упоминал. Как обычно, нельзя забывать, что он описывал события, на тот момент десятилетней давности, в максимально выгодном для себя ключе, руководствуясь текущей политической обстановкой: «Начало революции застало меня вполне подготовленным революционером. Я активно выступал в войсках и на митингах. Сестра была выбрана секретарем городской организации, которая была на нашей квартире. Кроме того, сестра выполняла обязанности секретаря „Звезды“ (орган Екатеринбургской организации большевиков).

Началась... <неразборчиво> выборов в Украинскую раду и Учредительное собрание. Я считал, что мы должны заявить, что мы думаем об Учредительном собрании и с оружием отстаивать власть Советов. В этом я считал правильным... <неразборчиво> Екатеринбургской организации анархистов. В Комитете мы очень много спорили. Я с этой... <неразборчиво> выступал на митингах. Считал, что организация [большевиков] начала проявлять оппортунистический уклон, и вышел из нее 4 апреля 1917 года. На этом заседании вышли еще несколько человек. Это было очень тяжело, и я уехал на Урал к отцу. Вернулся летом и вел с анархистами агитацию против Учредительного собрания, и организовал боевую дружину, с которой и выступил против петлюровцев»^[38].

Сестра Владимира в «Автобиографической записке» от 27 мая 1935 года вспоминала собственный трудовой и партийный путь следующим образом: «С января 1917 была членом подпольного комитета (завода, района, города? — неясно. — А. К.), после Февральской революции была выбрана делегатом на парт. конференцию Приднепровья, затем секретарем городского партийного комитета. Работала тогда на Брянском заводе *снарядный цех*. В мае была назначена техническим секретарем парт. газеты

„Звезда“. Месяц спустя вышла по своей инициативе из партии, путаясь в политических вопросах (подчеркнуто в документе. — А. К.). Перешла на машиностроительный завод Южный труд пом. литейщика, затем на токарный станок *в снаряжном цехе*. Была выбрана членом завкома и председателем стачечного комитета, объединяющего 5 мелких металлургических заводов»^[39].

Самое интересное в этом фрагменте, конечно, упоминание о газете. Учитывая, что в будущем Люся Ревзина много сил и энергии посвятит литературной деятельности, остановимся подробнее на ее начале. Первый номер газеты «Звезда» вышел 4 (17) апреля 1917 года, а в мае того же года Ольга стала техническим секретарем ее редакции, то есть работала в ней почти с самого начала издания этого «органа Екатеринославского комитета РСДРП». Редактором «Звезды» была хорошо знакомая нам Серафима Ильинична Гопнер, а ее замом — человек, оставивший воспоминания об «Абраме»: Моисей Ефимович Равич-Черкасский. Либо это одно из многих совпадений в жизни семьи Ревзиных, либо руководство «Звезды» протежировало «юношам» из фотосалона Штейна и «Абрам» действительно мог быть Ревзиным. В любом случае короткий период работы в газете представляется очень важным в биографии «Красной Феррари».

Должность, которую занимала Ольга Ревзина в «Звезде», была скромна, но необходима. Это тот малозаметный, но ответственный пост, на котором многое зависело от человека: остаться навсегда техническим «винтиком» или проявить себя так, чтобы начальство заметило и, возвышаясь, утянуло за собой ввысь, в карьерные голубые дали. Рискнем даже предположить, что именно с этого момента Ольга Федоровна начала постепенно, поначалу почти незаметно, отдаляться от своего старшего брата, который до сих пор во многом добросовестно заменял ей отца. Тем более что как раз в это время сам Владимир к отцу и уехал. Начиная едва ли не с возвращения Люси из Швейцарии в 1909 году, брат оберегал и учил сестру, вел, тащил ее за собой. Спрашивал ли он при этом, нравится или нет выбранный им для нее путь? Или и так было понятно, что девочка, растущая вместе с братом, полностью разделяет его увлечения и интересы? Кто знает... В любом случае, получается, что отец, о котором никто из них ни разу не сказал худого слова, даже если и был рядом, что случалось нечасто, оказывал на жизнь девушки явно меньшее влияние, чем брат. Более того: сегодня мы можем сказать, что еще многие годы Ольга полностью не освободится от опеки Владимира, а потом, до самой смерти, будет сильно к нему привязана.

Теперь мы примерно знаем, как Люся Ревзина превратилась в «Красную Феррари», и более или менее представляем, почему это произошло. Но мы никогда не узнаем, кем бы стала, кем могла бы стать эта женщина, если бы не ее старший брат, — выбравший однажды путь революционера, свернувший на одной из его развилок на тропинку большевиков, ушедший вскоре неверной дорогой анархистов, снова вернувшийся к большевикам, ставший разведчиком, уволившийся и снова принятый на службу, и снова уволенный, и снова, и снова... Значительную часть своей жизни Ольга Ревзина будет стараться тщательно копировать все изгибы судьбы старшего брата, следуя за ним как привязанная, идя «вторым номером». Ведомая Владимиром, она совершит несколько попыток обогнать его в карьерном росте, стать успешнее и счастливее, чем он, но опередить его сумеет только однажды — в смерти. Пока этот момент не настал, в частности, в деталях своей биографии и прежде всего в выборе новых, временных или относительно постоянных покровителей она как женщина и как человек будет пытаться действовать в одиночку и самостоятельно. Иногда ей это даже будет удаваться. Хотя бы время от времени. И первый шанс на то, чтобы начать действовать, как Ольга Федоровна Ревзина, а не как Люся — младшая сестра Владимира, она получила, видимо, как раз став сотрудником газеты «Звезда», работая отдельно от брата, самостоятельно производя впечатление на своих товарищей и начальников.

Владимир Ревзин в это время вышел из РСДРП(б) и, вернувшись летом с Урала, вступил в отряд анархистов (таким образом, первый партийный стаж Владимира Федоровича составил всего около девяти месяцев), якобы «воевавших против деникинцев». Воевать он мог, но против кого на самом деле в то время сражался брат Люси — большой вопрос.

Весной 1917 года властью на Украине формально считалось общероссийское Временное правительство, представленное в Киеве Губернским комиссариатом и Центральной радой — украинским парламентом. К маю стало понятно, что на южных окраинах империи зреет мощное национальное движение, ставящее целью появление украинской государственности. В Киеве прошла целая череда съездов (военный, крестьянский, рабочий, кооперативный), требовавших национально-территориальной автономии вплоть до передачи Украине всего Черноморского флота и даже части Балтийского. Однако вплоть до начала июля никаких крупных вооруженных выступлений против центральной власти, против Петрограда не произошло. До осени 1917 года, до победы

большевиков в столице России, никаких «деникинцев», никакой Гражданской войны на Украине не было — «велик... и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй» еще не настал. Германская армия из последних сил сдерживалась на западных границах империи войсками русского Западного фронта под командованием того самого генерала Антона Деникина и Юго-Западного — генералов (последовательно) Алексея Брусилова и Алексея Гутора. Сдерживалась, несмотря на всю разлагающую работу большевиков. Самая страшная — братоубийственная война была еще впереди. Но Люсе Ревзиной было не страшно. Брат вернулся, с ним ее, помимо родственных уз, объединяли не менее крепкие для тех времен связи идеологические.

И не только с братом.

Глава третья

Сын полка и товарищ барышня

*Моя душа в священном пламени,
Святой восторг сдержать нет сил —
На распростертом черном знамени
Народ надежды начертил:
От старых дней — одни пожарища
Остались в смраде и золе...
Вперед, друзья! Вперед, товарищи!
К свободе! К раю на земле!*

*Юрий Хованский «К анархии». 1918
год^[40]*

В 1917 году Ольге Ревзиной исполнилось 18 лет — возраст совершеннолетия в нашем современном понимании. Понятно, что в те далекие и тяжелые времена взрослели много раньше. Особенно если речь шла о подростках вроде Люси и Владимира, вынужденных сталкиваться с трудностями жизни и необходимостью зарабатывать на кусок хлеба самостоятельно. И все же 1917-й — год особый для нашей героини именно в личном отношении. Решающий, даже помимо всех его революций, кончающихся и начинающихся войн, смен мест жительства, арестов и освобождений. Это год вступления Люси Ревзиной в по-настоящему взрослую жизнь, ибо как раз в 1917-м она познакомилась со своим первым и, судя по всему, единственным мужем.

Уроженец Варшавы Георгий Григорьевич Голубовский попал в родной для Ольги Екатеринослав крайне необычным путем. Родившийся, по данным 1919 года^[41], в 1891-м, а по делу 1938 года^[42] — в 1893-м, он, по неизвестной причине, в двенадцатилетнем возрасте стал воспитанником прославленной воинской части Русской императорской армии — лейб-гвардии Кексгольмского полка. Сыновья полков — отнюдь не новшество Великой Отечественной. Практика усыновления детей-сирот существовала

у гвардейцев-гренадеров как минимум с 1878 года. Тогда, в самом конце Русско-турецкой войны, кексгольмцы выбрали у города Эдирне оставшуюся без родителей девочку-турчанку по имени Айше. Она стала дочерью полка, крестилась и вошла в историю как Мария Константиновна Кексгольмская^[43]. Каким образом сыном полка оказался Георгий Голубовский, остается неизвестным, но он точно не был сиротой: его отец — польский лесник Григорий Виссарионович Голубовский оставался рядом с сыном до рокового 1938 года^[44]. Мать Георгия умерла то ли при родах, то ли вскоре после них (не выжили еще девять детей, родившихся ранее), но у него имелась еще и старшая сестра Александра.

Тем не менее, прожив в части около восьми лет и получив там образование (в одной из анкет он обозначил его как «домашнее»^[45]), двадцатилетний воспитанник лейб-гвардейцев сбежал не только из полка, но и из Варшавы, из Российской империи, вообще из Европы. По словам самого Георгия, он скрылся таким образом из-под ареста, куда попал после раскрытия в полку подпольной революционной организации, к запрещенной деятельности которой он был непосредственно причастен. Так это было на самом деле или нет, все еще неизвестно. Вполне возможно, что обстоятельства заключения под стражу воспитанника гвардейцев выглядели не столь романтично. В той же анкете Голубовский указывал, что числился в полку «до начала Первой мировой войны». Формулировка неоднозначная, она может сдвинуть дату побега из Варшавы с 1911-го на 1913-й или даже 1914 год, а это, в свою очередь, наводит на мысли о дезертирстве в преддверии надвигающейся войны. Может быть, рано пробудившееся революционное сознание не позволило Георгию, примкнувшему к «разоруженцам», участвовать в империалистической бойне? Всего лишь предположение.

В любом случае от Варшавы, Кексгольмского полка, от Российской империи, от Европы вообще Георгий постарался уйти как можно дальше и скоро оказался... в Америке, где «работал в разном качестве до 1917 года». Именно там, в Новом Свете, он стал анархистом и членом организации «Индустриальные рабочие мира» (ИРМ)^[4].

Этот мощный союз, возникший в 1905 году на базе соглашения между, прежде всего, американскими социалистами, анархистами и радикальными профсоюзными активистами, ко времени вступления в нее эмигранта из России насчитывал более 50 тысяч человек и был мощной силой в борьбе рабочих за свои права. В декларации, составленной при основании союза, указывалось: «Рабочий класс и класс эксплуататоров не имеют ничего

общего. Не может быть никакого мира, пока голод и нужда имеют место для миллионов рабочих, в то время как немногочисленный эксплуататорский класс обладает всеми жизненными благами. Между этими двумя классами должна продолжаться борьба до тех пор, пока рабочие всего мира не организуются, овладеют средствами производства, ликвидируют систему наемного труда и станут жить в гармонии с Землей... Вместо консервативного девиза „справедливая почасовая заработная плата за справедливую каждодневную работу“ мы должны надписать на нашем баннере революционный лозунг „Ликвидация системы наемного труда“. Такова историческая миссия рабочего класса — покончить с капитализмом»^[46].

Покончить с капитализмом многонациональный американский пролетариат надеялся не только в США. Декларации союза «Индустриальные рабочие мира» напрямую перекликались с лозунгами, под которыми тогда выступали пролетарии повсюду, в том числе и в России. И против начавшейся в Европе империалистической войны ИРМ выступал порой так же решительно, как социал-демократы Российской империи. Это при том, что Соединенные Штаты вступили в войну лишь в апреле 1917 года, а первые американские части попали на фронт полгода спустя, обеспечив окончательную победу Антанты, в которую, кстати говоря, не входили, оставаясь «союзником союзников». До этого времени антивоенное движение собственных рабочих мало беспокоило правительство пробритански ориентированного президента Вудро Вильсона, стремившегося к сохранению нейтралитета Соединенными Штатами, поскольку его вектор в общем и целом совпадал с направлением государственной политики. Лишь когда стало ясно, что отсидеться за океаном американцам не удастся, правительству пришлось взглянуть на антивоенные акции ИРМ под иным углом зрения. Чем ближе и неотвратимее становилось вступление Соединенных Штатов в боевые действия, тем больше это работало против союза и его активистов, которые автоматически становились врагами государственной политики. Начались репрессии. Членов ИРМ судили, сажали в тюрьмы по сфабрикованным обвинениям, просто линчевали. Быть активистом профсоюза в Америке внезапно оказалось опаснее, чем пролетарием в России, которую еще в феврале взорвала революция, и гражданин бывшей Российской империи Георгий Григорьевич Голубовский покинул ставшие столь опасными Соединенные Штаты. Если по той же причине он в ожидании катастрофы бежал в свое время из Польши, можно предполагать, что этот молодой человек обладал развитым чувством политического предвидения и сам в

него, в этот свой дар, верил.

Через Сибирь Георгий Григорьевич с тремя единомышленниками — Чивиным, Волтуниным и Белковским^[47] вернулся на родину, но не в Польшу — там шла война. Он перебрался сначала в Москву, а затем — в теплый и пока еще относительно сытый Екатеринослав. К слову сказать, двумя годами позже, в декабре 1919 года, американское правительство уже принудительно депортирует из США в Советскую Россию 249 бывших эмигрантов. Большая часть возвращенных родине на пароходе «Буфорд» граждан окажется соратниками Голубовского — анархистами и активистами ИРМ. Еще через три года советское правительство повторит этот же прием в отношении своих соотечественников, отправив осенью 1922-го в Германию два рейса со своими бывшими гражданами. Разница только в том, что американцы вернули на родину часто не имевших никакого образования революционеров, пролетариев, а порой и просто бандитов, а РСФСР выслала на Запад более 160 философов, писателей, представителей интеллигенции. Но и там, и там пассажирами были непримиримые враги существующего строя. И лидеры большевиков по опыту знали, насколько опасны именно образованные «борцы с режимом».

В родном городе Люси Ревзиной Георгий Голубовский оказался в июне 1917 года и, видимо, тогда же (ни он, ни она никогда не указывали точной даты) познакомился с будущей женой. Можно представить, каким притяжением для юной Люси обладал реэмигрант из Америки, где он боролся за права угнетенных рабочих, белых и негров. Ее память наверняка еще сохраняла картинки очаровательной старой Европы, которую она видела в детстве, и рассказы отца — об Америке, откуда вернулся этот молодой, но уже такой умудренный жизнью мужчина. Очень похоже, что на решение Люси окончательно отмежеваться от большевиков и примкнуть именно к анархистам оказали влияние не только постоянные диспуты между первыми и вторыми в квартирке при фотографии Штейна и на екатеринославских митингах, не только старший брат, мечущийся под воздействием идей и их провозвестников от одной группировки к другой, но и такой харизматичный и авторитетный муж. Он — голубоглазый красавец-блондин, вернувшийся из-за океана, откуда когда-то приехал отец Ревзиных, своими глазами видевший движение за свободу и участвовавший в нем, мог казаться ей настоящим героем, таким анархистским принцем на белом коне, борющимся за права всех угнетенных. Он мог рассказать (и наверняка рассказывал) о битве мирового пролетариата с международной буржуазией с такими подробностями и комментариями, которые екатеринославской девушке Люсе и не снились. Его глазами она могла

взглянуть на мир не из малороссийской глубинки, а с высот планетарного масштаба, и воспоминания о недавней, в общем-то, поездке в Швейцарию наверняка всколыхнулись в ней с новой силой — скоро мы увидим подтверждение этому. Если всё так, то неудивительно, что юная Ольга, только что начавшая восхождение по карьерной лестнице в партии большевиков, вдруг бросила всё и ушла под черные знамена анархистов. Ведь там был он — Жорж, как она на французский манер всю жизнь звала своего мужа. И она — резкая и волевая, решилась. Люся Ревзина покинула газету «Звезда», ушла от своей первой покровительницы Симы Гопнер и вступила в екатеринославский Клуб анархистов и в их боевую дружину^[48].

Жорж был личным Люсиным завоеванием, ее гордостью, ее победой. Но в самом Екатеринославе популярность анархистов росла не по дням, а по часам и без американского гостя. Город, в котором позиции последователей Михаила Бакунина были традиционно сильны еще со времен первой русской революции, потрясли сообщения о событиях в Центральной России. Уже 13 марта в Москве было объявлено о создании Федерации анархических групп, в которую вошли около семидесяти человек, в основном представлявших радикально настроенную молодежь, а в Петроград после долгой эмиграции вернулся сам «отец русского анархизма» князь Петр Алексеевич Кропоткин. Анархия, та самая, которая «мать порядка», непременно должна была навести этот долгожданный порядок в хаосе рушившегося государства. Вот только никто, включая самих анархистов, не знал, как этого добиться, каким загадочным образом это можно сделать. Никакого более или менее ясного, единого представления о способах борьбы за победу своих идей и, самое главное, о путях развития общества в случае этой победы у анархистов ни в обеих русских столицах, ни в далекой Малороссии как не было, так и не появилось. Даже единой партии анархистов, пусть и с несколькими фракциями, создать не удалось. Каждая группировка, клуб, ячейка тянули в свою сторону подобно представителям животного мира из известной басни. Направление анархо-синдикалистов предлагало возложить функции управления страной на некую общую федерацию профсоюзов (синдикатов — от чего и получило свое название). Но ее только предстояло создать, и опять никто не мог сказать, как это сделать. Те же синдикалисты ратовали за свободный захват фабрик и заводов рабочими — под своим руководством — и дальнейшее управление ими в «свободном» режиме. К этому, тогда довольно популярному и тяготеющему к общемировой тенденции развития рабочего движения течению принадлежал, по его собственному утверждению, «американец» Георгий Голубовский. В России

оно оказывало значительное влияние на крупные группы организованных рабочих масс: например, на профсоюзы металлистов, булочников (и те и другие были сильны и многочисленны в Екатеринославе), портовых рабочих, некоторых других, но выглядело беспомощно и неавторитетно за пределами больших городов. Крестьян идеи синдикалистов не увлекали, они остались им непонятны и неинтересны, потому что не содержали перспектив «светлого будущего для пахаря», а Россия в то время была преимущественно сельской, аграрной страной.

В свою очередь, анархисты-коммунисты (или анархо-коммунисты) призывали к немедленной социальной революции, к бескомпромиссному и скорейшему свержению Временного правительства, срочному прекращению войны, а затем к активной работе в создаваемых Советах рабочих и солдатских депутатов на базе всех партий, участвующих в революции. Во многом близкие по формулировкам к большевикам, но не желающие присоединяться к их партии анархисты-коммунисты своей риторикой притягивали к себе часть сторонников Ленина. По этой причине они, еще до октябрьского переворота, сами себя поставили в фактическую и весьма опасную оппозицию к будущей правящей партии. А после того как большевики и эсеры взяли власть и не предусмотрели в своей модели государственного устройства места для анархии, анархистам-коммунистам поневоле пришлось встать перед серьезным выбором: анархисты они все-таки или коммунисты?

Анархисты-индивидуалисты, в соответствии со своим названием, наоборот, отмежевывались от всех политических оппонентов и потенциальных попутчиков, категорически отказывались от вхождения в Советы, которые явно становились основой новой системы управления страной. Они отрицали любую власть вообще, и нередко такие лозунги становились идеологическим прикрытием для банальных бандитов, которых — вооруженных, голодных и наглых, бегущих с фронта, с каторги, из ссылки — расплодилось в гибнущей стране невероятное количество.

«Расправа чувствовалась в воздухе, — очень точно охарактеризовал политическую обстановку тех дней участник революционных событий Анатолий Горелик пять лет спустя. — Чувствовалось нечто новое, неслыханное... Трудящиеся требовали свое и часто сами отбирали...

Никто не подчинялся и все приказывали.

В это время движением Российской Революции еще никто не руководил.

Но вот из заграницы начали приезжать массы социалистов и анархистов, возвращались в Европейскую Россию ссыльные и каторжане и

в массы полетели целые тучи криков, лозунгов, обещаний и предостережений.

Массы отшатнулись от вчерашних „вождей“. Но „долой королей“ (и „да здравствует король!“). И массы начали искать себе новых „вождей“.

Анархисты и большевики начали овладевать движением и задавать тон»^[49].

Для жителей Екатеринослава и окрестностей самым сложным испытанием оказалось верно уловить этот тон — хотя бы, чтобы выжить. Вроде бы бурный 1917 год на деле вышел лишь «временно» неустойчивым, как и правительство, возглавлявшее страну почти до его конца. Уже в 1918-м ситуация изменилась к худшему настолько, что стало казаться, что год назад царил эпоха стабильности и спокойствия. В 1917-м Украина только накапливала критическую массу для взрыва Гражданской войны. Накапливала идеи, оружие, злобу и людей — решительных, безжалостных, голодных, — способных превратить злобу в злодейство, а голод в грабеж с оружием в руках во имя каких-нибудь, тех или иных, революционных или контрреволюционных — любых — идей. Полнился такими людьми и такими идеями и Екатеринослав.

Подобно тому как приехал в город в поисках лучшей доли «американец» Жорж Голубовский, сюда приезжали и многие другие — коммунисты, эсеры, анархисты. Особое место среди них занимал, пожалуй, только один выдающийся персонаж. Человек, который вернулся сюда, потому что здесь, рядом, в Гуляйполе, была его родина и потому что именно здесь он был уже полностью готов к тому, чтобы не ловить чужой тон, а самому выступить в роли вождя масс, в роли «батьки», — Махно. Именно он стал одним из тех, кто дирижировал необыкновенной кровавой симфонией Гражданской войны на Украине в 1917–1920 годах.

НАША СПРАВКА

Нестор Иванович Махно (1888, село Гуляйполе, Екатеринославская губерния — 1934, Париж). Стал известен как «батька» Махно. Революционер-анархист, практик анархизма. С 1906 года был членом «Крестьянской группы анархо-коммунистов», действовавшей под Екатеринославом, участвовал в террористических актах и «экспроприациях» богачей. Неоднократно судим.

В 1917 году, после Февральской революции, освобожден из

Бутырской тюрьмы в Москве. Вернулся на родину, создал в Гуляйполе Комитет спасения революции, сформировав из членов анархистской организации боевую дружину «Черная гвардия». Авторитет анархистов и лично Махно укрепила проведенная им в сентябре того же года конфискация помещичьих земель. Пользовался значительной популярностью среди крестьян Южной Украины. С приходом в эти края немецких войск «Черная гвардия» прекратила свое существование, а сам Махно отправился в поездку по России, где встречался с Владимиром Лениным.

Осенью 1918 года вернулся на родину и возглавил там анархистское движение. Во время Гражданской войны периодически входил в союз с красными, помогая им в войне против армий Антона Деникина и Петра Врангеля, но в целом придерживался линии на создание особой — «повстанческой» армии, пытался основать «Повстанческую республику» в Южной Украине. В 1920–1921 годах окончательно разошелся во взглядах с советским правительством, был признан им «бандитом», и к концу лета 1921 года армия Махно была разгромлена. Бежал за границу, в эмиграции жил в тяжелых условиях. Умер в возрасте сорока пяти лет от туберкулеза. В советской литературе и искусстве, как правило, его образ был гротескно-отрицательным.

Много позже, уже оказавшись за границей, Нестор Махно написал прелюбопытные воспоминания о своей жизни, о революции и о войне всех против всех. И здесь снова, совсем как в воспоминаниях Моисея Равич-Черкасского, мы сталкиваемся с зарисовкой мимолетней исторической фигуры, на этот раз девушки, по описанию очень похожей на нашу героиню. В главе о событиях лета 1917 года (если только он не ошибся, восстанавливая в эмиграции хронологию по памяти) Нестор Махно рассказал о своем посещении Екатеринослава: «...я возвратился опять в киоск федерации, подобрал ряд брошюр себе для Гуляйполя и хотел было уходить в бюро по созыву съезда для получения бесплатного номера на время работ съезда, как в киоск зашла молодая барышня, оказавшаяся товарищем. Она просила товарищей пойти с нею в зимний городской театр и поддержать ее в выступлении перед рабочей аудиторией против увлекающего рабочих социал-демократа „Нила“. Но присутствующие товарищи ей сказали, что они заняты. Она ни слова больше никому не сказала, повернулась и ушла.

Товарищ Молчанский спросил меня: „Ты с нею знаком? Это — славный и энергичный товарищ“. Я в ту же минуту бросил киоск и нагнал ее. Предложил ей идти вместе на митинг, но она мне ответила: „Если не будете выступать, то вы мне не нужны там“. Я обещал ей, что выступлю.

Тогда она взяла меня за руку, и мы ускорили шаги по дороге в Зимний театр. Этот юный и милейший товарищ рассказала мне по дороге, что она всего три года как сделалась анархисткой. Это ей трудно далось. Она около двух лет читала Кропоткина и Бакунина. Теперь почувствовала, что прочитанные ею труды помогли сложиться ее убеждениям. Она их полюбила и во имя их работает. До июля она выступала перед рабочими, но боялась выступить против врагов анархизма — социал-демократов. В июле на одном из митингов в сквере она выступала против социал-демократа „Нила“. Он ее хорошо отстегал. „Теперь я, — говорила она, — собралась с силами попробовать вторично выступить против этого ‘Нила’. Это — агитаторская звезда в центре социал-демократов“.

На митинге я выступил против знаменитого „Нила“ под псевдонимом „Скромный“ (мой псевдоним с каторги). Говорил скверно, хотя, по уверению товарища, „это было очень удачно, только что волновался“.

Мой же товарищ, юный и энергичный, завоевала весь зал своим нежным, но сильным ораторским голосом: аудитория была восхищена этим голосом, и мертвая тишина, когда слушали то, что она говорила, сменялась бурными рукоплесканиями и громовыми криками: „Правильно, правильно, товарищ!“

Товарищ говорила недолго, 43 минуты, но настолько возбудила массу слушателей против положений, высказанных „Нилом“, что, когда последний вышел оппонировать всем против него выступавшим, зал закричал: „Неверно! Не забивайте нам головы неправдой. Правильно говорили нам анархисты. Вы говорите неправду...“

Когда мы возвращались с митинга, нас собралось уже несколько товарищей вместе. Наш юный товарищ говорила мне: „Вы знаете, товарищ ‘Скромный’, что этот ‘Нил’ своим влиянием на рабочих до сих пор меня с ума сводил, и я задалась целью во что бы то ни стало убить его влияние на рабочих. Меня стесняло на этом пути лишь одно: я слишком молода. Рабочие относятся к старым товарищам более доверчиво. Боюсь, что это мне мешает выполнить свой долг перед рабочими...“

Кроме здоровья и лучших успехов ей в деле революционного анархизма, я ничего больше пожелать не мог. Мы распрощались и разошлись, обещая на другой день встретиться и поговорить о Гуляйполе, о котором она слыхала много хорошего»^[50].

Могла ли «товарищ барышня» оказаться Ольгой Федоровной Ревзиной? Теоретически — да, могла. Почему бы нет? Именно таким, как его описал Махно, предстает образ нашей героини из позднейших воспоминаний о ней, из ее писем, из документов, даже из ее стихов с поправкой на то, что в 1917 году она была «слишком молода» (Ревзиной в это время 18 лет). «Славный, энергичный товарищ» — лучше и не скажешь. Другое дело, что не всё стыкуется в этой истории, если принять как версию, что ее героиней была именно Люся, хронологически. Строго говоря, существует всего две причины, позволяющие подвергнуть сомнению то, что вождь анархистов Украины встретился летом 1917 года именно с Ольгой Ревзиной. Во-первых, сам Махно ни разу не упоминает не то что ее фамилии, но даже имени. Во-вторых, и это, возможно, даже более весомый довод, в своей анкете много лет спустя она написала, что вышла из партии большевиков осенью 1917-го, а не летом. Значит, случись ее встреча с Махно летом, она агитировала бы не «за», а «против» него — они должны были быть по разные стороны баррикад. Но стоит еще раз повторить: далеко не всему в сохранившихся документах можно верить, а указанное в ее анкете время выхода из РСДРП(б) — несколько странная дата.

Мы помним, что брат Ольги — Владимир Ревзин расстался с большевиками 4 апреля 1917 года, став теперь убежденным анархистом. После этого судьбоносного для всей их семьи решения Владимир на время покинул малую родину и уехал к отцу на Урал^[51]. Вернувшись тем же летом, он, наверное, встретился и с женихом сестры — тоже убежденным анархистом, только что прибывшим из эмиграции. Эти двое молодых мужчин, которые были ей ближе всех остальных людей и которые оба были анархистами, неизбежно должны были оказать на Ольгу самое серьезное влияние. И все же она утверждала, что дотянула среди большевиков до осени и вышла из партии примерно в то самое время, когда коммунисты взяли власть. Это странно и само по себе, и тем более, что во всех задокументированных случаях — а до нас они дошли в основном в виде протоколов — она рассказывала это именно коммунистам, и ей было бы выгодно подавать себя как убежденную большевичку, только недолго и по нелепой случайности («не разобралась») заигрывавшую с анархистами. И тем не менее...

Еще одна причина, которая заставляет несколько усомниться в ее долгой и активной работе среди коммунистов Екатеринослава, уже называлась. Это почти полное отсутствие упоминаний о ней не только в жандармских и полицейских сводках, но и в воспоминаниях коллег-

подпольщиков после событий Февральской революции. При наличии фантазии это можно списать на то, что они знали о разведывательной работе Ольги и стремились не привлекать к ней внимание, но, увы, это объяснение для дилетантов. Ольга Ревзина не раз меняла и имя, и фамилию, но в любом случае никто из подпольщиков не должен был знать о ее службе в разведке. Ни тогда, ни потом. Мемуары же бывшие революционеры оставляли во множестве, и даже если предположить, что в позднейших изданиях по каким-то причинам имя Ревзиной могло быть вычеркнуто, то в первых послереволюционных публикациях кто-нибудь да должен был вспомнить девушку с примечательной внешностью, хозяйку конспиративной квартиры, а затем представителя райкома партии большевиков в городском комитете и секретаря хорошо известной в городе газеты «Звезда». Но нет — мертвая тишина. Даже в неоднократно цитировавшемся здесь номере опубликованного на Украине в 1923 году сборника «Летопись революции: Журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и Коммунистической партии (большевиков) Украины», полностью посвященного истории екатеринославского подполья, упоминание о Ревзиных встречается лишь пару раз — в известных нам воспоминаниях Серафимы Гопнер, относящихся к дореволюционному периоду, и в обоих случаях это связано с Владимиром, а не с Ольгой — секретарем, делегатом, сотрудником единственной большевистской газеты. Не странно ли?

А вот если принять как рабочую гипотезу чрезвычайно короткое «пребывание» Люси Ревзиной в рядах большевиков — не до октября, а до лета 1917 года, все встает на свои места. Все трое оказываются в одном месте — в Екатеринославе — и заняты примерно одним и тем же делом — агитацией в пользу анархистов. Потому и нет воспоминаний о их большевистской активности в тот период ни у кого из екатеринославских большевиков — не было этой активности. И жизнь для всех троих в очередной раз коренным образом изменилась только после октябрьских событий, хотя и в этот период их биографии становятся не намного яснее.

Ольга Ревзина: «В Красной гвардии в 1917 г., сестрой и бойцом»^[52]; «...в отряде имени Бакунина в качестве сестры милосердия, затем [в качестве] рядовой»^[53]; «в Октябрьской революции и в последующих боях, продолжавшихся в Днепропетровске до янв. 1918 г., принимала активное участие, сражаясь в рядах Красной Гвардии против юнкеров и гайдамаков. В январе — феврале 1918 г. принимала участие в формировании партизанских отрядов, отправлявшихся на юг (тут Ольга скромно умолчала

об идеологической направленности этих отрядов. — А. К.). Весной поехала в Москву, сдала экстерном за 8 кл. гимназии, затем отправилась на Майковский завод [к отцу] Пермской области, работала зав. Отделом внешкольного образования и преподавала русский язык на вечерних рабочих курсах»^[54].

Владимир Ревзин: «Красногвардеец, командир взвода городского отряда Красной Гвардии в Екатеринославе (ноябрь 1917 — февраль 1918), организатор и командир партизанского отряда им. М. А. Бакунина, действовавшего в районе Криворожского бассейна и в Таврической губернии (февраль — май 1918)»^[55]; «затем, при захвате власти в декабре 1917 года, а затем все время до 1920 года участвовал в Гражданской войне будучи командиром партизанских отрядов и командиром и комиссаром частей Красной армии — бригад и дивизии»^[56].

Георгий Голубовский: «...в отряде Бакунина, в котором был членом [солдатского?] комитета»^[57]; «с 1918 по 1923 на Украинском фронте»^[58].

Если присмотреться внимательно к этим показаниям (а это именно показания, данные на следствиях разных лет, исключение только последняя цитата Ольги, взятая из ее анкеты 1935 года), возникает ощущение некоторого разнобоя в них и одновременно чего-то общего, объединяющего всех троих. С последним разобраться несложно. Владимир Ревзин и его сестра Ольга, которую теперь правильнее будет называть не Ревзиной, а Голубовской, и ее муж Георгий, при некотором противоречии в деталях, сходятся в одном. Вскоре после Октябрьской революции 1917 года все они служили в партизанском отряде имени М. А. Бакунина. Причем Владимир Ревзин сам этот отряд и формировал, а затем им командовал (не путать с другим отрядом анархистов имени М. А. Бакунина, созданном в то же время, но в Москве). Ближайшие родственники Владимира — сестра и ее муж — находились вместе с ним в отряде, но на менее важных должностях. Впрочем, должность в партизанском отряде — понятие такое же аморфное, как и наши представления о партизанском движении на юге Украины во время Гражданской войны (да и не только там и не только тогда). Во многом разделение обязанностей между бойцами и командирами партизанских отрядов зависело от величины самого формирования. Понятно, что в крупных отрядах более или менее близко копировалась организационно-штатная структура отдельных воинских частей — от роты до дивизии. В маленьких же отрядах, численностью от нескольких человек до десятков бойцов («штыков» или «сабель», как тогда говорили, в зависимости от пешего или конного способа ведения боевых действий),

командирам нередко приходилось выполнять обязанности рядовых бойцов — от несения караульной службы до ухода за лошадьми, просто потому, что больше это делать было некому. Женщина в партизанском отряде могла быть и стрелком, и связной, и поварихой, и санитаркой, и все тем же конюхом — война есть война.

Итак, Владимир Ревзин, который только в апреле 1917-го примкнул к анархистам, заявляет о своей службе в армии, точнее, в Красной гвардии — добровольных вооруженных отрядах рабочих и солдат, создаваемых РСДРП, а именно — большевиками. Кажется, что это звучит странно, но надо помнить, что в Красную гвардию тогда брали отнюдь не только большевиков, но и эсеров, и анархистов, и просто всех «сочувствующих». Красногвардейкой становится и его сестра, которая только что из партии большевиков вышла. Ее муж вообще предпочел умолчать о своих политических предпочтениях во время службы. Некоторую ясность в их политические если не убеждения, то предпочтения вносит само название вскоре созданного отряда — имени Бакунина.

НАША СПРАВКА

Михаил Александрович Бакунин (1814, село Прямухино Новоторжского уезда Тверской губернии — 1876, Берн, Швейцария) — русский мыслитель и революционер, один из теоретиков анархизма и народничества. Массон. Стоял у истоков анархо-социализма (социального анархизма).

В своей книге «Бог и государство» Бакунин писал: «Свобода человека состоит единственно в том, что он повинует естественным законам, потому что он сам признает их таковыми, а не потому, что они были ему внешне навязаны какой-либо посторонней волей — божественной или человеческой, коллективной или индивидуальной». Бакунин отвергал любую форму иерархической власти, государство вообще, как монархическое, так и республиканское его устройство. Он не признавал идею любого привилегированного положения или класса, считая социальное и экономическое неравенство, проистекающее из классовой системы, несовместимым с принципами индивидуальной свободы. Бакунин утверждал, что капитализм и государство в любой форме несовместимы с индивидуальной свободой рабочего класса и крестьянства.

По мысли Бакунина, главная задача социальной революции — разрушение исторических централизованных государств и замена их свободной, не признающей писаного закона, федерацией общин, организованных по коммунистическому принципу.

Социалистическая модель Бакунина получила название «анархо-коллективизм». Как и в марксизме, основными движущими силами революции в ней считались рабочие и крестьяне, главной опорой социальных преобразований — их беднейшие слои. Им же на коллективных началах принадлежали средства производства.

При этом Бакунин, в отличие от Маркса, полагал, что установление диктатуры пролетариата создаст угрозу всему делу социальной революции, поскольку явится предпосылкой возврата к авторитаризму: «Если взять самого пламенного революционера и дать ему абсолютную власть, то через год он будет хуже, чем сам царь».

Главный способ пропаганды, по Бакунину, — постоянные мелкие восстания и бунты, так называемая «пропаганда фактами».

Нетрудно догадаться, что именем такого человека — одного из основоположников анархизма, партизанский отряд в таврических степях вряд ли назвали бы большевики, хотя, конечно, могли. Одного того, что это революционер, могло оказаться для них достаточно. Взгляды Бакунина пока еще воспринимались как часть общего революционного процесса, происходящего от декабристов и проходящего до большевиков через Герцена, народников и анархистов. Проще говоря, «главное, что против буржуев». Но именно анархистская вольница могла написать имя неистового пассионария на своем черном знамени без всяких сомнений и с особой гордостью. И к Красной гвардии Екатеринослава Бакунин имел значительно меньшее отношение, чем к буйной «республике» все того же «батьки» Махно со столицей в Гуляйполе.

Что представлял или, точнее, что мог представлять (поскольку почти никаких данных о нем найти пока не удалось) собой отряд имени Бакунина? Украинский историк анархизма Анатолий Викторович Дубовик осторожно оценивает его численность в 50–200 штыков и замечает, что одно из немногочисленных упоминаний об этом партизанском формировании содержится в книге Андрея Леонидовича Никитина «Орден

российских тамплиеров». В ней опубликована часть протокола допроса бывшего бойца этого отряда Михаила Васильевича Стрельцова: «Весной 1918 г. после Брестского мира в апреле уехал на Украину. Был в подрывной команде отряда Петренко Красной Армии, а потом в анархическом отряде Воли[на] там же. В начале мая 1918 г. уехал оттуда обратно в Москву»^[59].

Фамилия командира отряда приведена в спорном варианте — то ли Воля, то ли Волин. По мнению Анатолия Дубовика, это связано с тем, что все историки анархизма знают (или хотя бы слышали) фамилию Волин — под этим псевдонимом известен теоретик анархо-синдикализма Всеволод Михайлович Эйхенбаум, но он, хотя и тесно общался с Нестором Махно, никогда не командовал партизанским отрядом^[60]. А вот Владимир Федорович Ревзин, как мы уже знаем, в какой-то момент отказался от своих фамилии, имени и отчества и стал фигурировать как Михаил Яковлевич Воль, но в историю вошел с более поздней версией псевдонима: Владимир Федорович Воля.

Люся Голубовская тоже оставила небольшие воспоминания об отряде, сделав это в замечательно необычной форме. В изданном в 1923 году в Берлине сборнике ее стихов есть одно, несколько неуклюжее, стихотворение под названием «Эшелоны», с посвящением: «Памяти Бакунинского отряда». Стихотворение странное, с характерными для его автора ассонансами и привычной для наших героев апелляцией к коммунистической теме:

Песен слыхали степи немало,
Но еще не слыхали такой:
— С «Интернационалом»
Воспрянет род людской...

«Интернационал» тоже был общим достоянием: гимном не только коммунистов, но и социалистов, и анархистов, всех революционных рабочих, а его автор — Эжен Потье, по некоторым данным, был анархистом. Но кем все-таки была она — Люся Ревзина, Ольга Голубовская, Елена Феррари? Анархисткой? Большевичкой? Авантюристкой? Возможно, именно тогда — в 1918 году — она сама еще могла точно выбрать хотя бы один из предложенных вариантов. В октябре ей исполнилось 19 лет, и она только начинала верить в то, что она не женщина, а борец за светлое будущее человечества, полноправный боец партизанского отряда имени Бакунина, которым командовал ее героический

брат и среди комиссаров которого ее не менее героический муж-«американец». Отрезвление придет нескоро. А начнется — с первыми взрывами, боями, перевязками раненых, искалеченных — с войной. И тогда Люсе Голубовской придется задать себе другие вопросы.

...Рельсы дрогнули: Кто? Откуда?
Стонут степи: зачем и куда?
Под откосами трупов груды
И разбитые поезда...

Глава четвертая

Семья военкома

*На плацу, открытом
С четырех сторон,
Бубном и копытом
Дрогнул эскадрон;
Вот и закачались мы
В прозелень травы,
Я — военспецом,
Военкомом — вы...*

*Эдуард Багрицкий «Разговор с
комсомольцем Дементьевым». 1927
год*

1918-й и первая половина 1919 года — очередное смутное время в истории нашей страны и еще одна большая лакуна в биографии Люси Голубовской и мужчин, с которыми она шла рука об руку, — брата и мужа. Собирая разрозненные сведения о их перемещениях в этот период, кажется, что рассматриваешь карту боевых действий времен Гражданской войны. Карта потертая, неясная, на местах сгибов с такими дырами, что некоторые сведения выпадают без всякой надежды быть когда-либо обнаруженными. Вся картина событий размыта и окутана клочьями такого информационного тумана, что не видно границ, расплываются названия городов и сел, обрываются дороги, и вместо бумаги, которая должна была внести ясность, на столе остается ветхое и готовое вот-вот совсем исчезнуть свидетельство будто бы и несуществовавшего мира. Даже важнейшие краски, по которым можно было определить, где «свои», а где «чужие», от времени давно выцвели. Там вроде бы красные знамена; тут, кажется, черные; а есть еще красно-зеленые, черно-красные и зелено-белые. Черно-белых только не сыскать — неоднозначное было время. Да что там: где протянулась полоска белой армии, а где изгибается дугой позиция Красной — и этого порой не разобрать. Сказанное и написанное

потом — чаще лукаво, чем правдиво, но иных свидетельств обычно просто нет.

Партизанский отряд имени М. А. Бакунина канул в прореху на карте Гражданской войны почти бесследно. Одно из немногих свидетельств его существования — стихотворение Елены Феррари, и в нем обозначена позиция автора. Он, а точнее, она — наблюдатель. В нем нет переживаний бойца, вспоминающего схватки Гражданской, нет ощущений «изнутри», которые умели мастерски передавать даже те, кто в схватках не участвовал и ощущений этих на самом деле не испытывал. В нем взгляд со стороны, но почему так — неизвестно. Может быть, Люся Голубовская не принимала участия в боях? Или сам отряд не снискал особой воинской славы? Увы, за исключением фразы об «активной деятельности» бакунинцев в районе Криворожского бассейна, появившейся почти 100 лет спустя после самой этой деятельности — в 2015 году, реальных свидетельств о боевых действиях этого партизанского отряда немного. Тем не менее мы знаем только, что он действительно воевал: Владимир Воля был ранен и контужен, его больные «в результате ранения» ноги указывались даже как особая примета при описании внешности^[61]. Почти до самого конца Владимира Федоровича сопровождали на службе однополчане, подтверждавшие мужество и героизм своего командира, проявленные в боях против немцев и гайдамаков за станцию Долинскую в 1918 году^[62].

Обладая столь скудной информацией, мы можем предполагать развитие событий, исходя из известной расстановки сил в тот период. В ноябре — декабре Екатеринослав, ставший на время Сичеславом, входил в состав полуэфемерной Украинской Народной Республики, признанной большевиками по условиям Брестского мира, но формально противостоявшей РСФСР. Наступление нового года совпало с приходом в Екатеринослав красных, и возможно, это обстоятельство и побудило Владимира Волю (или еще Михаила Яковлевича Воля) уйти с родственниками и единомышленниками из города во главе собственного анархистского отряда. Сам Воля в качестве начала деятельности отряда называл февраль, а финалом стал апрель того же 1918 года. Соответственно, вопреки популярной версии, Владимир и Ольга никак не могли быть арестованы вошедшими в Екатеринослав чекистами по обвинению в связи с анархистами и организации целой серии взрывов в городе, а заодно — в помощи немецким интервентам и отрядам гетмана Павла Петровича Скоропадского^[63]. В том числе и потому, что интервенты и украинские националисты, которым якобы помогали Ревзины, вошли в

город несколькими месяцами позже, как раз тогда, когда отряд Бакунина уже перестал существовать, а его командование оказалось так далеко от Украины, что в это трудно было бы поверить — если бы не родственные связи.

Бакунинский отряд исчез в апреле. Люся Голубовская отправилась в Москву сдавать экзамены за восьмой класс гимназии весной — логично предположить, что примерно тогда же. После чего уехала на Урал к отцу. И столь же правомерно будет считать, что в перемещениях по стране в столь опасное время ее сопровождали любимые мужчины: муж и брат. Подтверждением тому служат показания Люси, данные ею в ЧК, и записи в послужном списке Владимира Воли, сообщающие нам о том, что он в это время проходил службу в составе войск Урало-Оренбургского фронта, созданного для противостояния войскам атамана Александра Ильича Дутова на юго-восточном направлении в районах Заволжья и Южного Урала.

Фронт в понятиях Гражданской войны — высшее оперативно-стратегическое объединение войск Красной армии, то есть крупнейшая на каком-либо направлении группировка сил красных. В состав такого объединения обычно входили от двух до пяти действующих или находящихся в процессе формирования армий, соединения и части резерва, штабные и тыловые военные организации, а также партизанские отряды и бригады. Очень часто, особенно в условиях Поволжья, Урала и Сибири с их растянутыми коммуникациями, малой плотностью населения и сложными природными условиями, фронт не образовывал единой непрерывной линии обороны или наступления — картину, к которой мы привыкли по описаниям боев во время Первой мировой или Великой Отечественной войн. Недолго просуществовавший и переформированный летом 1918 года в 3-ю армию Урало-Оренбургский фронт как раз относился к тем войсковым объединениям, которые, прикрывая лишь ключевые коммуникации — железные дороги, реки, сухопутные пути, должны были не допустить наступления противника на Советскую республику со стороны оренбургских степей. Под ударом белых и взбунтовавшегося в мае 1918 года Чехословацкого корпуса, растянувшегося по Транссибу от Пензы до Владивостока, оказались промышленно развитые районы Урала. В случае удачного развития событий противнику открывался прямой путь к Волге и дальше — на Москву. Именно в районе действия этого фронта, точнее в полосе его обороны, находился Майкорский (Никитинский) металлургический завод, на котором работал отец Владимира и Ольги — Федор Ревзин, бывший к тому же, по нашим предположениям,

специалистом подрывного дела. В очередных показаниях Ольги Федоровны эта неслучайность подтверждается: «В 1918 году, летом я уехала со своим мужем на Урал (завод Майкор), где муж и я работали. Я была заведующей внешкольного отделения, а он организовал сельскохозяйственную коммуну при Губисполкоме. По истечении года я уехала из Урала в город Харьков...»^[64]

Заведующая внешкольным отделением и руководитель сельхозкоммуны... Похоже, что Люсе и Жоржу Голубовским хватило 1917 года, чтобы понять, что такое революция и к чему она приводит. Хватило трех месяцев в партизанском отряде в степях Украины, чтобы ощутить на себе, что такое Гражданская война: кровь, вонь, смерть. Романтика в таких условиях проходит быстро. Он — вернувшийся из Америки синдикалист, вряд ли ожидал такого бурного, страшного и неуправляемого разворота событий на родине. Она — девятнадцатилетняя молодая женщина, которая наконец-то осознала, как сильно ей повезло, когда большевики не пустили ее на фронт. Кажется, теперь Ольге Федоровне и самой не хотелось туда возвращаться. Работа с детьми, преподавание им русского языка, сельскохозяйственный кооператив (на анархо-синдикалистских принципах?) — их стремления напоминали скорее грезы пионеров Среднего Запада, чем идеи революционеров Западного Приуралья. И то, что новые мечты начали сбываться, Жоржа и Люсю вполне устраивало. Вот только логика войны их новых желаний никак не учитывала.

Что же касается главной в ту пору движущей силы этой необычной семьи — Владимира Воли, то в исследованиях наших дней его должность на Урале обозначена как «начальник подрывной команды штаба...»^[65]. В его подлинных документах, фиксирующих служебные перемещения и сохранившихся в фондах Российского государственного военного архива, сформулировано иначе: «начальник формирования подрывных команд»^[66]. Нетрудно заметить, что это две разные должности, разные виды службы, два разных образа жизни с неравным уровнем опасностей и наград. Начальник подрывных команд по сути своей есть диверсант, командир и наставник диверсантов, а следовательно, человек, который сам выходит на линию фронта или за нее и сам, хотя бы время от времени, участвует в каких-то подрывах, в диверсиях. Начальник формирования тех же самых команд — в современном понимании командир или, что еще ближе к истине, сотрудник военкомата, занимающийся подбором и комплектованием подразделений диверсантов и, скорее всего, служащий в тылу. Вполне подходящее место для обладающего боевым опытом, но

недавно тяжелораненого Владимира Воли. Если же принять во внимание, что двое из троих членов семьи занимались сугубо мирными делами, а значит, находились достаточно далеко от района боевых действий, естественно будет предположить, что и реальное место службы бывшего командира Бакунинского отряда в тот период вряд ли было на переднем крае сражений с белогвардейцами. Когда же фронт был расформирован, а комплектование команд стало невозможным, Владимир Федорович таким же логичным образом закончил службу на Урале. Приказом наркома по военным и морским делам РСФСР (так в документе) товарища Льва Давидовича Троцкого^[5] № 672 от 13 августа 1918 года он был назначен на должность военкома (опять!) «III округа 4-го Острогожского района Пограничной охраны»^[67].

Острогожск — небольшой старинный город в Воронежской губернии, в верховьях Дона. Сегодня это трудно представить, но тогда по этим местам действительно проходила граница. Во второй половине 1918 года Острогожск был оккупирован немецкими войсками и включен в состав украинской (Второго гетманата Павла Скоропадского) Харьковской губернии под патронатом (вот уж поистине лучше слова не сыскать) Германии. Переехав сюда, на линию фронта, Воля на некоторое время оставил родственников на Урале, но одновременно указал им вектор дальнейшего перемещения по стране — в центр, в неуклонно становящуюся большевистской Россию, в Москву.

Для жизни в этой новой стране необходимо было еще раз хорошенько подумать и определиться со своими политическими взглядами, симпатиями, пристрастиями. Еще весной 1918 года у анархистов возникли серьезные разногласия с центральной властью, пока что формально придерживавшейся принципа многопартийности в государственном строительстве и управлении. По мере того как силы большевиков крепили, анархисты оказывались в состоянии все более острого идейного противостояния с ними, все глубже втягиваясь в борьбу за симпатии масс. Борьбу не настолько безнадежную, как это может показаться сегодня. Вклад сторонников учения Бакунина и Кропоткина в революцию 1917 года был огромен, а их влияние на рабочих, отчасти и на крестьян (на той же Украине) достигало заметного масштаба. Заметного настолько, что дальше большевики не могли мириться со столь опасной конкуренцией. С другой стороны, поведение множества поклонников «абсолютной свободы», в массе своей понимавших анархию как вседозволенность и безнаказанность, становилось смертельно опасным для обычных граждан, отталкивало от

них и население, и даже потенциальных противников большевиков.

После переезда советского правительства в Москву весной 1918 года массы «чернознаменников» тоже покинули Северную столицу и фактически оккупировали лучшие из сохранившихся старых московских особняков. Более пятидесяти разрозненных анархистских групп, фракций, отрядов, банд — общей численностью более двух тысяч человек, вооруженных стрелковым оружием и располагавших артиллерией, заняли центр Москвы, по одной из версий даже вынудив руководство ВЧК подыскать себе новое помещение на Лубянской площади взамен изначально выбранного дворца на Поварской (возможно, дом на Поварской попросту оказался слишком маленьким для чекистов). Почти вся эта улица оказалась в распоряжении анархистов, и не только она. Их штаб разместился на Малой Дмитровке, 6, в здании бывшего купеческого клуба, который отныне назывался «Домом Анархии», а некоторые адреса, в которых обосновались сторонники неограниченной свободы, находились в опасной близости от жизненно важных учреждений, например от Госбанка^[68]. Ситуация обострялась с каждым часом, а развязка наступила в ночь на 12 апреля.

Из заявления «Совета Народных Комиссаров гор[ода] Москвы и Московского обл[астного] Президиума Моск[овского] Совета Рабочих Депутатов»:

«МОСКВА. РАЗОРУЖЕНИЕ АНАРХИСТОВ

Ко всем.

Население Москвы взволновано было за истекший день артиллерийской и ружейной стрельбой на улицах Москвы. Но еще больше население взволновано было за последние месяцы целым рядом непрекращавшихся налетов на отдельные дома и квартиры, на все усиливающееся количество ограблений и убийств, совершенных под флагом различных групп анархистов, отчасти входивших в Федерацию анархических групп, отчасти самостоятельных.

Несмотря на самую вызывающую и резкую идейную критику Советов и Советской власти на страницах анархических газет „АНАРХИЯ“, „ГОЛОС ТРУДА“ и других, Московский Совет Рабочих Депутатов не предпринимал никаких мер против анархистов, питая доверие к идейной их части, надеясь, что эта идейная часть справится с той массой чисто уголовных и явно контрреволюционных элементов, которые укрывались под флагом московских групп анархистов... Уголовные преступники после целого ряда убийств и грабежей находили себе убежище в захваченных анархистами особняках. Не проходило дня без нескольких ограблений и

убийств, совершенных под флагом анархизма. Особняки, реквизируемые анархистами, по уверениям их идейных вождей, для культурно-просветительских нужд, ограблялись; обстановка их и ценности продавались в частные руки и служили средствами для обогащения отдельных лиц, а отнюдь не для удовлетворения общественных потребностей, а сами особняки становились приютами для уголовных преступников.

Перед Советом и всем населением выростала несомненная угроза: захваченные в разных частях города 25 особняков, вооруженные пулеметами, бомбами, бомбометами и винтовками, были гнездами, на которые могла опереться любая контрреволюция. Несмотря на уверения идейной части анархистов, что никаких выступлений против Советов они не допустят, угроза такого выступления была налицо и за последнее время все чаще выдвигалась отдельными группами анархистов. Совет Народных Комиссаров гор[ода] Москвы и Московской области и Президиум Московского Совета Рабочих Депутатов стали перед необходимостью ликвидировать преступную авантюру, разоружить все группы анархистов. Неизбежность вооруженного столкновения и жертв сознавалась нами и оправдывалась тем, что дальнейшее промедление грозило ростом ежедневных жертв при ограблениях и анархических захватах. Лучше произвести эту операцию, чем тянуть мучительную борьбу.

В ночь на 12-е апреля, по ранее разработанному плану, вооруженные отряды Советской власти приступили к разоружению; решение было принято твердое, войскам было отдано приказание разоружить всех анархистов во что бы то ни стало... Есть несколько человек убитых и раненых с той и другой стороны. Несколько сот вооруженных людей, оказавших сопротивление и потом сдавшихся, арестованы. Их личность, мотивы их преступности будут выяснены в ближайшее время, и результаты следствия будут опубликованы возможно скорее, точно так же, как сведения о жертвах этой борьбы. При разоружении отобрана масса оружия: бомб, ручных гранат, несколько десятков пулеметов и бомбометов, огромное количество винтовок, револьверов и патронов. Эта масса оружия в руках явных контрреволюционеров и уголовных бандитов была угрозой всему населению.

Кроме того, найдено много золота и награбленных драгоценностей.

Совет Народных Комиссаров гор[ода] Москвы и Московской области и Президиум Московского Совета Рабочих Депутатов заявляют, что они доведут начатое дело до конца. Они не борются против самой организации анархистов, против идейной пропаганды и агитации, закрытие газет — акт

временный, вызванный остротой момента...»^[69]

Разгром московских анархистов стал не только страшным ударом собственно по ним самим, но и послужил явным и недвусмысленным сигналом тем, кто стоял в то время под черными знаменами далеко от красной столицы. Его слышали и поняли все, а решение принимали каждый свое — в зависимости от веры в анархию — мать порядка, в большевизм — отца диктатуры или просто в собственные силы, ум, хитрость, способности к выживанию. Верно спрогнозировать, кто в этой непростой борьбе возьмет верх, было чрезвычайно сложно, и еще не год и не два шла эта партизанская, то полуобъявленная, то совсем скрытая, то совершенно официальная война между красными и черными знаменами (не кончилась она и до сих пор — только теперь ведется уже между группами историков и интерпретаторов исторических событий столетней давности). Симпатии между партиями, течениями, политическими расцветками делили порой семьи на враждебные лагеря, и этот совершенно правдивый сюжет навсегда стал одним из главных в художественных произведениях об ужасе и внутреннем трагизме Гражданской войны. Но были и другие семьи, где проблема политических пристрастий решалась без драм, крови и слез. Одна из них — семья Ревзиных-Голубовских.

Первым свои представления о целях революции и способах их достижения поменял Владимир Федорович Воля. В декабре 1918 года он вновь сменил партийную принадлежность и вступил, теперь уже навсегда, в партию большевиков. Тогда же, в декабре, прослужив осень на границе с оккупированной немцами Украиной, он получил новое назначение: на должности командира и комиссара (такое совмещение случалось на ранних этапах становления Красной армии) 3-й Украинской дивизии Красной армии, формирувавшейся для боев на Таврическом театре военных действий. Дивизию готовили всю зиму, и когда в феврале 1919 года соединение было готово к отправке на фронт, Воля покинул его и отправился дальше, но в обратную сторону, в тыл, в Харьков.

21-летний большевик Владимир Федорович Воля был назначен военкомом партизанского отряда имени ВЦИК или, как тогда писали, «имени В.Ц.И.К.». Всероссийский центральный исполнительный комитет был высшим органом после собиравшегося периодически Всероссийского съезда Советов и выполнял функции основного законодательного, распорядительного и контролирующего органа государственной власти РСФСР. Именно ВЦИК, например, формировал Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК) РСФСР — правительство революционной власти — то самое, которое семь месяцев назад нанесло серьезнейший удар

по московским анархистам. Понятно, что быть комиссаром в таком отряде, поднимать бойцов на борьбу с белыми и в целом с мировой буржуазией мог только человек проверенный, партийный, настоящий большевик. Да, пусть и ошибавшийся иногда в выборе пути (времена сложные — с кем не бывает), как это случилось с Владимиром Волей, но вовремя осознавший, с кем сила и правда. Впрочем, вряд ли Владимир Федорович спешил рассказывать новым знакомым о своем недавнем увлечении идеями Бакунина. Доверять вполне и безраздельно военному отряду было бы логично только своим старым знакомым, своему ближнему кругу, и агитатором в новом партизанском отряде стала его сестра Люся, а помощником военного комиссара был назначен вернувшийся вместе с ней с Урала Жорж Голубовский.

Экспедиционный партизанский отряд Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) — так он правильно назывался — впервые был сформирован еще в августе 1918 года на Урале, где в то время как раз жили наши герои. Регулярная воинская часть численностью около пятисот человек, подчиненная непосредственно Революционному военному совету (Реввоенсовету) Республики, получила лично от Троцкого задание организовать и вести партизанскую войну в районе, который контролировал Чехословацкий корпус. В свой первый бой вциковцы вступили в октябре, а уже в декабре отряд, численность которого выросла до 30 тысяч (!) штыков, был переформирован в Партизанскую Красную армию, переброшен на север Украины, в район Луганска, где вновь переформирован — на этот раз из него получились 4-я партизанская дивизия и несколько регулярных воинских частей^[70]. Идея партизанских рейдов, оказавшаяся вполне жизнеспособной, понравилась Троцкому, и новый отряд ВЦИКа получил приказ поддержать только что созданную тоже из партизан, но только Северной Таврии — бывших сторонников Украинской директории и отрядов «батьки» Махно, 1-ю Заднепровскую Украинскую советскую дивизию бывшего атамана, а ныне краскома Никифора Александровича Григорьева, наступавшую на Одессу.

Вольный город к тому времени уже изнывал от бесконечной чехарды генералов, атаманов и иностранных интервентов. Вот только в декабре — январе здесь укрепилась очередная коалиционная власть, основанная на союзе представителей Антанты и некоторых держав, не входивших в коалицию (всего — около 25 тысяч французов, 12 тысяч греков, более трех тысяч поляков, около тысячи румын), и белогвардейцев. Общими усилиями они удерживали линию фронта вдоль северного побережья Черного моря от Днестра до Крыма. Командование союзников обсуждало идею создания

здесь самостоятельного правительства и формирования собственной смешанной армии, независимой от армии генерала Антона Деникина, который в это время вел бои с большевиками восточнее одесского района. Воспользовавшись бесконечными противоречиями и распрями в стане союзников, в феврале 1919 года разношерстная и идеологически не совсем красная Красная армия двинулась на Одессу. 10 и 14 марта были взяты крупнейшие и важнейшие, помимо Одессы, промышленные центры на побережье Черного моря — Херсон и Николаев. Войска союзников понесли потери в несколько сотен человек, и, не желая дальше жертвовать своими людьми, Антанта дала приказ о сдаче Одессы. 6 апреля, при еще незаконченной, но мирной эвакуации союзников из города, в него вступили первые отряды красноармейцев.

Одесса — город своеобразный, творческий, и уже меньше чем через неделю, 11 апреля 1919 года, местные поэты и писатели разных политических взглядов попытались объединиться, решив учредить профессиональный Союз литераторов. Их собрание почтил своим присутствием мэтр русской словесности, будущий эмигрант и нобелевский лауреат Иван Алексеевич Бунин. Его супруга вспоминала, как была потрясена тем, что молодые поэты на этом собрании вели себя «нагло, цинично и, сделав скандал, ушли»^[71]. Среди наглых и циничных скандалистов особо выделялся молодой Эдуард Георгиевич Багрицкий (Эдуард Годелевич Дзюбин) — в ту пору начинающий, но уже весьма амбициозный поэт, сразу и без колебаний определившийся со своей политической ориентацией.

Немедленно после собрания, так больно ранившего душу Бунина и его жены, Багрицкий вступил добровольцем в одну из воинских частей красных, вошедших в Одессу, — Особый партизанский отряд имени ВЦИК. Владимир Воля зачислил Эдуарда Георгиевича в штат инструктором политотдела, поручив ему заниматься агитацией в пользу советской власти и Красной армии, в том числе в стихотворной форме. Помимо Воли, начальником Багрицкого стал Георгий Голубовский, а ближайшей коллегой Люся Голубовская.

Увы, традицию не вспоминать Ольгу Федоровну в мемуарах Багрицкий поддержал. Да и вообще, не сохранилось, к сожалению, никаких воспоминаний о ее службе в отряде ВЦИК. Зато в нашем распоряжении есть записки о ее значительно более известном в советское время однополчанине: «Сослуживцы Багрицкого по партизанскому отряду вспоминали о нем как о „чудесном и самоотверженном товарище, скромном и задушевном“, как об авторе „множества листовок,

разъясняющих трудящимся сущность событий, призывающих к защите советской власти... Мы прекрасно помним, — рассказывали они, — как небольшие желтые листочки разбрасывались нашими разведчиками далеко впереди цепей и читались по деревням крестьянами и рабочими“»^[72].

Что было написано на тех листочках, мы тоже примерно знаем. На одном из них, дошедшем до наших дней, с энергичным призывом «К оружию!» в заголовке, читаем следующее:

«Товарищи рабочие,
если вы хотите, чтобы снова начали работать фабрики, чтобы можно было наладить ввоз и вывоз товаров, записывайтесь в Красную армию.

Товарищи! Преступление сидеть сложа руки, когда Советская Россия зовет вас на помощь!

Товарищи! Вы защищаете свои права, вы защищаете власть Советов, в которых находятся ваши же братья рабочие! Какие же разговоры тут могут быть. Все слова лишни (так в документе. — А. К.).

Всякий, кто может носить оружие, пусть берет винтовку и идет с нами на фронт. Колебаний быть не может. Кто не с нами, тот против нас!»^[73]

Трудно сказать, насколько оригинальным и сугубо одесским был этот текст, но опора на экономические стимулы в идеологическом призыве бросается в глаза, а уж мечта о свободном ввозе-вывозе товаров и вовсе навеивает воспоминания о черноморских пикейных жилетах, равно как и евангелистский лозунг «Кто не с нами, тот против нас!». В любом случае теперь, на примере Багрицкого, мы примерно можем представить, чем занималась в отряде специалист по политработе Люся Голубовская и какими могли быть первые тексты, вышедшие из-под ее революционного пера. И не только в виде агитационной прозы.

Мы не знаем, писала ли Люся Голубовская стихи до прихода отряда в Одессу, но точно знаем, что их писал Эдуард Багрицкий. Более того, известно, что и свои агитки время от времени он создавал в стихотворной форме. Они не вошли ни в один из его поэтических сборников по понятным причинам: сложно оценить достоинства, которых нет. Тем не менее для самого Багрицкого подобные воззвания на долгое время стали источником существования, а для Ольги Федоровны Голубовской образцом работы хотя и молодого, но уже признанного — в узких одесских кругах — поэта. Вот одно из таких политически выдержанных творений:

В последний час тревоги и труда
Над истомленными бойцами
Красноармейская звезда

Сияет грозными лучами.

Ружье, лопата, молот и кирка
Теперь оружие героя.
Ничья злодейская рука
Не сможет выбить вас из строя.

Идите, братья, к нам! Тревожен час!
Враги грозят свободе и народу.
Пока огонь Свободы не угас,
Идите биться за Свободу^[74].

Вопрос влияния партизанских виршей Багрицкого на раннее творчество Елены Феррари остается открытым и существует вне рамок нашего исследования. Само по себе наличие факта совместного существования в крайне замкнутом коллективе небольшой воинской части (да еще в одном микроскопическом ее подразделении) должен навести на размышления о том, насколько самостоятельна могла быть в начале своего литературного пути наша героиня, каких внутренних усилий стоило ей отойти от агитационно-штампованных воззваний в стиле ее признанного коллеги и как повлияли на формирование ее художественного вкуса последующие изменения обстановки, условий жизни семьи Ревзиных — Голубовских. Сам Багрицкий позже писал: «Я еще не понимал прелести использования собственной биографии. Гомерические образы, вычитанные из книг, окружили меня. Я еще не был во времени — я только служил ему. Я боялся слов, созданных современностью, они казались мне чуждыми поэтическому лексикону — они звучали фальшиво и ненужно. Потом я почувствовал провал — очень уж мое творчество отъединилось от времени. Два или три года я не писал совсем. Я был культурником, лектором, газетчиком — всем чем угодно — лишь бы услышать голос времени и по мере сил вогнать в свои стихи. Я понял, что вся мировая литература ничто в сравнении с биографией свидетеля и участника революции»^[75]. Нельзя будет не вспомнить это признание, этот анализ истоков собственного творчества и вдохновения, когда мы будем читать стихи Елены Феррари. Ей тоже понадобятся силы и время, чтобы прийти к идее о том, что не может быть литературы за пределами собственного опыта, что всё, что кроме — фальшиво. И если первые ее стихи, за малым исключением, похожи на «образы, вычитанные из книг», то позже, в свой итальянский период, Елена

Феррари вернется как раз к своему опыту, к своим впечатлениям. Впрочем...

Исследователи биографии Эдуарда Багрицкого не раз подчеркивали, что, несмотря на постоянное обращение к теме «шатания по окопам», «вмерзания в кронштадтский лед» и прочих естественных для войны тягот и лишений военной службы, больной астмой и туберкулезом поэт-агитатор сам никогда ничего подобного не испытывал, редко выходя в мир из теплушки, в которой размещался агитационный отдел отряда, а затем и регулярной части, в которую его в очередной раз переформировали уже в июле 1919 года. Похожая ситуация могла сложиться и со страдающей туберкулезом Ольгой Федоровной Ревзиной-Голубовской. У нас как нет ни единого документального доказательства участия Ольги в боях Гражданской войны — именно в боях, в качестве рядового бойца, державшего в руках винтовку и ходившего в атаку или сдерживавшего кавалерийские лавы деникинцев, так нет и никаких документов, опровергающих это. Опираясь на скудные имеющиеся данные, мы можем говорить только о том, что какое-то время в период службы в отряде имени М. А. Бакунина Ольга Федоровна служила сестрой милосердия, а далее полностью посвятила себя и свои проклевывавшиеся навыки и таланты делу агитации и пропаганды.

В июне отряд имени ВЦИК отвели в тыл, и началось его очередное переформирование — в регулярную часть Красной армии. Что в это время происходило с нашими героями, до конца неясно. Владимир Воля вроде бы стал командиром 1-й бригады 3-й Украинской дивизии 13-й армии. Во всяком случае, 3-я Украинская дивизия третьего формирования была создана в июле, как раз когда прекратил свое существование отряд ВЦИК. Далее в канонической версии событий указывается, что «с июля по сентябрь он (В. Ф. Воля. — А. К.) — начальник и военный комиссар штаба кавалерийской дивизии 14-й армии, выполнял отдельные поручения в тылу врангелевских войск»^[76]. Это снова вызывает некоторые вопросы.

Дело в том, что в июле 1919 года войска генерала Петра Николаевича Врангеля взяли Царицын (ныне Волгоград), а 14-я армия красных вела тяжелые оборонительные и контрпартизанские бои (против войск батьки Махно) в районе Донбасса и Екатеринослава. Кавалерийская дивизия в составе этой армии нам известна одна: 8-я дивизия червонного казачества, но, к сожалению, ни среди ее командиров, ни среди начальников штаба и военных комиссаров Владимир Воля никогда не числился^[77]. В любом случае не вполне понятно, каким образом начальник штаба кавалерийской

дивизии мог бы оставить ее в разгар боев, для того чтобы выполнять «отдельные поручения в тылу врангелевских войск на Черном море, где им была захвачена неприятельская шхуна с грузом и пленными»^[78].

На самом деле кое-что из этого действительно было: и шхуна, и груз, но только не тогда и не там. Никто не отправлял из-под Екатеринослава (!) штабного работника Владимира Волю, который ранее ничем похожим не занимался, захватывать какую-то загадочную шхуну. Что же касается дополнительных изысканий по поводу «ценного груза» и теперь уже «пленных красных командиров»^[79], то эта фантазия переводит историю наших героев в разряд славных красноармейских сказок в стиле раннего Багрицкого.

В документах Воли есть отметка о первой его заброске в тыл противника, но состоялась она годом (!) позже: «В 1920 году был командирован за границу в тыл к меньшевикам (Грузия) и Врангелю (Крым)»^[80]. Разница вроде бы небольшая, но она сдвигает начало работы и брата, и сестры Ревзиных на военную разведку на совершенно другой исторический период, в иные условия Гражданской войны. Кстати, а что с ней, с Люсей Голубовской?

Все по той же версии Владимира Лоты, Ольга Голубева зимой 1918/19 года «разорвала отношения с анархистами, добровольно вступила в ряды 1-й Украинской советской дивизии. В составе этой дивизии она принимала активное участие в боях против белогвардейцев и интервентов, была санитаркой, стрелком и даже стала командиром стрелкового отделения. В 1920 году прошла курс Всеобуча (так в источнике. — А. К.) в Екатеринославе»^[81].

Как ни странно, сама она ни о каких боях в этот период не вспоминает: «В 1919 году возвратилась на Украину, работала секретарем Агиткурсов и инструктором полит-просвета при Политуправлении XII армии. В Днепропетровске прошла курс Всеобуч и работала там же отделенным командиром»^[82]. Ну и конечно, командир стрелкового отделения в линейных частях — пехотинец в окопе, отвечающий не только за себя, но еще и за нескольких солдат своего отделения, командующий ими в бою, — совершенно не то же самое, что командир отделения Всеобуча (так правильно — Всеобщее воинское обучение) — организации, занимающейся воинской подготовкой призывников, из которой потом вырос ДОСААФ, хорошо знакомый многим гражданам СССР. Кроме того, училась и работала во Всеобуче Люся Голубовская не в 1920-м, а в 1919 году и, судя по всему, тоже очень недолго.

Думать так заставляют служебные перемещения мужа Ольги — Георгия Григорьевича Голубовского. Тот после завершения эпопеи с отрядом ВЦИК был назначен военным комиссаром созданной на его основе бригады в составе 2-й Украинской дивизии, а затем, с 16 июня 1919 года, — 46-й стрелковой дивизии^[83], которая летом была сформирована в тылу красных войск, а с июля действительно вела тяжелые бои с деникинцами и номер которой нашей героине потом наверняка хотелось навсегда забыть. Участвовать в боях семье Ревзиных — Голубовских (учитывая полнейшую путаницу с местом службы Владимира Воли, резонно предположить, что они, как обычно, находились рядом друг с другом) либо не довелось совсем, либо крайне мало. Потому что уже в сентябре Георгий Голубовский и Владимир Воля одновременно (!) были направлены на учебу в Москву — в военную академию.

С оперативно-тактической точки зрения Гражданская война в России к лету 1919 года приобрела формы современной войны между двумя государствами. На смену очаговым боестолкновениям и фронтам в смысле крупных войсковых объединений с расплывчатыми границами театров военных действий, с борьбой за железные дороги и водные пути пришли развернутые линии фронтов в современном понимании — с четко определенными границами действий армий, дивизий, бригад. В армии начали формироваться артиллерийские и кавалерийские части и соединения, хотя раньше предполагалось, что для борьбы с «мировой буржуазией» достаточно будет и отрядов революционных рабочих — Красной гвардии. Вернулось отвергнутое в пылу революционных исканий понимание необходимости воинской дисциплины, неукоснительного исполнения приказов, следования законам войны. Ничего нового в этом не было. Вот только объяснить эти старые — и не то что забытые, а с корнем выдернутые из Красной армии вещи было некому — царских военспецов частью выгнали, частью уничтожили физически еще в 1917-м. Новым было взяться неоткуда. Для решения этой проблемы Реввоенсовет решил пойти сразу обоими путями. Начиная с осени 1919 года в действующую Красную армию активно набирались бывшие царские офицеры, в том числе офицеры Генштаба, под руководством которых пролетарские командиры должны были научиться искусству войны. В Москве же решили ускоренными темпами учить тому же, но в теории.

Главное военно-учебное заведение страны, занимавшееся обучением будущего руководящего состава армии, — Императорская Николаевская военная академия, — до революции находилось в Петрограде. После известных событий Николаевская академия почти полностью перешла на

сторону контрреволюции и в чрезвычайно усеченном виде продолжала функционировать в тылу белых. В октябре 1918 года Реввоенсовет Республики приказал открыть свою академию (Академию Генерального штаба Красной армии), но уже в Москве. Она была «...должна давать не только высшее военное и исчерпывающее специальное, но и по возможности широкое общее образование, дабы лица, окончившие ее, могли занять штабные и командные должности и являлись людьми, способными откликнуться на все вопросы политической, общественной и международной жизни... Кроме военных в Академии должны изучаться и общеобразовательные, специальные и философские науки...».

Если точнее, то в новой военной академии планировалось изучение стратегии и философии войны, тактики всех родов войск, военной психологии, истории военного искусства, истории Великой (Первой мировой) войны 1914–1918 годов, военной географии, администрации и еще тринадцати предметов, включая вопросы мирового хозяйства и один, но обязательный иностранный язык (вероятного противника): немецкий, японский, английский или французский. Разумеется, теория должна была сопровождаться насыщенным курсом практических занятий, а общий курс обучения был рассчитан на три года. При этом в наборе осени 1919 года числилось 24 слушателя с высшим образованием, а с низшим и средним — 80, и, разумеется, планы оказались бесконечно далеки от реальности.

Слушатели, только что приехавшие в столицу с фронтов, практически полностью игнорировали свои обязанности, прежде всего по теоретическому изучению дисциплин, и если приходили на занятия, то в основном на практические. «Ни в одном военном учреждении я не видел такой слабой дисциплинированности, как в академии», — отмечал ее комиссар в декабре 1919-го^[84] — именно в то время, когда там должны были учиться наши герои.

То, что в Академию Генерального штаба был направлен не только Владимир Воля, но и его зять Георгий Голубовский, является еще одним свидетельством того, что после возвращения из Одессы семья не распалась, она продолжала свою одиссею по фронтам Гражданской войны, и, похоже, в расширенном составе. В Москву Ревзины — Голубовские ехали долго, и в воспоминаниях — весьма своеобразных, ибо записаны они были позже на допросе в Московской чрезвычайной комиссии (МЧК), ни Жорж, ни Люся Владимира Волю не упоминают ни разу. Но они вообще старались не акцентировать внимание следователя на родственниках и сложных связях, опутавших эти семьи. Однако известно, что в столицу Голубовские добирались через Брянск, и на одной из станций, не доезжая до этого

города, к ним в вагон подсели еще два человека. Ольга потом будет рассказывать, что это произошло без нее, пока она выбегала на станцию за кипятком для чайника, но это не так уж важно. Важно другое: как минимум одного из этих людей она знала раньше, по работе на екатеринославском заводе, а ее муж знал обоих^[85]. Он же — Георгий Голубовский познакомил новых попутчиков с еще одной женщиной — сестрой милосердия, добравшейся в столицу с фронта (служила с ними?). Звали ее Александра Григорьевна Ратникова, и Георгию Григорьевичу она приходилась родной старшей сестрой, а в дальнейших событиях ей предстояло сыграть особенную роль.

Глава пятая

Дух разрушающий

*И еще не весь развернут свиток,
И не замкнут список палачей:
Бред разведок, ужас чрезвычайек —
Ни Москва, ни Астрахань, ни Яик
Не видали времени горчей.*

Максимилиан Волошин
«Северовосток». 1920 год^[6]

Вечером в четверг, 25 сентября 1919 года в бывшем доме графа Уварова в Леонтьевском переулке, занятом теперь Московским комитетом РКП(б), началось рабочее заседание по вопросам деятельности городских партийных школ. Собрались около 100–120 человек — в основном члены партийного актива Москвы и несколько представителей высшей власти. Ходили слухи, что должен приехать Ленин, но самыми высокопоставленными среди присутствующих оказались член ЦК партии большевиков Николай Иванович Бухарин, старые большевики Евгений Алексеевич Преображенский и Михаил Иванович Покровский. Вел собрание почему-то заместитель председателя Совнаркома Белоруссии Александр Федорович Мясников, а помогал ему секретарь Московского горкома Владимир Михайлович Загорский (Вольф Михелевич Лубоцкий). Когда прозвучали основные доклады и собрание уже подходило к концу, самые нетерпеливые участники начали продвигаться в сторону выхода. В этот момент в задней части зала заседания, за спинами собравшихся, раздался звон разбитых стекол и неприятное шипение — с таким характерным звуком в начале XX века срабатывали химические взрыватели на бомбах. Народ бросился от задней стены к окнам и дверям. Немедленно образовалась давка. Загорский, по воспоминаниям очевидцев, крикнул: «Спокойнее, ничего особенного нет, мы сейчас выясним, в чем дело!» — и бросился туда, откуда раздавалось шипение. Как ни странно, люди

действительно успокоились и за несколько секунд, пока Загорский говорил и продвигался к бомбе, часть даже успела покинуть помещение. После этого тяжелый, полторапудовый фанерный ящик из-под фонаря, начиненный динамитом и нитроглицерином, взорвался в руках у секретаря Московского горкома.

Взрыв был колоссальной силы. Задняя часть дома, ближе к которой упала бомба, обрушилась в сад вместе с крышей, на полу зияла воронка около трех метров в диаметре. Погибли 12 человек — в основном партийные работники среднего и низшего ранга, в том числе, разумеется, и Загорский. Еще 55 человек были ранены и контужены, включая Николая Бухарина, получившего ранение правой руки, и чекиста Арвида Пельше, который прожил потом еще более полувека и в итоге стал главой ЦК компартии в Советской Латвии и старейшим членом брежневского политбюро.

Утром следующего дня в Москве объявили военное положение. Гражданская война шла к своему пику, и ВЧК под руководством уже тогда знаменитого, великого и ужасного Железного Феликса приступила к розыску белых диверсантов. Другие версии взрыва всерьез даже не рассматривались. Не просто склонные к террористическим методам, а видящие в них действенное средство достижения политических целей анархисты и эсеры были разгромлены в Москве еще год назад. Самых активных боевиков либо уничтожили, либо заставили бежать. Многие после событий весны — лета 1918 года поняли, кто сильнее, и пошли на сотрудничество с большевиками (им это еще аукнется в 1930-е), кто-то просто надеялся, что ленинцы сами перерастут фазу красного террора и диктатуры, а затем вернуться к когда-то общим радужным идеалам безвластия и подлинной свободы (и этим аукнется тоже). Наконец, значительная часть анархистов в это время находилась на фронтах, в первую очередь на юге, у «батьки» Махно. Но кое-кто оказался в Москве. Как потом выяснилось, совершенно неожиданно для чекистов.

По мере того как крепла и становилась более большевистской Красная армия, анархисты, бежавшие вначале от гонений, волной прокатившихся по крупным промышленным центрам, почувствовали, что даже на фронте дни махновских и других анархистских соединений, частей и отрядов сочтены, а уж в грядущий процесс коммунистического государственного строительства они не впишутся точно. Большевики умело использовали «батьку» Махно и его «орлов» в борьбе против Деникина и Врангеля и каждый раз, когда накал сражений ослабевал, усиливался нажим на самого крестьянского вожака. Понимая, что Махно не устоять против Троцкого,

часть сподвижников «батьки» снова двинулась в путь. Одни ушли в Сибирь, чтобы сражаться против «сибирского диктатора» — Александра Васильевича Колчака. Другие прорывались в тыл войск Деникина, надеясь на военный успех и поддержку крестьян там, и, наконец, одна, глубоко законспирированная, группа направилась в Москву — для мести большевикам. В ее состав входили Казимир Ковалевич, слывший лидером анархо-синдикалистов среди железнодорожных рабочих — пролетарской элиты тех времен, Петр Соболев и Михаил Гречанников, служившие до этого в контрразведке Махно, бывший эсеровский боевик Донат Черепанов — «хулиган», по определению своего одноклассника поэта Владислава Ходасевича, и многие другие решительно настроенные личности, которые видели последний шанс на победу в организации серии шокирующих терактов в сердце большевистской России — Москве.

За короткий срок в столице была создана слаженная подпольная организация, сумевшая остаться абсолютно незамеченной для чекистов и у них под носом организовавшая производство бомб для диверсий и типографию для печати пропагандистских листовок тиражом до 15 тысяч экземпляров каждая. Деньги на все нужды добывались проверенным способом: организацией «эксов», то есть налетов, грабежами касс в Москве и даже на оружейном заводе в Туле. Готовились «взорвать» режим, но взрыв в Леонтьевском переулке стал первой и последней акцией этой группы.

Тайну авторства диверсии долго сохранить было невозможно. Организаторы теракта неизбежно должны были заявить о том, что взрыв в Леонтьевском — это их рук дело, но сначала необходимо было подготовить пути отступления. Однако, как часто бывает в подобного рода делах, мощную и хорошо законспирированную организацию погубило нелепое совпадение. Пока чекисты просеивали население Москвы в поисках диверсантов Деникина, 29 октября в их руки совершенно случайно попала (в поезде и далеко от столицы: как раз в районе Брянска) восемнадцатилетняя анархистка Софья Каплун с письмом, указывавшим на истинных организаторов взрыва. Следствие немедленно развернулось в нужную сторону и скоро получило доказательства. В материалах, изъятых при первых обысках и отпечатанных в той самой типографии, недвусмысленно объяснялись мотивы диверсии:

«...Вечером 25 сентября на собрании большевиков в Московском комитете обсуждался вопрос о мерах борьбы с бунтующим народом. Властители большевиков все в один голос высказались на заседании о принятии самых крайних мер для борьбы с восстающими рабочими,

крестьянами, красноармейцами, анархистами и левыми эсерами, вплоть до введения в Москве чрезвычайного положения с массовыми расстрелами...

Наша задача — стереть с лица земли строй комиссародержавия и чрезвычайной охраны и установить Всероссийскую вольную федерацию союзов трудящихся и угнетенных масс... Близится третья социальная революция...

17 июня с. г. Чрезвычайный военно-революционный трибунал расстрелял в Харькове семь повстанцев: Михалева-Павленкова, Бурбыгу, Олейника, Коробко, Костина, Полунина, Добролюбова и затем Озерова. 25 сентября с. г. революционные повстанцы отомстили за их смерть Московскому комитету большевиков. Смерть за смерть! Первый акт совершен, за ним последуют сотни других актов, если палачи революции своевременно сами не разбегутся»^[86].

Теперь оставалось только найти непосредственных исполнителей взрыва, тех, кто за ними стоял, и по возможности ликвидировать всю организацию, включая ее ячейки и отделения в других городах. Московская ЧК развернула настолько бурную деятельность, что сегодня можно только поражаться тому, как эффективно работали чекисты и какая точная была составлена база данных потенциальных преступников в эпоху, далекую не только от компьютеров, но даже от стопроцентной грамотности оперативников и следователей. Арест первых двух анархистов привел к целой цепочке следующих провалов. Вскоре на подмосковной даче в Краскове были обнаружены типография и химическая лаборатория, которые при штурме были взорваны обороняющимися. Непосредственные исполнители теракта в Леонтьевском Ковалевич и Соболев погибли в перестрелке. Но на разных московских адресах взяли живыми других лидеров боевиков: Александра Барановского, Михаила Гречанникова, Леонтия Хлебныйского и многих других. У арестованных в больших количествах изымались деньги, оружие, боеприпасы, липовые документы. Причем нередко сами бланки были настоящими, подлинными, и только внесенная в них информация оказывалась легендой прикрытия.

Арестованный МЧК боевик Леонтий Васильевич Хлебныйский (настоящее имя Иван Лукьянович Приходько, подпольная кличка «Дядя Ваня») явился в Москву с фронта, из 46-й стрелковой дивизии, где успел всего две недели послужить помощником начальника штаба. Этого времени ему хватило на главное: легализоваться и разжиться необходимыми для пребывания в столице документами. Его «случайным» попутчиком стал еще один боевик — Александр Петрович Домбровский («Сашка»), в 46-й дивизии не служивший, но получивший бланки соответствующих

документов от третьего попутчика — Казимира Ковалевича, ставшего одним из главных организаторов и исполнителей террористического акта. Стоит ли говорить, что все они ехали в Москву вместе с другим помощником начальника штаба все той же 46-й дивизии — Георгием Голубовским, его сестрой Александрой и женой Люсей. По пути Жорж предложил своим старым друзьям место, где можно остановиться в Москве, — квартиру родственников в доме номер 5 по Троицкому переулку. Там, на постое у супругов Ратниковых, 3 ноября чекисты и взяли Домбровского и Хлебныйского — обоих с документами военнослужащих 46-й дивизии. Арестовали их вместе с хозяевами, и источник, из которого террористы получали документы прикрытия, обнаружился очень скоро.

Из показаний Александра Домбровского, данных им на следствии в МЧК в период с 6 по 27 ноября 1919 года:

«Признаюсь, что я скрыл, что бланки я получил от Г. Голубовского, потому что не хотел его впутать в грязную историю. Точное количество бланков, полученных мною от Г. Голубовского, я не помню, но кажется, что было их около десяти, все эти бланки были с печатью 46-й дивизии. Кроме этого, он назвал фамилии, нужные для подписи, также дал мандат, заполненный уже для образца. Голубовский мне бланки, собственно говоря, не продал, но одолжил у меня около пяти тысяч рублей. Часть бланков я получал от Г. Голубовского в дороге, когда с ним ехал в вагоне, а часть получил здесь, в Москве. Я Голубовскому не говорил, для какой цели я беру эти бланки, хотя он и спрашивал меня, для чего я беру столько...

Пять бланков военно-политического комиссара 46-й стрелковой дивизии с печатями я похитил у Голубовского на квартире...

Прошу внести поправку. Что касается моих предыдущих показаний, будучи очень взволнованным, я перепутал некоторые подробности в своих показаниях. Я раньше говорил о том, что ходил куда-то на собрание подпольных анархистов, но теперь я вижу, что я перепутал, никуда на собрание каких бы то ни было анархистов я не ходил (ни подпольных, ни легальных). Отрицаю также и то, что я одолжил Г. Голубовскому деньги; последний у меня никогда денег не просил, а также я ему не давал.

Голубовский дал мне около десятка бланков, так как я собирался ехать на Украину. Кроме того, я без его ведома взял у него штук пять бланков. Я часть их передал Хлебныйскому, часть их была возвращена в напечатанном виде. Квартиру в Троицком переулке нам указал Голубовский, и мы прямо проехали с вокзала туда. На других квартирах я не жил. Заходил я в гости к Голубовскому и в гостиницу „Луна“ к Воле»^[87].

Нетрудно догадаться, что упоминаемые в протоколах Владимир Воля

и, особенно, Георгий Голубовский встретились с чекистами, как только их фамилии были произнесены впервые — задолго до того, как были подписаны протоколы допросов их бывших товарищей по оружию.

«Секретно.

Оперативный отдел М.Ч.К.

В Оперативную часть М.Ч.К.

Прошу выписать ордер на обыск и арест гр. ГОЛУБОВСКОГО, курсанта Военной Академии и [его] жены Люси Ревзин, проживающей Арбат, Малый Афанасьевский пер., дом 14, кв. 2.

Обвиняемого: контрреволюция.

Основание: III отдел.

Примечание: Арест обязательный. Если нет на Арбате, то поехать в Академию.

1919 г. ноября 5 дня»^[88].

Трогательная приписка-памятка об обязательном аресте свидетельствует о способах работы оперативников ЧК тех времен. Тогда еще имели место случаи, когда можно было допросить на месте и отпустить, или взять подписку о невыезде, или «арестовать по усмотрению комиссара». Но в МЧК волновались и дополнительно наставляли опергруппу напрасно. В соответствии с полученным ордером чекисты Кравченко и Федосеев арестовали Жоржа и Люсю, а также провели «обыск, ревизию, выемку документов и книг» подозреваемых.

Результаты осмотра квартиры оказались предсказуемыми:

«Изыяты: 1 карабин и около 80 патронов к нему. Один кольт № 67 025, 2 обоймы и 15 патронов. 1 браунинг, 2 обоймы и 6 патронов. Полевой бинокль, 1 штык. 2 чистых паспортных книжки, 4 чистых бланка с печатями...» и множество чистых, готовых к заполнению бланков с угловыми штампами 46-й дивизии^[89].

Начались допросы Георгия Григорьевича, Люси и Владимира (его взяли тоже). Молодые люди вряд ли казались чекистам опытными конспираторами или грамотными, пламенными пропагандистами, но, сидя в московской Бутырской тюрьме, вывозимые на допросы, они держались довольно уверенно: чувствовалась дореволюционная закалка. Напомним: на момент ареста неформальному лидеру этой большой семьи, начальнику штаба дивизии, бывшему командиру партизанского отряда и военкому Владимиру Воле был 21 год от роду. Его сестре Люсе — 20; ее мужу Жоржу, Георгию Григорьевичу Голубовскому — 26. По тем временам —

взрослые люди (чекист Яков Блюмкин застрелил германского посла Мирбаха в 18 лет от роду и чуть не изменил ход мировой истории).

Несмотря на то что откровения арестованных не заставили себя ждать, извлечь из их показаний что-то интересное оказалось непросто. В первом же протоколе допроса Георгия Голубовского (неизвестно, сколько продолжался этот допрос и как это выглядело) зафиксировано его робкое признание вины, но отнюдь не в сотрудничестве с террористами, а... в легкомыслии: «...может быть, моя вина в том, что я имел такое большое количество бланков с печатями». Объяснение в том, зачем ему понадобилось такое количество бланков во время учебы в академии, не поражало оригинальностью, но и не позволяло, как говорят юристы, усмотреть преступный замысел: «Взял на случай, если понадобятся в командировке».

Ольга Голубовская, судя по фото, сделанному в день ареста, выглядела вполне бодро и уверенно. На лице ее, кажется, заметна даже легкая полуулыбка, а огромные озорные глаза смотрят в объектив совершенно спокойно. Она в шинели, без головного убора, но в накрученном на шее то ли платке, то ли башлыке (5 ноября 1919 года в Москве стояли холода, было около восьми градусов мороза). На первом допросе она отрицала всё: «О том, что у моего мужа были бланки с печатями 46-й дивизии, я узнала лишь при обыске у нас. До этого я их никогда не видела, и муж мой мне ничего о них не говорил. Так же не знаю, давал ли гражданин Домбровский мужу моему деньги»^[90].

«Раскалывала» Голубовскую тоже женщина. Сегодня ее вряд ли можно было бы назвать опытным следователем (да и сама Чрезвычайная комиссия существовала всего 11 месяцев), но совершенно точно ей нельзя было отказать в уме, логике, образовании и преданности делу революции. К тому же она не понаслышке знала психологию противников большевиков и понимала, как с ними надо работать.

НАША СПРАВКА

Наталья Алексеевна Рославец-Устинова (1888–1957) — дочь профессора Московского университета, доктора медицины, гласного Московской городской думы и известного коллекционера, члена совета Третьяковской галереи Алексея Петровича Лангового. Русская. Окончила Высшие женские курсы в Москве в 1912 году. Примкнула к эсерам. Среди них встретила

своего будущего мужа — композитора и выдающегося музыкального теоретика Николая Андреевича Рославца. В 1918 году порвала с эсерами и вступила в РКП(б). С ноября того же года — следователь ВЧК, затем заместитель начальника, начальник Отдела МЧК по борьбе с преступлениями по должности. В 1919–1920 годах — член Коллегии МЧК и начальник Отдела по борьбе с контрреволюцией. С мая 1920-го — начальник секретной части Особого отдела ВЧК. Позже — начальник Секретного отдела, заместитель начальника Административно-организационного управления ВУЧК, начальник Организационного отдела Административно-организационного управления ОГПУ. С мая 1924 года работала в НКВД СССР. С 1926-го — секретарь полпредства СССР в Греции. С 1930 года не занимала ответственных постов, работала на второстепенных должностях в Грузии, в том числе в Тбилиси, где служил ее второй муж — разведчик и дипломат Алексей Михайлович Устинов (расстрелян в 1937 году). В 1948–1949 годах находилась в заключении, до 1954-го — в ссылке. Последняя должность — бухгалтер психоневрологического диспансера в Москве. С 1955 года на пенсии.

О том, как глубоко «копали» чекисты под руководством Натальи Рославец и как широко «забрасывали они сеть», изучая окружение реальных и потенциальных боевиков-анархистов и их предполагаемых пособников, свидетельствует еще один любопытный документ.

В МЧК был допрошен секретарь недавно образованного Польского бюро пропаганды и агитации при Российской коммунистической партии Стефан Иоахимович Братман-Бродовский. Как вышли на его след, неизвестно, но на допросе он сообщил, что «в сентябре или октябре 1919 года к нему явился некто в военной форме и, назвав себя Голубовским, или правильно по-польски Голембиовским», кратко рассказал свою биографию, начиная с рождения в Варшаве и побега из Кексгольмского полка. Георгий Григорьевич, а это был, конечно, он, поведал Бродовскому, что в Академии Генерального штаба, куда он прислан на обучение с фронта, «чувствует себя нехорошо», учиться ему трудно (обучение еще даже не началось!) и он просит отправить его... в Польшу на подпольную работу.

У Бродовского во время допроса не уточнили, спрашивал ли он у неожиданного посетителя документы, но если спрашивал, тот наверняка предъявил ему бумаги с печатями все той же 46-й дивизии, которых у него

было в избытке. Бродовский — администратор с высшим образованием, подпольщик, член РСДРП с 1903 года, прекрасно понимал, что в Москве 1919-го документы можно получить любые, а потому его больше интересовала личная рекомендация кого-нибудь из авторитетных большевиков. Все-таки речь шла о более чем серьезных вещах: о заброске на подпольную, то есть разведывательную, работу в панскую Польшу. Обсуждать эту тему с человеком, который зашел с улицы, было бы по крайней мере неосмотрительно без серьезных рекомендаций для последнего. Голубовский-Голембиовский не растерялся и подтвердил: да, такой человек есть: наркомвоенмор Республики товарищ Лев Давидович Троцкий, который знает Георгия лично, после чего они с Бродовским расстались, и больше Голубовский его не навещал^[91].

И все же... Поляки поляками, но Наталье Рославец и без апелляции к Троцкому очень скоро стало понятно, что непосредственно к организации взрыва в Леонтьевском переулке многочисленная и такая энергичная семья Ревзиных — Голубовских — Ратниковых прямого отношения не имеет. Да, боевики жили на квартире Ратниковых, но, похоже, только потому, что Георгий Голубовский знал их раньше и дал возможность найти угол в Москве, что по тем временам было непросто. Само пребывание Хлебныйского и Домбровского у Ратниковых, их тесное общение и даже совместные походы в театр служили для террористов алиби, которое предстояло либо подтвердить, либо опровергнуть, но виноваты ли в этом Голубовские? Скорее всего, нет.

Из показаний Александра Домбровского: «Дополнительно показываю, что 25 сентября с. г., в день взрыва на Леонтьевском переулке, я был в театре (во 2-й студии) с Хлебныйским (Дядя Ваня), Ратниковым, Виленской и, кажется, также Голубовским, и перед последним действием мы с Хлебныйским вышли из зрительного зала в фойе и пили кофе, где мы дожидались Ратниковых и Виленскую. Вместе с ними отправились домой на 1-й Троицкий переулок, номер дома 5. Когда входили в квартиру, мы услышали какой-то взрыв, но что он означал, я не знал. Насколько мне известно, есть кроме меня еще один Саша — Барановский, который участвовал во взрыве. Говорили мне это члены группы анархистов подполья, но кто именно, не могу сейчас вспомнить».

Из показаний Леонтия Хлебныйского: «Когда, возвращаясь из театра, мы вошли в квартиру, то услышали взрыв. Через неделю или полторы недели после взрыва я слышал от Миши Гречанникова о том, что взрыв был делом анархистов подполья и участвовали в нем он сам, Федя и

Яша»^[92].

В результате Рославец вынесла свое собственное заключение, с одной стороны, близко повторяющее то, что говорили боевики, а с другой — оставляющее под подозрением самих опасных участников группировки:

«...Сестра Голубовского Ратникова показывает, что в день взрыва она с мужем, Голубовский с женой и боевики анархисты Шурка Домбровский и Дядя Ваня Хлебныйский (Наталья Рославец называет их кличками, под которыми они проходят в показаниях большинства других арестованных. — А. К.) были все вместе в театре, причем двое последних незадолго до взрыва куда-то удалились из театра и пришли домой позже остальных, досидевших до конца»^[93].

Ничего предосудительного или, во всяком случае, уголовно наказуемого не было обнаружено и в отношении Владимира Воли, а потому и он, и его сестра после двух недель пребывания в Бутырской тюрьме были освобождены и вернулись на свои места жительства: он — в гостиницу «Луна» на Малой Дмитровке, 16, она — в Малый Афанасьевский переулок, 14. Вернулись в свой Троицкий переулок и супруги Ратниковы. Вернулись временно, ненадолго.

Очередное совпадение: в эти же самые дни в Москве открылся памятник великому теоретику анархизма, чьим именем Владимир Ревзин назвал когда-то свой партизанский отряд, с которого началась военная карьера всех Ревзиных — Голубовских, — Михаилу Бакунину. Никита Потапович Окунев в своем широко известном «Дневнике москвича» записал тогда: «У Мясницких ворот сооружен памятник Бакунину. Материал добрый — не тот, из которых сооружены другие революционные памятники, которые уже на второй год своего существования развалились. Но то, что создано резцом скульптора-футуриста, ни к черту не годится. В самой статуе не только Бакунина не узнаешь, но вообще никакого подобия человеческого не найдешь. Летом его хотели открыть, но не решились, и стыдливо прикрыли это произведение тесом. Наступила зима, „прикрытие“ мало-помалу редело, ибо тес растаскивался на топку. И вот сегодня я видел, что памятник окончательно „открыт“. Как известно, на постаменте памятника высечено: „Дух разрушающий есть созидующий дух“. Стало быть, сбылось реченное!»^[94]

Встречать Новый год в камере, пережить там «открытие» памятника своему кумиру, а потом еще долго коротать свои дни в старом тюремном замке из всех бывших партизан-бакунинцев предстояло только Георгию Голубовскому. Но его жена — неумолимая Люся отнюдь не забыла своего

любимого, не собиралась его бросать и готова была бороться за его свободу. Средств для этого у нее не было практически никаких, но энергии и любви хватало с избытком. Действовать она решила из относительно безопасного далека и теми немногими способами, какие имелись в ее распоряжении.

Хотя суд над террористами не планировался, о ходе расследования заинтересованные лица знали. В феврале уже нового, 1920 года участь боевиков решила Коллегия Московской ЧК. Восемь террористов, включая Хлебныйского и Барановского, были приговорены к расстрелу. Наталья Рославец вынесла свое заключение и по делу Георгия Голубовского. Из материалов следствия видно, что она не верила ни единому слову бывших и нынешних анархистов, но изо всех сил старалась соблюдать закон в том виде, в каком он тогда существовал, и так, как она его для себя трактовала.

Москвичка из приличной семьи, перешедшая на сторону красного террора, Наталья Рославец была взрослой, опытной 31-летней женщиной, если и не полностью отдававшей себе отчет в том, что происходит, то по крайней мере искренне убежденной, что это происходит во имя блага народа и его светлого будущего. В отличие от наших героев она действительно была настоящим профессионалом, но только в «революционном» смысле слова — лишенным внешних проявлений эмоций, чувств, симпатий и антипатий, но искренне и глубоко ненавидящим всех, кто не с большевиками, в том числе своих вчерашних единомышленников. «Кто не с нами, тот против нас!» — похоже, что для Натальи Рославец смысл революционного права заключался в этой короткой формуле. И неудивительно поэтому, что именно она настаивала на смертном приговоре Георгию Голубовскому, хотя удалось доказать его вину только в превышении служебных полномочий. Настаивала, четко и незамысловато аргументируя свою позицию:

«...Голубовский бывший анархист-эмигрант с солидным украинским революционным стажем, в начале 19-го года вступил в Коммунистическую партию (на Украине).

Это обстоятельство лишь отягчает его вину, которую следует формулировать как сознательное, а частью и корыстное, содействие бандитской шайке анархистов подполья.

Принимая во внимание все вышеизложенное, предлагаю подвергнуть Георгия Григорьевича Голубовского, слушателя Академии Генерального штаба, бывшего комиссара штаба 46-й дивизии к Высшей мере наказания, а за отменой расстрела, заключить в концентрационный лагерь до конца гражданской войны.

16/II-20

Нат. Рославец»^[95].

На следующий день, 17 февраля, Коллегия МЧК (ее высший совещательный орган) утвердила предложение Рославец и окончательно определила судьбу мужа Люси: «Голубовского Георгия Григорьевича заключить в концентрационный лагерь на все время гражданской войны»^[96].

Можно сказать, что Жоржу невероятно, сказочно повезло. Ровно за месяц до приговора чекистов вышло совместное постановление ВЦИКа и Совнаркома РСФСР от 17 января 1920 года «Об отмене применения высшей меры наказания (расстрела)». В ничтожную временную лазейку шириной в три с половиной месяца — это постановление было отменено уже 4 мая — и умудрился попасть муж Люси Голубовской. К тому же в лагерь, что было бы практически равносильно смерти, его сразу не отправили^[97], и Жорж продолжил сидеть в Бутырке, объявив, по давней дореволюционной традиции, голодовку протеста, поскольку считал приговор несправедливым и незаконным. А очень скоро на Лубянку, на имя председателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского поступило заявление от однокашника Голубовского по едва начавшейся учебе в военной академии, слушателя ее младшего курса Всеволода Юрьевича Рославлева.

Заявитель доводил до сведения всемогущего ФЭДа, как его называли в ЧК, что Георгий Григорьевич Голубовский является профессиональным революционером аж с 1905 года, обладающим не только огромным опытом подпольной работы, но и внушительным списком заслуг перед революцией.

«Коллегия В.Ч.К. не умела или не пожелала принять в соображение, — писал Рославец, — что:

- 1) Тов. Голубовский достаточной давности коммунист;
- 2) Был анархо-синдикалистом зарубежного толка, а не российским бандо-анархом; <...>

5) Живя на Украине и приехав после взрыва в Леонтьевском переулке, приписанного сначала белым и случившегося в бытность его в пути, не мог быть ориентирован в позиции московских анархов к Советской власти...»^[98]

И так далее — всего восемь пунктов.

Свое заявление, написанное в стиле пылкого выступления перед внимающей ему аудиторией (оно и сегодня читается на одном дыхании,

чему способствует прекрасный каллиграфический почерк слушателя младшего курса), Рославлев завершил пламенным сообщением в адрес Дзержинского:

«Вынесенное же Коллегией М.Ч.К. от 17 февраля с. г. постановление накладывает на старого заслуженного борца революционера безмерно жестокое и незаслуженное клеймо провокатора и бандита, сообщника такого гнусного и подлого, субъективно и объективно контр-революционного элемента, как московские анархо-бандиты подполья.

Тов. Голубовский подает на Ваше имя отдельное от себя заявление, а меня просит на случай, что его объявление будет задержано, выступить перед Вами в защиту его революционной чести»^[99].

Прекрасный, возвышенный, патетический финал этого заявления должен был, по мысли подателя жалобы, произвести впечатление на Железного Феликса. Судя по тому, что была назначена дополнительная проверка, ожидания оправдались. Но на что еще рассчитывал Всеволод Рославлев, готовя эту бумагу?

Надо сказать, что сам заключенный Голубовский, подавая и это — «отдельное от себя заявление», и все последующие, сетовал на свою горькую судьбу и досадные ошибки следствия не менее пафосно, еще более широко и подробно — как и положено в его смертельно опасной ситуации, но вот факты, цифры, даты приводил другие: более или менее совпадающие с его реальной биографией и расходящиеся с версией Рославлева. Откуда же черпал вдохновение Всеволод Юрьевич?

Можно предположить, что из собственных фантазий. Из головы, которая на тот момент уже была полностью вскружена и не вполне ясно воспринимала действительность. Он старался помочь Голубовскому, но плохо запомнил, что именно ему рекомендовали писать, ибо мысли его были далеко от Бутырской тюрьмы, от здания ВЧК на Лубянке и от Москвы вообще. А вот Наталья Алексеевна Рославец, которой пришлось письменно отвечать на вопросы вышестоящего начальства, затеявшего разбирательство по жалобе Рославлева, была холодна, собранна, сосредоточенна. Причину вдохновения своего почти однофамильца она вскрыла хирургически точно и, отвечая руководству ЧК, не стеснялась в выражениях: «Всеволод Рославлев, любовник жены Голубовского, дал ей слово заботиться без нея — она уехала на юг — об ее муже и смягчать ее участь. Он пишет свой протест в уверенном тоне, как старый друг Голубовского, между тем, он его даже в лицо не знает и никогда не был с ним знаком, о чем пишет ему в тюрьму: „Жалею, что не знаю Вас лично и не помню даже в лицо“». Далее Рославец перечисляет факты, полученные

ранее на следствии: «...комиссар штаба 46-й дивизии Голубовский был в связи с анархистами, привез их в Москву в своем вагоне (так в документе. — А. К.), рекомендовал... в качестве жильцов...»

Беспощадно, предложение за предложением Рославец уличает Рославлева во лжи. Вопросы к ней, как говорят администраторы, «были сняты». А вот к слушателю академии они, наоборот, появились, и его это отнюдь не обрадовало.

В начале марта 1920 года Всеволод Юрьевич уже сам был вызван на допрос. В МЧК он подтвердил, что писал заявление на имя Дзержинского о невиновности Голубовского, но признался и в том, что искажил в этом письме фактические данные — по незнанию. Несмотря на то что они — Голубовский и Рославлев — действительно являлись однокурсниками, в академии они не успели встретиться ни разу и даже не знали друг друга в лицо. Их первое randevu состоялось всего несколько дней назад — 25 февраля, когда Всеволод Юрьевич принес в Бутырку передачу для Георгия Григорьевича по просьбе его жены Люси. И жалобу в ЧК Рославлев написал под ее влиянием. А сейчас, по прошествии некоторого времени, оставаясь убежденным в невиновности Голубовского, он, Рославлев, заново осознавая все произошедшее, «...его на поруки не взял бы ввиду малого личного знакомства с его прошлым»^[100]. Причина же, по которой Всеволод Юрьевич поначалу столь рьяно встал на защиту совершенно неизвестного ему человека, Натальей Рославец в ответе Дзержинскому указана была верно: Голубовская и Рославлев были любовниками.

Владимир Воля, выпущенный из ЧК после двадцатидневного ареста^[101], из военной академии был отчислен и в январе 1920 года отправился обратно: на юг, на фронт, на Украину. Неясно, вместе с ним ли, но, во всяком случае, одновременно — 27 января туда же отправилась и Ольга Голубовская. Добираться ей пришлось около месяца, и на всем протяжении пути за ней вслед неслись (если так можно сказать, учитывая темпы передвижения в 1920 году) письма от влюбленного слушателя военной академии. Но, прежде чем лечь в сумку почтальона, эти послания ложились на стол Натальи Рославец, а затем их копии аккуратно подшивались к делу Георгия Голубовского. Всего таких копий в деле накопилось немало: шесть листов формата А4 — с оборотами, исписанными аккуратным бисерным почерком^[102]. Некоторые — короткие записки практически без содержания, лишь бесконечные нежности да интимные признания, некоторые — обстоятельные отчеты о выполнении Люсиных поручений по передаче Жоржу посылок в тюрьму и ходатайств о

его освобождении в ЧК. Записки Рославлева самому Голубовскому и ответы того из тюрьмы копировались точно так же и подшивались туда же. Вся эта эпистолярная круговерть любовно-тюремного треугольника целиком была известна только чекистам и ими же контролировалась.

Первое письмо было написано Рославлевым на следующий день после отъезда Люси и, судя по проставленному на нем времени, закончено ровно в час пополудни:

«Смотрю на карту и высчитываю, что сейчас Лучик у Тулы приблизительно. Сажу дома и вспоминаю. Как я признателен Жабе за ее определение моего отношения к Вам, когда мы были в вагоне!»

Кто такая «Жаба» и о каком вагоне идет речь, осталось невыясненным, но и Рославлев к ней больше не возвращался, посетовав лишь, что не может называть Георгия Голубовского Жоржем, ибо это имя вправе произносить только жена заключенного. И вообще, ничто и никто, кроме любимой Люси, не занимает мысли Рославлева надолго. Да и она — только в известном понимании:

«Лучик мой,

так хочется ощущать прикосновение Вашей груди к моей... Хочется вслушаться в биение Вашего сердца... Люсинька, друг мой ясноокий... Смотрю на диванчик, мой с Вами диванчик, воображаю Вас в сиянии Вашей юности, но кто-то суровый и грустный выглядывает из-за Вашего бледно-белого плечика. Дорогой, голубиный... Лучик мой, увы, все же мой не целиком!»

Очевидно, что Рославлев понимал: получить Люсю, которая пока его «не целиком», можно только при стечении ряда обстоятельств, одним из которых должны стать либо отказ Ольги от арестованного мужа, либо его гибель в концлагере. Но не менее очевидным для Всеволода Юрьевича должен был стать и другой вывод: Люся сделалась его любовницей, чтобы помочь мужу. Теоретически, конечно, можно предположить, что их сближение случилось еще раньше, но тогда нам придется признать, что Люся бросилась в объятия незнакомого ей человека сразу по приезде в Москву, а это, как ни крути, маловероятно. А когда? Неясно. В ее ответах, которые, увы, не сохранились, но логика которых прочитывается по следующим письмам Рославлева, Ольга Федоровна настойчиво просит любовника помогать ее мужу — передачами и теми же заявлениями в ЧК о невиновности. Да, она использовала очарованного ею военного. Использовала не ради себя, а ради мужа, которого, судя по всему, очень любила. Наверное, по-своему, но любила.

Влюбленный же в нее Рославлев мучился:

«Любить теперь могу только девушку как Вы — юно-красивую в чистых, изящных очертаниях лица и тела, обаятельную как Вы, духом, чувствами, складом ума и души и той женственной нежностью, что теплым, ласкающим светом лучится в Ваших глазах, улыбках, голосе, движениях.

Лучик, я гибну от тоски, от беспредельной любви, поклонения и самоотвержения...

Вы волшебница, Вы художник, Вы красочная чуткость!»

Мучился, но был молод, постепенно залечивал раны временем, другими занятиями и новыми знакомствами. Проходит всего несколько дней, и тон его писем едва начинает меняться на отчетный, причем иногда по самым неожиданным поводам. Так, уже 31 января в половине четвертого дня он сообщает возлюбленной: «3–4 часа пил чай с девушкой из Пскова, представлял Лучика». Как именно он ее представлял и чем это кончилось в случае с неизвестной псковитянкой с чаем, Рославлев не пояснил. 1 февраля Всеволод Юрьевич в очередной раз признался в любви Лучику, но одновременно отчитался о передаче вещей, махорки и сахара ее мужу. И так — еще более трех недель. Переписка эта — адская мука и для любовника, и для любовницы, и, возможно, для мужа, который непрерывно передавал из Бутырки записки с благодарностями Рославлеву и просил сообщать своей жене, как он — ее муж — ее любит. Копий этих записок, из содержания одной из которых Наталья Рославец и узнала, что Голубовский и Рославлев не были ранее знакомы, в деле набралось семь листов... [\[103\]](#)

Несчастному любовнику окончательно стало ясно, что «судьба играет человеком», им — Всеволодом — играла Люся Голубовская, а ими всеми — Наталья Рославец, только на допросе в МЧК, но это вряд ли сильно его потрясло. Последнее сохранившееся письмо Рославлева в адрес Лучика, датированное 11 часами дня 26 февраля 1920 года — за неделю до вызова в ЧК, уже совсем непохоже на его первые послания. Всеволод Юрьевич сообщал Ольге, что ее муж («не могу называть его Жоржем!») прекратил голодовку. На этом, скорее всего, любовник счел свой долг исполненным и отказался от дальнейшей помощи супругу любовницы. Каждый из них зажил теперь своей, новой жизнью. И только Люся, вернувшаяся на Украину, как будто начинала все сначала, потому что снова была с братом, снова в родных местах и какое-то время, вероятно, уже думала о том, чтобы вернуться в совсем другие места: туда, где провела часть своего детства. В уголовном деле Георгия Голубовского подшита тетрадка, исписанная

женским почерком: самодельный словарик итальянского языка^[104]. Словарик не начального, но и не слишком продвинутого уровня. Примерно второй год обучения. Это значит, что еще летом и осенью 1919 года по какой-то неизвестной нам причине Люся Голубовская решила вспомнить один из языков, с которыми столкнулась и которые, видимо, пыталась выучить в детстве, живя с матерью и братом в Европе. Может быть, в Советской России ни она, ни Жорж (вспомним его визит к поляку Бродовскому) себя больше уже не видели? Готовились в разведку?

Глава шестая

Агент Полевого штаба

*Загибает гребень у волны,
Обнажает винт до половины,
И свистящей скорости полны
Ветра загремевшие лавины.*

*Но котлы, накапливая бег,
Ускоряют мерный натиск поршней,
И моряк, спокойный человек,
Зорко щурится из-под пригоршни.*

*Если ветер лодку оторвал,
Если вал обрушился и вздыбил,
Опускает руку на штурвал
Воля, рассекающая гибель.*

Арсений Несмелов «Воля»

Как мы помним, в воссозданной красными Военной академии Генерального штаба предусматривалось трехлетнее обучение. Владимир Воля прибыл в Москву в сентябре 1919 года, в ноябре две недели провел в тюрьме под следствием по делу о взрыве в Леонтьевском переулке, а в январе 1920 года покинул столицу. Поэтому утверждение: «*После окончания первого курса (курсив мой. — А. К.) этой академии в январе 1920 года Воля был назначен на должность сотрудника для поручений губернского военкомата в Екатеринославе*»^[105] выглядит несколько излишне смелым. И не только потому, что срок обучения оказался ненамного продолжительнее срока заключения в МЧК — никак не более трех месяцев. Знаменитый народный герой Василий Иванович Чапаев сбежал из академии вообще через три недели обучения^[106], но он прибыл в Москву с должности начальника дивизии и ее же занял, вернувшись на

фронт. Комиссар штаба дивизии Воля после московской командировки назначается на не самую престижную для героя войны и бывшего командира партизан должность рядового сотрудника военкомата только что — к наступившему 1920 году — освобожденного от белых родного Екатеринослава.

Тот год вообще начался для красных неплохо, и снова сократившаяся до двух человек семья Ревзиных возвращалась в родные места, когда война там постепенно становилась прошлым, историей. Еще совсем недавно, летом 1919-го, находившаяся на краю гибели Советская Республика выстояла, оттеснила армию Деникина, угрожавшую Москве, дальше, к донским степям, вышла на просторы Северной Таврии и теперь ставила задачу окончательной победы на Юге России. 16 января был создан Кавказский фронт под командованием восходящей звезды красных — Михаила Николаевича Тухачевского. Образованная в ноябре 1919-го Первая конная армия Семена Михайловича Буденного в конце февраля 1920-го разбила «донцов» генерала Александра Александровича Павлова и открыла путь на Кубань. В конце марта началась эвакуация белых из Новороссийска в Крым, где Добровольческая армия была переформирована и ее возглавил новый главком — генерал Петр Николаевич Врангель. Оставшиеся на Северном Кавказе войска Деникина либо бежали, либо были окончательно разгромлены. Екатеринослав оказался в глубоком тылу красных, а его военный комиссариат должен был обеспечить снабжение действующей армии личным составом, продовольствием и обмундированием. Так 22-летний Владимир Воля стал военным хозяйственником. Это было хорошее, удачное понижение. В условиях продолжающейся войны оно давало шанс спастись от смерти вне зависимости от того, сам он к этому стремился или не мог исполнять другую работу, например, по состоянию здоровья. К тому же оставаться в столице становилось небезопасно. В Москве, где чекисты яростно наводили порядок среди бывших белых, эсеров и анархистов, не всегда вникая, кто кем был на самом деле, каждое лишнее упоминание об аресте МЧК по делу анархистов с легкостью могло стоить как минимум карьеры.

В Екатеринославе — городе, в освобождении которого от белых сыграли огромную роль чернознаменные войска «батяки» Махно и в котором по-прежнему чувствовался дух анархистской вольницы, Владимир Воля был лишь одним из огромного количества таких же, как он — «то анархистов, то коммунистов», да к тому же неплохо устроившимся на казенную должность — там, где уже не стреляют. Вполне возможно, что его сестра именно в этот момент перестает быть Люсей Голубовской и

становится Ольгой Голубевой. Естественная и ожидаемая метаморфоза для женщины, муж которой приговорен ЧК к высшей мере наказания и у которой вполне могли остаться бланки различных документов (вспомним, что чекисты при обыске изъяли у него два чистых паспорта, но мы не знаем, были ли они единственными). В любом случае общие знакомые могли помнить, что она вышла замуж. А вот за Голубева или Голубовского — поди разбери, да и надо ли? К тому же у Люси был еще один серьезный повод сменить фамилию.

В своей анкете 1935 года Елена Феррари указывала, что именно тогда и там — в Екатеринославе весной 1920 года она прошла курс начальной военной подготовки и «поступила в распоряжение Регистрада Кавфронта»^[107]. Два последних неудобоваримых слова означали в те времена простое сокращение: Регистрационный отдел Кавказского фронта. Регистрационное управление Полевого штаба [Революционного Военного Совета (РВС)] РККА — название (с ноября 1918-го по апрель 1921-го) центрального органа советской военной разведки, вошедшего позже в историю как ГРУ — Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Тогда — в мае 1920-го, ни Генерального штаба, ни самого СССР еще и представить было нельзя, и деятельность Региструпра только-только налаживалась. Одним из первых руководителей центра военной разведки, созданного изначально как Разведывательный отдел Штаба РВС Республики, стал Семен Иванович Аралов, которого принято считать «крестным отцом» Елены Феррари в шпионском ремесле.

НАША СПРАВКА

Семен Иванович Аралов (1880–1969) — русский, из купеческого сословия. Полковник интендантской службы. В РККА — с 1918 года. Член РКП(б) с марта 1918-го, до этого состоял в партии меньшевиков-интернационалистов. Окончил неполный курс Московского коммерческого училища и Московское частное реальное училище, позже учился в Московском коммерческом институте. Служил в Перновском гренадерском полку в качестве вольноопределяющегося (1902–1903). Там же примкнул к революционному движению. Участник Русско-японской войны. На фронте, уже став прапорщиком, активно занимался революционной пропагандой, за что в октябре 1905 года заочно был приговорен к смертной казни. Перешел на

нелегальное положение и, добравшись до Москвы, включился в работу военной организации Московского комитета партии. В результате провала в 1907 году потерял связь с организацией, но продолжал пропагандистскую деятельность. Не прерывая учебу в институте, служил наставником в Рукавишниковском исправительном приюте для малолетних преступников и вел занятия на Пречистинских вечерних курсах для рабочих. Вновь на службе с июля 1914-го. Участник Первой мировой войны. Награжден орденами Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, произведен в поручики. В декабре 1916 года штабс-капитан Семен Аралов получил свой пятый орден.

Активно принимал участие в Февральской революции и последующих событиях, «обнаруживая симпатии к интернационалистическому течению в РСДРП». Участвовал в заседаниях Государственного совета, избирался членом ЦИКа второго созыва. «Вскоре, однако, разочаровался в бесплодной работе демократических совещаний, оставил их и вернулся вновь в полк». В январе 1918-го демобилизован как старослужащий (призыва 1902 года) и учитель, отправлен в Москву в распоряжение московского уездного воинского начальника.

С 28 февраля 1918 года Аралову, как военному специалисту, предложили организовать и возглавить фронтовой (оперативный) подотдел Московского областного военного комиссариата, преобразованный в апреле 1918-го в оперативный отдел (оперод) штаба Московского военного округа. Приказом народного комиссара по военным делам оперативный отдел штаба МВО был переподчинен Народному комиссариату по военным делам. С 11 мая по 1 ноября 1918 года Семен Аралов сохранил за собой должность заведующего оперодом, который в том числе должен был организовывать и вести разведку «в оккупированных областях, в Украине, Польше, Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, Финляндии и Закавказье», а также вести учет и организовывать разведку «согласно особым указаниям Коллегии народных комиссаров по военным делам против всех сил, которые в данный момент грозят Российской Республике».

С 8 октября 1918-го по 4 июля 1919 года — член Реввоенсовета Республики. Член Бюро Реввоенсовета Республики. С 14 октября 1918-го по 8 июля 1919-го — член

Военно-революционного трибунала при РВСР.

С 24 октября 1918-го по 15 июня 1919-го — комиссар Полевого штаба РВСР. Начальник Регистрационного управления Полевого штаба РВС Республики, первого центрального органа военной агентурной разведки и военной контрразведки (военного контроля) (с 5 ноября 1918 года по 15 июня 1919-го).

С 19 июля 1919 года по 21 октября 1920-го — член РВС 12-й армии.

С 1921 года — на дипломатической службе. С декабря 1921 года по апрель 1923-го — полномочный представитель РСФСР (СССР) в Турции, СССР в Латвии (с мая 1923-го по ноябрь 1925-го), в 1925–1927 годах — член Коллегии НКВД, президиума ВСНХ, председатель акционерного общества «Экспортлес».

С 1927 года — в Наркомфине: член Коллегии сектора культуры, начальник Главного управления государственного страхования (1927–1938), заместитель директора, директор Государственного литературного музея (1938–1941).

Участвовал в Великой Отечественной войне: рядовой-доброволец народного ополчения Киевского района столицы, помощник начальника оперативного отделения штаба стрелковой дивизии народного ополчения, начальник отдела трофейного вооружения 33-й армии. Командовал отдельной 23-й трофейной бригадой (1946–1947), демобилизован.

С 1946 года — на партийной работе, с 1957-го — на пенсии. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й (1945), 2-й (1944) степени, Красной Звезды (1942), «Знак Почета», медалями, орденами ПНР.

Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы^[108].

В безусловно героической биографии Семена Ивановича Аралова нас должны интересовать два принципиальных момента: каким образом и на каком основании он мог рекомендовать для службы в разведке Ольгу Федоровну Голубовскую, а именно такое утверждение встречается в изложениях ее биографии сплошь и рядом. Необходимо заметить, что Аралов был снят с важнейшей для армии должности руководителя военной разведки в критический для Советской Республики период — летом 1919 года, в разгар боев на всех фронтах. Говорить это может только об одном: уровень его работы не устраивал командование в целом и Троцкого как главу Реввоенсовета Республики, не соответствовал потребностям Красной

армии в текущий момент. Последующее назначение Семена Ивановича в действующую армию на консультативную должность члена Военного совета одной из армий — очевидное понижение, отправка в войска. Можно верить или не верить в его заслуги, в его талант выдающегося организатора, но в любом случае необходимо признать: Аралов прервал все связи с разведкой почти за год до знакомства с Люсей Голубовской и никогда в жизни их больше не восстанавливал. Верить в то, что в качестве «бывшего» и изгнанного из Москвы специалиста он мог ее кому-то посоветовать, можно. Но рекомендацию он ей мог дать как член партии, как член Военного совета, а не как военный разведчик. Да и с датами здесь не все в порядке.

Весной 1920 года Семен Аралов служил в 12-й армии. Сама же армия, в составе которой находилась и 46-я стрелковая дивизия, оставившая столь глубокий след в биографии супругов Голубовских, в это время участвовала в Киевской операции советско-польской войны. Как и зачем член РВС армии Семен Аралов оказался в Екатеринославе в этот ответственный момент боев, остается пока загадкой (да и был ли он там?). При этом география службы Ольги Голубовской вопросов не вызывает: в своей анкете она сообщает о службе в 13-й^[109], а не в 12-й армии, и это войсковое объединение весной 1920 года вело бои как раз в районе Екатеринослава. В начале же июня 1920 года войска барона Врангеля предпринимают мощное наступление на Северную Таврию. Его крымские дивизии высадились на побережье Азовского моря. Удар был направлен на Мелитополь, а далее наступление успешно развивалось в направлении Александровска, махновской столицы Гуляйполе и на Екатеринослав. Город опять оказывается на линии фронта, но наши герои внезапно покидают его, чтобы вновь изменить свою судьбу.

В действительности мы до сих пор не знаем, кто конкретно предложил использовать Люсю Голубовскую, ее брата Владимира Волю и, очень возможно, даже Георгия Голубовского в операциях военной разведки, но сам по себе этот факт с высот сегодняшнего дня представляется удивительным. Полгода назад все они находились под следствием по делу государственной важности о терроризме. Только против одного — Владимира Воли — не было выдвинуто никаких конкретных обвинений и обоснованных подозрений за исключением того, что в прошлом он примыкал к анархистам. Люся Голубовская по-прежнему являлась супругой человека, приговоренного к высшей мере наказания Коллегией ВЧК — плохая рекомендация даже для того, чтобы сдать ей угол в квартире, не то что отправить в разведку. Наконец, мы до сих пор не знаем

точно когда, но имеются косвенные свидетельства того, что, пусть и не в этот момент, а позже, к Ольге и Владимиру присоединился приговоренный к высшей мере, но внезапно помилованный Георгий Голубовский^[110].

Обычно такого рода повороты событий случаются в голливудских боевиках, когда у супермена (в нашем случае — у супервумен) остается только один шанс спасти свою собственную жизнь или жизнь близкого человека — стать агентом-террористом и начать «работать на правительство». Хочется верить, что при этом мы все понимаем: кино — это кино, а в жизни подобное представить как минимум значительно сложнее. С другой стороны, вообще представить себе саму обстановку Гражданской войны — во всем ужасе происходящего, со всей степенью извращенности идей и поведения отдельных людей, народов, партий, крупных и мелких правителей и правительств, мы тоже, к счастью или нет, уже не в состоянии. Если же все-таки допустить, что подобное было возможно, что Волю и Голубовскую завербовали, как в кино, шантажируя их прошлым (крайне неудачный, но распространенный в первой половине XX века повод для вербовки агентов, которых собираются послать за рубеж), то этим делом должна была заниматься ЧК. Именно в распоряжении Чрезвычайной комиссии находились все члены семьи, и решением ЧК был осужден любимый Ольгой Жорж. Нет, однако, ни одного не то что документа, даже намек, подтверждающего эту версию.

По большому счету мы вынуждены принять, что как не существует никаких доказательств того, что Ольга Голубовская была завербована либо ЧК, то есть органом политического сыска (контрразведки) и политической разведки, либо Региструпром (военной разведкой) в связи с арестом по делу анархистов, так нет и ни единого свидетельства, позволяющего уверенно это предположение опровергнуть. Нам попросту приходится принять как свершившийся факт: в конце весны 1920 года Ольга Федоровна Голубева (она же Голубовская, она же Ревзина) начала работать на советскую военную разведку. И хотя по большому счету это решение было чистой воды авантюрой, так как по-настоящему никто не мог поручиться, что эта пара верна идеям коммунизма, — разведчики и из Владимира, и из Люси получились. Причем из нее — лучше.

Видимо, уже тогда (или чуть позже) Люся превратилась в Елену Константиновну Феррари. Во всяком случае, именно этот псевдоним указан на обложке ее личного дела, заведенного 12 января 1921 года — через полгода после описываемых событий. Там же, в анкете, есть и второй псевдоним: «Голубковская» — именно так, через «к»^[111]. К

происхождению «Феррари» мы еще вернемся, а пока еще немного о военной грамотности.

В известной версии сообщается: «В мае 1920 года Ольга Голубева прибыла в Москву в распоряжение Регистрационного управления Полевого штаба РККА (что противоречит указанным ею самим сведениям о нахождении в распоряжении разведки Кавказского фронта. — А. К.). Начальник военной разведки распорядился зачислить ее на подготовку в разведшколу, точнее — разведкурсы... Ольга Голубева успешно освоила основы организации и ведения разведывательной работы. В это же время она экстерном сдала экзамены за 8-й класс гимназии.

В конце 1920 года секретный сотрудник советской военной разведки Елена Феррари... побывала в Перми, где работал ее отец, а затем убыла для выполнения специального задания в Турцию»^[112].

Оставим на совести автора утверждение, что Люся Ревзина каждые два года с маниакальным упорством ездила в Москву сдавать экзамены за восьмой класс гимназии, после чего отправлялась к отцу на Урал с отчетом^[113], тем более что сама в «Регистрационной карточке», составленной в 1921 году, указала, что «отца упустила из виду с 1918 года»^[114]. Неизвестны нам и документы, подтверждающие учебу Ольги Голубовской в «разведшколе», но если допустить, что это событие имело место в ее жизни, то где и чему она могла учиться?

Курсы, на которые могла отправиться учиться наша героиня, открылись 21 ноября 1918 года и были первой советской разведшколой со сроком обучения всего три месяца. Сменяющие друг друга потоки слушателей (обычно около трех десятков человек), получивших, как и Люся, рекомендации от высокопоставленных партийных деятелей, под руководством профессиональных разведчиков изучали несколько предметов: «Пехотная разведка», «Артиллерия», «География», «Служба связи», «Администрация», «Тактика», «Артиллерийская разведка», «Контрразведка», «Инженерная разведка», «Топография», «Кавалерийская разведка», «Военно-топографическая разведка». Несложно заметить, что абсолютное большинство этих предметов относилось к разведке войсковой, то есть осуществляемой в действующей армии против армии противника, а иностранные языки отсутствовали вовсе по причине крайне низкого общеобразовательного уровня курсантов. Но помимо этого имелся в программе курсов и особенный предмет под названием «Агентурная (тайная) разведка». Интереснейшая программа, разработанная и упрощенная до рабоче-крестьянского уровня кадровым царским офицером

Василием Михайловичем Цейтлиным, предусматривала знакомство слушателей со следующими вопросами:

«I. Значение разведки в мирное и военное время. Связь между оперативной и разведывательной работой. Недостаточность одной войсковой разведки. Тайная разведка, необходимость ее и значение. Краткие сведения по истории шпионажа. Определение понятия шпионства и взгляд на него.

II. Вербовка агентов, требования, соблюдаемые при приеме на службу агентов, подготовка агентов. Школы агентов. Агенты-резиденты и ходоки. Что должен знать агент-резидент. Меры соблюдения тайны и безопасности разведчика.

III. Как проводить разведку агенту. Опрос возвращающихся агентов. Регистрация агентурных сведений. Контроль агентов, пропуск их через наши линии фронта и границу в мирное время.

IV. Краткое понятие об организации агентурных сетей в мирное время. Задачи разведки мирного времени. Мобилизация тайной агентуры.

V. Организация тайной агентуры и ее задачи в военное время. Способы сношений с агентами. Условная переписка, различные ее способы.

VI. Задачи, поручаемые тайным агентам. 4 вида шпионажа — военный, дипломатический, внутренне-политический и экономический.

VII. Шпионаж военный и дипломатический.

VIII. Шпионаж внутренне-политический и экономический. Способы добывания агентами сведений.

IX. Искровая слежка. Сведения из прессы. Работа различных органов разведки в штабах различных инстанций.

X. Краткое повторение курса. Разъяснение каких-либо вопросов»^[115].

Рисковал ли Аралов или (скорее всего) кто-то другой, давая рекомендацию для учебы на курсах Ольге Голубевой? Еще как. Но все организаторы, командиры и начальники военной разведки красных прекрасно знали и понимали, что ее коренная проблема на тот момент — кадры. Еще за год до описываемых событий, в феврале 1919 года, когда семья Ревзиных — Голубовских партизанила на Украине, один из руководителей Региструпра описывал сложившуюся ситуацию в докладе руководству. Первая часть его рапорта фиксировала главное:

«...Правильная организация разведки должна считаться столь же необходимой, как и организация Вооруженных сил государства и должна быть неотъемлемым их дополнением, иначе армия явится лишь слепым организмом...

Разведка не может быть делом импровизации и кустарничества, ибо она основывается на деятельности сети мелких тайных агентов, которые должны быть выбраны с большим разбором, затем подготовлены и натасканы и, наконец, еще испытаны раньше, чем считать возможным довериться их донесениям, которые нередко должны лечь основанием важных военных операций. Организация разведки, таким образом, требует значительного времени и изучения агентов.

Разведка должна вестись настойчиво и непрерывно, и связь с агентами должна быть надежной. Работа тайной организации за границей должна быть обставлена строжайшей тайной, и агентура должна быть так организована, чтобы арест или измена одного агента не влекли за собою провала всей организации. Количество агентов должно быть достаточно велико, чтобы путем многочисленных засечек иметь возможность проверить правдоподобность донесений агентов.

Агенты должны быть:

а) посажены на места задолго до открытия военных действий противником,

б) успеть сделаться своими людьми в районе порученного их наблюдению пункта,

в) надежным образом связываться со своим руководителем...»

Вторая часть доклада была посвящена реальному положению дел:

«Попытки завербовать агентов из числа бывших тайных военных агентов старой армии окончились неудачей вследствие недоверия их к Советской администрации, не могущей, по их мнению, обеспечить тайну их службы в случае политического переворота или восстаний, а также вследствие постоянных перемен в составе лиц, ведающих личным составом агентуры. (Полезный и добросовестный шпион не любит менять начальников.) Далее — вербовка агентов из безработной или нуждающейся интеллигенции или полуинтеллигенции, несмотря на хорошие условия денежного вознаграждения, — тоже не дала результатов, вследствие того, что *эта безработная публика в конце концов при большом спросе на интеллигентный труд пристроилась в различные учреждения и, конечно, предпочла остаться там, чем идти на опасную службу по военному шпионажу. Наконец, последнее средство по привлечению агентов, на которое возлагались последние надежды, — это привлечение партийных людей — тоже не дало положительных результатов* (здесь и далее курсив мой. — А. К.).

...Как на характерный случай бессистемного кустарничества в смысле пополнения личного состава агентуры и посылки ее на работу можно

указать на следующий факт, когда один из зарегистрированных, но еще не обследованных агентов на дверях своей квартиры в Москве прикрепил карточку с надписью „АГЕНТ ПОЛЕВОГО ШТАБА“.

В настоящее время крайне затруднено обследование агентов (из партийных) с нравственной и деловой стороны их качеств. Запас старых партийных работников исчерпан с первых дней Октябрьской революции — все они заняли высокие административные посты. *Коммунисты же октябрьского и более поздних сроков в большинстве не поддаются обследованию вследствие постоянно меняемых ими специальностей службы, непродолжительности сроков этой службы и отсутствия достаточно авторитетных лиц, которые могут дать оценку личности того или другого человека.*

Обыкновенно вновь поступающие имеют массу разных удостоверений о том, что такое-то лицо служило тем-то и отличается работоспособностью, аккуратностью и т. д. Но такие бумаги ничуть не гарантируют... что агент окажется несоответствующим даже вышеперечисленным качествам. Один из агентов (старый партийный работник) имел буквально целый портфель, в котором заключалось несколько фунтов разных удостоверений, это лицо произвело очень хорошее впечатление и, взявшись организовать агентурную сеть, ничего не сделало...»^[116]

Из этого документа понятно, что особо выбирать руководителям большевистской военной разведки не приходилось. Людей катастрофически не хватало. В разведку идти было не с кем, и Региструпру оставалось только верить новобранцам в том, что их честность и профессиональная подготовка окажутся надежными. И, несмотря на высокий процент провалов отдельных агентов (по данным того же отчета — до 35 процентов), всегда находились те, кто на своих плечах вытаскивал разведку из самых тяжелых ситуаций, кто имел такой общий уровень образования, чтобы хотя бы некоторое время можно было работать за границей, кто был в состоянии освоить программу курсов или эффективно работать (хотя бы поначалу) без специального образования.

Да и без самих курсов тоже — остается только гадать, добралась ли Ольга Голубева вообще до советской столицы. Ведь рекомендацию она получила в мае, дорога в оба конца летом 1920 года заняла бы около месяца, само обучение — еще три, но возможно, что уже в июне того же года Люси в стране не было.

Дело в том, что ее брат, за широкой и надежной спиной которого она снова оказалась после ареста мужа 5 ноября 1919 года, «в 1920 году был командирован за границу в тыл к меньшевикам (Грузия) и Врангелю

(Крым), и для установки связи с кемалистами, и по линии Коминтерна. Вернулся в Россию в 1922 году»^[117]. Командировка в Турцию началась в июне^[118] (что подтверждается и датированным июнем же освобождением от обязанностей сотрудника Екатеринославского военкомата), и в обоих случаях его задания были тесно связаны с флотом и с владением теми иностранными языками, с которыми Владимир Федорович был знаком слабо. Правда, существует и другой вариант: в июне Воля поехал учиться в Москву вместе с сестрой, но в его документах никаких упоминаний об окончании курсов пока не обнаружено. В любом случае наши герои, поступившие в итоге в распоряжение разведывательного (регистрационного) отдела штаба Кавказского фронта, были нацелены на сектор ответственности этого фронта: Кавказ и Закавказье.

В мае 1918 года на территории современной Грузии была образована Грузинская Демократическая Республика, основная роль в руководстве которой принадлежала социал-демократам меньшевистского толка. По заключенному чуть раньше договору между Турцией и Германией Грузия попадала в немецкую сферу влияния, и до конца того же года на территории республики (за исключением Аджарии, которая отошла к Турции) находились германские войска. Затем их сменили англичане, которые во время Гражданской войны в России поддержали Вооруженные силы Юга России, а грузинская армия расширила территорию своей страны за счет Черноморского побережья России, захватив Адлер, Сочи и Туапсе. После победы красных над Деникиным стало ясно, что такое положение надолго не сохранится, но Москву на Кавказе интересовали прежде всего нефтяные промыслы Баку, а не будущие курорты, и в апреле 1920 года в Азербайджан вошла 11-я армия РККА, установившая там советскую власть. 7 мая в Москве был подписан договор между Грузинской Республикой и РСФСР, по которому большевики (первые в мире) признавали независимость Тифлиса и устанавливали с ним полнообъемные дипломатические отношения (первым послом Советской России в Грузинской Республике стал Сергей Миронович Киров). На самом деле большевикам требовалась лишь передышка после броска в Баку, да хотя бы имитация поддержки грузин в борьбе против остатков деникинских войск, пытавшихся уйти берегом Черного моря в Турцию.

Кавказским маршрутом, вдоль берега Черного моря, следовала и сформированная в июне Особая группа Регистрационного управления Полевого штаба РВСР, заместителем начальника которой стал Владимир Воля и в которую, помимо него, входила его сестра Ольга Голубева.

Командовал группой человек удивительной судьбы Владимир Яковлевич Аболтин, бывший хотя и на год моложе Воли (ему на момент начала миссии не исполнилось еще и двадцати одного года), но имевший лучшее образование и опыт службы в разведывательном отделе дивизии.

НАША СПРАВКА

Владимир (Валдемар) Яковлевич Аболтин (Аболтиньш, Аварин; 1899–1978) — советский дипломат, военный разведчик, ученый-востоковед и экономист.

Родился на территории современной Латвии. В 1917 году примкнул к большевикам и переехал в Нижний Новгород. Через год нелегальным порядком вернулся на родину, где занялся формированием частей красных стрелков. В 1919-м учился на Пехотных курсах командного состава Красной армии, после чего непродолжительный период участвовал в боях Гражданской войны. По официальным данным, в апреле 1921 года окончил шестимесячные курсы военной разведки и летом того же года отправился со спецзаданием в Турцию, что, однако, противоречит цитируемым далее документам о деятельности Особой группы.

В 1925 году окончил восточный факультет Военной академии РККА и был прикомандирован к Наркомату иностранных дел. 19 марта того же года прибыл на Сахалин в сопровождении участника турецкой операции Федора Павловича Гайдарова, где блестяще провел переговоры с японцами об окончании оккупации Северного Сахалина и 1 мая подписал соответствующее межгосударственное соглашение от имени Советского Союза. В течение года возглавлял администрацию Сахалина, в частности, организовав на острове выпуск первой газеты, а в 1927–1928 годах исполнял обязанности генерального консула СССР в Харбине (Китай). Параллельно с дипломатической работой развернул активную разведку, увеличив количество резидентур в Китае с пяти до тринадцати.

Вернувшись в Москву, преподавал в Институте востоковедения и Институте мирового хозяйства и мировой политики, стал автором семи монографий, десяти брошюр и более четырехсот статей по проблемам Дальнего Востока, в 1935 году — доктором экономических наук.

Затем работал в загранкомандировке в Пекине, в 1938–1939 годах — директором Ивановского учительского института иностранных языков. Занимался аналитической работой. В частности, один из руководителей предвоенного НКВД Павел Анатольевич Судоплатов вспоминал: «Видный аналитик Разведупра Красной армии перед войной, а позднее наш крупный экономист-международник В. Аболтин еще в 1940 году подготовил записку руководству Наркомата обороны о неизбежности внезапного нападения японского флота на стратегические объекты Англии и США на Дальнем Востоке»^[119].

Затем, вероятно, был репрессирован, но в 1942–1943 годах числился в резерве одной из латышских дивизий. В 1946 году реабилитирован.

В послевоенный период работал в системе Академии наук СССР.

Скончался в 1978 году. Похоронен на Новокунцевском кладбище в Москве.

Именно Владимира Аболтина (наряду еще с тремя людьми, среди которых есть Серафима Гопнер, но нет Семена Аралова) Ольга Голубовская укажет 12 сентября 1924 года в качестве «ответственного партийного работника», хорошо ее знающего^[120]. Кроме них в Особую группу входили Федор Павлович Гайдаров и Игорь Владимирович Саблин и, возможно, но не проверено и не доказано — Георгий Голубовский. Совершенно особую и до конца все еще не проясненную роль в этой группе играл Гайдаров.

НАША СПРАВКА

Федор Павлович Гайдаров (Гайдаржи; 1898 — после 1969) родился в городе Рени Измаильского уезда Бессарабской губернии в рабочей семье. В 1913 году окончил городскую школу, в 1915-м — школу юнг, в 1916-м — минную школу Черноморского флота. Летом 1917 года стал секретарем судового комитета. В 1918–1919 годах проживал на территории, занятой белыми, арестован денкикинцами, сидел в тюрьме Новороссийска, но через некоторое время был выпущен.

Член партии большевиков с марта 1920 года. Секретарь

партийной ячейки Новороссийского порта. В 1920–1922 годах находился в заграничном командировке в Турции по линии Разведупра Штаба РККА. В 1926 году окончил Институт востоковедения; во время учебы в 1925-м был секретарем правительственной комиссии, которая принимала Северный Сахалин от японского командования.

В июне 1926-го — августе 1927 года работал в Западном Китае. В 1927–1931 годах в Турции — в Константинополе и Смирне — оперативный работник по экспорту и импорту. С 1932-го состоял в распоряжении IV Разведывательного управления Штаба РККА. В 1932–1934 годах вновь работал в Турции.

В 1934 году назначен помощником начальника пограничного разведывательного пункта Белорусского военного округа. В ноябре 1934-го — декабре 1937 года находился в Австрии. В 1937–1939 годах состоял в распоряжении Разведупра РККА. В августе 1939-го — сентябре 1940 года — старший преподаватель кафедры страноведения 2-го факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе. Полковой комиссар (1940). С сентября 1940-го — начальник кабинета Ближнего Востока Высшей специальной (разведывательной) школы Генштаба РККА.

Автор «Учебника турецкого языка» (1944) для этой школы. Владел французским, румынским, турецким и английским языками. Полковник интендантской службы.

Награжден орденом Красного Знамени (1944)^[121].

Во всех известных официальных документах Федор Гайдаров числится русским, но, судя по его настоящей фамилии — Гайдаржи — и месту рождения — окрестности Измаила, по крови он мог принадлежать к гагаузам — немногочисленному народу тюркского происхождения, которых часто для простоты понимания называют «православными турками». В данном случае национальная принадлежность — принципиально важный момент, потому что ни евреи Ревзины, ни латыш Аболтиньш не говорили на языке страны, в которую их отправили с тайной миссией. Это совсем не удивительный и не редкий случай. Подобная практика была чрезвычайно широко распространена в советских спецслужбах на всем протяжении их существования, но главным образом, конечно, в начале пути. Разведчики вынуждены были либо искать себе переводчиков, что чаще всего случалось в восточных странах, языки которых особенно трудны для освоения, либо находить двуязычных агентов из числа местных жителей, а сами они при

этом оставались в языковой среде какой-либо иностранной диаспоры. Самым ярким примером такого подхода к делу может служить случай Рихарда Зорге, который успешно работал три года в Китае, а затем восемь лет в Японии именно по такой схеме: располагал двуязычными агентами из числа китайцев и японцев соответственно, постоянно находясь в обществе иностранных журналистов и дипломатов и свободно владея лишь немецким и английским языками. Кстати говоря, постоянно встречающаяся в анкетах разведчиков формулировка «свободно владеет» каким-либо языком, как правило, имела крайне слабое отношение к действительности. У того же Зорге было записано, например, что он, помимо перечисленных выше языков, свободно изъясняется и по-русски, и по-японски, что в реальности являлось сильным преувеличением.

Примерно такая же ситуация складывалась и в Особой группе Аболтина — Воли. Только гагауз Гайдаров действительно мог говорить по-турецки просто в силу того, что его родной — гагаузский язык очень близок к турецкому. Вся дальнейшая биография Федора Павловича, в том числе подготовленный им много позже учебник турецкого языка, подтверждает его профессиональную близость ближневосточному направлению в разведке, хотя поработать ему пришлось (вместе с Владимиром Аболтиным) и на Сахалине.

Наконец, согласно все той же официальной версии, до революции Федор Гайдаров служил электриком на крейсере «Принцесса Мария», однако такого корабля в составе Черноморского флота да и вообще Русского императорского флота никогда не было. Речь идет, очевидно, о грандиозном дредноуте «Императрица Мария», вставшем в строй Черноморского флота в сентябре 1915 года и всего через год взорвавшемся и затонувшем на севастопольском рейде. Невероятно короткая и столь же яркая история боевых действий «Императрицы Марии» включала участие в успешной десантной операции русских войск против турецкого порта Трапезунд (ныне Трабзон), к 1920 году игравшего важную роль в расстановке сил на Черном море. Погиб корабль по неустановленной причине, но весьма вероятно, что произошло это в результате диверсии германских разведчиков, сумевших таким образом существенно ослабить морские силы своего главного противника в регионе.

Федор Гайдаров — владеющий турецким языком моряк, электрик, участник боевых действий на территории Турции, человек, представляющий, что такое правильно организованная диверсия, наконец, большевик, чудом выживший у деникинцев, — вряд ли можно было найти более подходящую кандидатуру для выполнения того задания, которое

получила Особая группа разведуправления Полевого штаба РВСР в Турции летом 1920 года.

Еще один необычный член группы Аболтина — Игорь Саблин.

НАША СПРАВКА

Игорь Владимирович Саблин (1898–1979) — внук присяжного поверенного, драматурга и антрепренера Федора Корша — основателя Русского драматического театра Корша (ныне Театр наций). Брат эсера, позже большевика, Юрия (Георгия) Саблина — героя Гражданской войны, кавалера ордена Красного Знамени за номером 5, расстрелянного в 1937 году, и Владимира — одного из основоположников белорусского кинематографа. Анархист.

Окончил реальное училище, где вместе с братом увлекся революционными идеями. Бежал на Кавказ. Во время Первой мировой войны работал в санитарном поезде. Позже снова вернулся к революционной деятельности, находился в подполье на Украине, а с апреля 1919 года — на Кавказе, участвовал там в партизанском движении.

Весной 1922 года был демобилизован и занялся литературной и редакторской работой. В 1925–1927 годах — политредактор агитбюро Наркомфина СССР, сотрудничал как автор, переводчик, редактор и рецензент в московских издательствах, в газетах, в журнале «Смена». В этом журнале в 1924 году вышел написанный им совместно с Марком Протусевичем роман о революционных приключениях «Дело Эрбе и К°».

Трижды арестовывался органами ОГПУ — НКВД — МГБ. В общей сложности провел в заключении 25 лет. Умер в Москве. Похоронен на Донском кладбище.

В воспоминаниях своего соратника по партизанской войне на Кавказе Ивана Борисовича Шевцова этот персонаж занял важное место: «Игорь Саблин был человеком, беззаветно преданным делу революции. Сын известного в Москве врача, литератора и книгоиздателя, он рано ушел из обеспеченной семьи, чтобы жить своим трудом, примкнул к студенческому революционному кружку, принимал активное участие в Февральской

революции в Москве, а затем в боевые дни Октября с оружием в руках дрался против юнкеров. Студенческая фуражка и пенсне, скрывавшее искусственный глаз, придавали ему сугубо штатский вид. Однако в кармане у него всегда были браунинг и патроны, которые он тщательно оберегал от обычного своего „имущества“, легко помещающегося в кармане: куска хлеба, сахара и пачки махорки»^[122].

Кавказско-турецкий рейд навсегда сблизит — и сблизит опасно — Игоря Саблина и Елену Феррари. Но пока им еще только предстояло попасть в Турцию. Сделать это можно было либо по суше, через Кавказский хребет и далее через Закавказье, либо берегом — через Туапсе и Сочи, либо кратчайшим путем — по морю. А можно было и вообще не попасть: война на суше и на море не кончилась. И белые, и красные располагали еще значительными силами, которые порой сходились в нешуточных морских сражениях с участием всего, что держалось на воде.

В распоряжении деникинцев, а затем врангелевцев находились остатки Черноморского флота, частично, впрочем, затопленного, частично захваченного немцами, а затем переданного последними Деникину. В состав этого флота вошли флагманский линкор «Генерал Алексеев» водоизмещением 21 тысяча тонн, с двенадцатью 12-дюймовыми орудиями, два крейсера, пять миноносцев типа «Новик», несколько угольных 700-и 350-тонных миноносцев, несколько подводных лодок новейшего типа и десятки вспомогательных судов. Для операций на мелком, но опасном Азовском море белые перевооружили бывшие крейсера пограничной стражи, несколько пароходов, самоходных барж, установили пулеметы на моторные баркасы — словом, поставили в строй всё, что, находясь на плаву, могло наносить ущерб противнику.

Положение красных в техническом смысле оказалось намного хуже, зато значительно лучше обстояли дела с кадрами — имелись хотя бы матросы. Грамотных офицеров, выживших после матросских бунтов и массовых расстрелов 1917–1918 годов, осталось мало с обеих сторон, но белым отчаянно не хватало еще и рядовых моряков. Что же касается плавсредств, то и здесь на волну ставили все, что имело шансы на ней хоть какое-то время удержаться.

В сборнике стихов Елены Феррари «Эрифилли», начало которого вообще насквозь пропитано солеными брызгами Черного моря, флотская тема имеет особый вес, победы красных на море — особое значение.

На мачте нашей горит
Кровавый флажок, —

В зеркале моря свои фонари
Зажег.

Одно стихотворение, оставшееся без названия, получило тем не менее посвящение: «Памяти моторов „Дозор“ и „Евгений“»:

Море — битва, мачта — знамя.
Вой, реви, рычи, норд-ост. —
Не задуть тебе над нами
В черном небе белых звезд.

Ни в списках красного Черноморского флота, ни в аналогичном, тех же времен, реестре флота белого кораблей с такими названиями обнаружить не удалось, за исключением буксира-ледореза «Евгений», который должен был принять участие в одной из оборонительных операций как раз весной 1920 года^[123], но он, переименованный в «Тимофея Копейкина»^[124], благополучно проплавал много лет, а потому стихотворение вряд ли могло быть посвящено его памяти. Да и что такое «моторы»? Скорее всего, так называли моторизованные баркасы, моторные катера, которые часто служили и белым, и красным для высадки небольших десантов, войсковых разведгрупп, эвакуации раненых или в качестве вестовых судов, действовавших на небольших расстояниях. Но если Ольга Голубева посвятила их экипажам прочувственное, искреннее стихотворение, значит, что-то пришлось им пережить вместе, прежде чем наши разведчики ступили на турецкую землю? И не только на землю.

В статьях и других материалах, посвященных Владимиру Воле, сообщается: «заместитель начальника особой группы Региструпра» (1920); «начальник связи Константинопольского отделения ОМС ИККИ и начальник оперативной части спецгруппы Разведупра РВСР» (1921); «провел в Черном море сквозь блокаду легк. крейсер „Айд... Рейс“» (1920); «захватил и привел в Черн. море неприятельскую шхуну „Рождество Богородицы“» (1920)^[125].

Этот героический и чрезвычайно интересный эпизод с «легким крейсером», настоящее название которого было «Айдин Рейс» («Aydin Reis») — по имени легендарного турецкого адмирала начала XVI века, упоминается в нескольких источниках. Правда, крейсером этот корабль стал позже и исключительно с легкой руки его новых хозяев. Реальный

«Айдин Рейс» представлял собой однотрубную канонерскую лодку водоизмещением 502 тонны (то есть это было небольшое судно), вооруженную двумя пушками при экипаже в 60 человек и едва не ставшую кораблем Антанты.

12 сентября 1920 года к Трапезунду подошел французский контрминоносец «Бар де Люк» с приказом султана Мехмета, фактически выполнявшего волю Антанты, о передаче канонерской лодки «Айдин Рейс» представителям этого военного союза. Губернатор Трапезунда дерзко возразил французам, что не подчиняется султанату, а руководствуется приказами национального правительства Гази Мустафы Кемалья-паши и готов взорвать «Айдин Рейс», если кто-либо рискнет захватить корабль силой. Французы, выполнявшие лишь функцию связных между Константинополем и Трапезундом, не имели ни малейшего желания проверять серьезность намерения губернатора и, приняв сообщение, вернулись обратно. Правитель Трапезунда тем временем сообщил Кемалю, что, если в город придут эмиссары посмелее, корабль и вправду может достаться Антанте и султану. На фоне ведущихся секретных переговоров кемалистов с советским правительством о взаимной поддержке сложившаяся ситуация стала настоящим подарком для турок. Кемаль немедленно принял решение... подарить «Айдин Рейс» вместе со всеми проблемами, связанными с ним, большевикам, как говорят на Востоке, «в знак особого расположения» и явно (и не без оснований) надеясь получить массу дивидендов от такого поступка. О подарке было сообщено в РВС Кавказского фронта — возможно, как раз через Особую группу Региструпра, и «Айдин Рейс» получил приказ 14 сентября прорываться в Новороссийск.

Приказ приказом, однако туркам было известно, что на море в районе Трапезунда господствуют корабли Антанты и белого флота генерала Врангеля — их дымы вроде бы даже можно было различить на горизонте. Часть экипажа канонерки отказалась выходить в море, вполне справедливо полагая, что этот прорыв может оказаться последним парадом. Но революционные настроения царили тогда и в турецком флоте: на палубе организовалось нечто вроде стихийного митинга, и команда разделилась. На прорыв согласились идти старший офицер корабля кемалист Ахмет Мидат, еще три офицера, комендант Янсон и 14 матросов, но этого было недостаточно на случай принятия боя с противником. Вот тут-то на «Айдин Рейсе» и появился наш человек — Владимир Федорович Воля, имевший приказ от начальника Особой группы Региструпра, а тот — от РВС Кавказского фронта, осмотреть подаренное судно, прежде чем принять его

на баланс. Владимир Воля вник в положение, проявил инициативу и вызвался лично помогать Мидату в проводке корабля в Новороссийск. Восемь добровольцев из разведгруппы красных поддержали его решение.

В ночь на 15 сентября в условиях начавшегося шторма и ограниченной видимости «Айдин Рейс» вышел в море, успешно преодолел линию блокировавших Трапезунд вражеских кораблей, а 16 сентября в 14 часов дня, проходя уже вдоль кавказского берега, заметил двухмачтовую моторную шхуну под вражеским же — греческим флагом. Шхуна, называвшаяся «Генеенс Теотокис», шла из Батума в Керчь с военным грузом для Добровольческой армии. Воля скомандовал на абордаж, и «Теотокис» был захвачен экипажем советско-турецкой канонерки. По одним данным, шхуну взяли на буксир, по другим — просто приказали следовать за собой, на всякий случай сняв с ее мостика и посадив в свой трюм капитана^[126].

Впоследствии в воспоминаниях свидетелей и участников тех событий прорыв «Айдин Рейса» смешался с еще несколькими похожими эпизодами, запечатлевшись таким, к примеру, образом: «Следует отметить, что в сентябре 1920 года в Новороссийский порт *пришли присланные из Турции Мустафой Кемалем* (курсив мой. — А. К.) канонерские лодки „Айдин-Рейс“ и „Перевеза“ (560 тонн водоизмещения, 14 узлов хода). Позднее их прибытие не позволило использовать их для военных действий» — в истории «Гражданской войны на Черном море»^[127].

Или: «...Но неожиданное подкрепление пришло от Кемаль-паши. Две канонерские лодки, имевшие по два 100-мм орудия, и пароход „Шахин“ находились в Трапезунде в руках кемалистов. Опасаясь их захвата англичанами, Кемаль-паша приказал им укрыться в Новороссийске. О переходе канонерок стало известно в Севастополе, и когда „Алмаз“ и „Утка“ уходили к Гаграм, их командиры получили приказание в случае встречи с турецкой канонерской лодкой ее задержать. Но встреча не произошла, так как „Айдин-Рейс“ уже 11 сентября пришел в Новороссийск, а „Превеза“ 13 сентября, то есть когда отряд капитана 2-го ранга Григоркова уже второй день находился в районе Адлера. По приходе в Новороссийск турецкие корабли были переданы в пользование советскому правительству, подняли красные флаги и получили новые названия: „Восставший“ („Превеза“) и „Луч Востока“ („Айдин-Рейс“), но в операциях они не приняли участия и потом были возвращены Турции»^[128].

Еще одно свидетельство по горячим следам: «Утром 17 сентября 1920 года у Новороссийска появилась турецкая канонерская лодка „Айдин-

Рейс“. Лодка пришла из Синопа, имея письмо от губернатора, в котором он писал, что посылает ее „нашим друзьям — лицам Советского правительства по приказанию министра национальной обороны“ и просит оказать всяческое содействие. На лодке был командир Дидат, 4 человека комсостава, 10 турецких матросов и 8 русских... 13 октября пришла вторая лодка, совершенно однотипная с первой — „Превеза“ с личным составом в числе 60 человек»^[129].

Путаница замечательная и характерная для многих историй, хотя бы косвенно связанных с Еленой Феррари. Крейсер оказался канонерской лодкой. И не два крейсера, а один, или, во всяком случае, они пришли в Новороссийск по одному. Блокада была, но не тогда и не там. Не совпадают даты и названия, фамилии и количество членов экипажа. Не находится и никаких следов яхты «Рождество Богородицы» (такой не значится ни в одном реестре судов того времени), зато возникает греческая шхуна. Случайно ли примерная дата ее захвата Владимиром Волей, то есть, по одной из версий, 8–10 сентября (если 11 сентября она вошла в Новороссийск), совпадает с православным праздником Рождества Пресвятой Богородицы, отмечаемым 8 сентября? Как быть с тем, что, по официальной версии, корабли прибыли в Новороссийск 17 сентября и в торжественной обстановке были переданы члену РВС Кавказского фронта Аркадию Павловичу Розенгольцу?

И еще один документ: фрагмент из отчета самой Особой группы за период с июня по декабрь 1920 года, полученный в Москве уже в 1921 году.

«Присылка ган-ботов (военных кораблей. — А. К.). Присылка двух военных судов в Россию из Трапезонда и Синопа, якобы в подарок из революционной солидарности, в действительности была вынужденной. Уже несколько раз (курсив мой. — А. К.) французский миноносец приходил за ними, и турки обрекли их на потопление, когда же был получен категорический приказ прислать ган-боты в Константинополь, то только благодаря хлопотам и настояниям присутствовавших там совработников ган-боты были не потоплены, а отосланы в Совроссию.

Инцидент с яхтой „Галатя“. Между прочим, на ган-боте „Айдин Рейс“ по пути Трапезонд — Новороссийск заместителем Начособгруппы тов. Волей было захвачено врангелевское судно и приведено в Новороссийск (о чем тов. Воле выданы Новороссийским портом соответственные документы). По отбытии тов. Воли из Новороссийска турецким представителем в Туапсе Осман-беем было сделано формальное заявление о том, что это же судно он дарит от имени Турции Совроссии и „взамен“ получена яхта „Галатя“ в его личную собственность. Несомненно, что тут

имели воздействие те подарки, которым турецкий представитель стягал (так в документе. — А. К.) себе привилегию в Туапсе и вокруг, каких бы не получал бы по праву (должно быть, основываясь на этом, он писал в Турцию, что в России всех и всё можно купить за коньяк)»^[130].

Так или иначе, теперь становится хотя бы понятно, что к началу сентября 1920 года наши герои-«совработники» находились в Трапезунде (или, как они его называли, Трапезонде) и их усилиями (не только Воли, но и всей группы) были спасены от затопления оба корабля — «Айдин Рейс» и «Превеза», перегнанные ими же (по крайней мере, на первом из них точно находился Владимир Воля) в красный Новороссийск. Героям повезло: белые узнали о их акции с большим опозданием и не успели заблокировать морской путь, а по пути Воля действительно захватил парусно-моторную шхуну, которую «Айдин Рейс» отконвоировал в Новороссийск. И не вина разведчиков в том, что корабли не успели принять участие в боевых действиях против врангелевцев на Черном море, и тем более в том, что турки потом забрали обратно обе канонерские лодки, да вдобавок еще и другую яхту — «Галатею» как взятку для турецкого представителя в Туапсе Осман-бея.

Участники этой, в чем-то даже романтической операции были награждены. Турки награды получили сразу, и более солидные. Наши — попроще, а главный герой этого смертельно опасного приключения — Владимир Воля, кажется, еще и гораздо позже.

«28 сентября 1920 г.

Постановление.

От имени Рабоче-Крестьянского Правительства Российской Социалистической Федеративной Советской Республики командир турецкой канонерской лодки „Айдин Рейс“ тов. Ахмет Мидат, добровольно взявший на себя командование этим судном, посланным Революционным Турецким Правительством в подарок РСФСР, благополучно проводший „Айдин Рейс“ к Новороссийскому порту через линию строгой блокады Анатолийского побережья и захвативший в пути и приведший к советскому берегу неприятельскую шхуну с грузом, по постановлению Революционного Военного Совета Кавказского фронта за проявленное им геройство награждается орденом Красного Знамени.

г. Новороссийск, 28 сентября 1920 г.

От имени Рабоче-Крестьянского Правительства член РВС
Кавказского фронта

А. Розенгольц».

Турецкие офицеры Сулейман, Руфат, Зюхта и Янсон (у турок в 1921 году еще не было фамилий, они появились только в 1934 году после вступления в силу «Закона о фамилиях») получили в подарок от большевиков золотые часы. Серебряными часами наградили всех матросов — и турецких, и наших ^[131].

О награждении Владимира Воли подробных сведений нет, но по одной из версий, получение им ордена Красного Знамени, пусть и со значительным опозданием, связано именно с операцией по проводке «Айдин Рейса», оптимистично переименованного большевиками в крейсер.

Находилась ли на борту какого-нибудь из этих кораблей наша главная героиня — Ольга Федоровна Голубева? Или она все-таки в это время была «в Перми, у отца»? Не исключено, что она входила в состав Особой группы. Это вполне возможно, несмотря на то, что имя ее нигде не упоминается и цель ее нахождения на борту, кроме как сопровождение брата, представить крайне трудно. Можно только предполагать, что, скорее всего, ее не было на «Айдин Рейсе», но она могла оказаться на «Превезе», шедшей уже проторенным путем Воли. Но теперь им обоим — и Владимиру, и Ольге — пора было возвращаться в Турцию, где их ожидало очень много дел. Советское правительство, и лично Владимир Ленин, исполняло в то время сложный и опасный танец в объятиях революционного лидера Турции Мустафы Кемаля — Ататюрка, и нашим героям пришлось сыграть свои роли в этом красочном и по-восточному запутанном представлении.

Глава седьмая

Русским виз не выдается

*Передо мною сквозь туман,
Как серый призрак, как обман,
Видны строенья Цареграда,
Над бездной волн, в кругу холмов,*

*Мечетей, башен и дворцов
Теснятся мрачные громады...
А там, за бледной синей далью,
Чуть отуманенной печалью,*

*За цепью облаков седых,
Где чайка серая кружится,
В глухом тумане волн морских
Мое грядущее томится...*

Ирина Кнорринг. 1920 год^[7]

В Первую мировую войну Турция вступила на стороне Германии и Австро-Венгрии. 29–30 октября (11–12 ноября по новому стилю) 1914 года турецкий флот под командованием германского адмирала Вильгельма Сушона обстрелял с моря российские города Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск. Через три дня Россия объявила Турции войну, а Лондон и Париж в этом решении поддержали Петроград. Турки блокировали Босфор, лишив страны Антанты возможности взаимных поставок морским путем, но еще до этого турецкая армия вторглась в Батумскую область Российской империи и начала активные боевые действия против превосходящих сил русской Кавказской армии. Во избежание поддержки русских местным армянским населением турки начали геноцид, вырезав около полутора миллионов армян. Военного успеха эта политика не принесла, хотя в память последующим поколениям

врезалась крепко. На протяжении 1915 года турецкие войска успешно сдерживались образованным Кавказским фронтом под командованием генерала Николая Николаевича Юденича, а затем они обратились в бегство. 18 апреля при содействии кораблей Черноморского флота, в том числе упоминавшегося линкора «Императрица Мария», русские войска овладели стратегически важным портом на южном берегу Черного моря — Трапезундом, а в Закавказье разгромили наголову 3-ю Османскую армию. Казалось уже, что война турками проиграна безвозвратно, но в России одна за другой прогрохотали две революции, и 18 декабря 1917 года большевики заключили с османским правительством мирный договор. Спустя два месяца турки перешли в наступление на практически оставленном русскими фронте и захватили почти всё Закавказье, включая Батум и Баку и исключая грузинский Тифлис. Однако в это же время потерпели поражение союзники Турции в Европе, в Германию прорвалась «бацилла революции» и обстановка в Причерноморье круто изменилась в очередной раз. 30 октября 1918 года Османская империя признала свое поражение в войне и прекратила существование, съезжившись на карте мира фактически до размеров современной Турции.

Уже через две недели союзные войска Великобритании, Франции, Италии, а затем и США появились у Константинополя, взяв под контроль пролив Босфор. Британская армия захватила район Мосула с его богатыми нефтяными месторождениями и высадила десанты едва ли не во всех турецких портах Средиземного и Черного морей, в том числе и в Трапезунде. Следом подтянулись французы, итальянцы и греки, лихорадочно расхватывая все, что осталось не прибранным англичанами, подойдя вплотную к Константинополю, власть в котором и уже де-факто была поделена между их союзниками. Как часто бывает в таких случаях, иностранная интервенция привела к всплеску националистических настроений, уже подогретых мировой войной, резней в Армении и горечью поражений. Началась национально-освободительная война. Руководство в ней принял на себя бывший генерал османской армии Гази Мустафа Кемаль-паша, которому вскоре предстояло войти во всемирную историю под именем Отца всех турок — Мустафы Кемалю Ататюрка.

В декабре 1919 года, в то самое время, когда наши главные герои только-только освободились из МЧК, столица Турции была перенесена им вглубь Малой Азии, в город Ангору^{8}, а 28 января 1920 года была принята Декларация независимости Турции, в ответ на которую союзные державы уже официально оккупировали Константинополь и объявили туркам войну, возложив бремя ее ведения на греческую армию. Таким образом, с апреля

1920 года в Турции номинально существовали два правительства. Одно — национально-освободительное, ориентированное на Мустафу Кемалю и названное кемалистским — в Ангоре, а второе — в турецкой части Константинополя Стамбуле, возглавляемое мало чем распорядившимся султаном Мехмедом VI. Контроль за султанатом со стороны иностранцев позволил первому добавить к лозунгам освобождения Турции от интервентов тонкую, но пикантную религиозную нотку «борьбы против неверных». Но даже это не делало победу Кемалю над объединенными силами Антанты предрешенной. И новый турецкий лидер пошел ва-банк.

Руководствуясь принципом «враг моего врага мой друг», Кемаль понял, что его главным союзником может стать извечный противник Турции — Россия, оказавшаяся в похожем положении в результате своих революций. Объединившись, Москва и Ангора резко повышали шансы своих никем в мире не признанных стран на сопротивление Антанте в Черноморском регионе, но для этого кемалистской Турции и ленинской России требовалось пойти друг другу на уступки. Разумеется, и Москва, и Ангора, клянясь во внезапной и вечной любви, не верили друг другу, всячески старались друг друга перехитрить, используя рычаг воздействия, о существовании которого пять лет назад никто в мире и помышлять не мог, — смесь марксистской и национально-освободительной идеологий.

Мустафа Кемаль первый воспользовался этим необычным инструментом, обратившись к Ленину с предложением о взаимном признании, установлении дипломатических отношений и... просьбой о военной помощи. Новый турецкий лидер заверял, что взамен «Турция обязуется бороться совместно с Советской Россией против империалистических правительств для освобождения всех угнетенных... <...> изъявляет готовность участвовать в борьбе против империалистов на Кавказе и надеется на содействие Советской России для борьбы против напавших на Турцию империалистических врагов»^[132]. Москва не могла ответить на это отказом сразу по нескольким причинам. Во-первых, в этой просьбе-заявлении Кемалю содержались неоспоримые для большевиков постулаты, связанные с поддержкой национально-освободительной борьбы против мирового империализма в лице Антанты, армии которой все еще выступали в качестве захватчиков территории самой Советской России. Во-вторых, в Москве отчетливо понимали и видели на практике, что ослабление Турции выгодно в первую очередь Великобритании, а Лондон представлялся врагом значительно более сильным, коварным и опасным для Москвы, чем непонятная Ангора. Всплеск активности кемалистов совпал с едва ли не закатом надежд самих большевиков на становящуюся

все более призрачной мировую революцию, но они — эти надежды все-таки еще были живы, теплились, и отказать «единомышленникам» не представлялось возможным. Поэтому в первых числах июня 1920 года Москва официально заявила, что «Советское правительство протягивает руку дружбы всем народам мира, оставаясь неизменно верным своему принципу признания за каждым народом права на самоопределение. Советское правительство с живейшим интересом следит за героической борьбой, которую ведет турецкий народ за свою независимость и суверенитет, и в эти дни, тяжелые для Турции, оно счастливо заложить прочный фундамент дружбы, которая должна объединить турецкий и русский народы»^[133].

Нетрудно заметить, что даты отправки Особой группы советской военной разведки в Турцию и протягивание Ангоре «руки помощи» совпадают едва ли не до дня. Дальнейшие события, связанные в том числе и с временной передачей большевикам турецкой канонерки «Айдин Рейс», которая в противном случае была бы затоплена или досталась Антанте, и с передачей навсегда турецкому генералу русской яхты, подтверждают, что тайна миссии Особой группы для самих турок страшным секретом не являлась. Да и сам Владимир Федорович Воля несколько лет спустя писал об этом вполне открыто в несекретной анкете слушателя Коммунистического университета: «В 1920 году был командирован за границу в тыл к меньшевикам (Грузия) и Врангелю (Крым), и для установки связи с Кемалистами, и по линии Коминтерна»^[134].

Несмотря на то что боевые действия против Врангеля велись все более интенсивно, а на Западе крайне неудачно складывалась ситуация с наступлением на Польшу, в Кремле со всей очевидностью понимали, что повторения шокирующего московского броска армий Деникина ожидать не приходится. Гражданская война шла к своему неизбежному и уже понятному всем концу. Развязкой должен был стать разгром Врангеля в Крыму с последующей эвакуацией... куда? Очевидно, в Румынию, Болгарию и Турцию — больше просто некуда. Убаюканное сладкоголосыми турецкими напевами о единстве целей в борьбе против империализма и колонизаторов советское правительство стало всерьез рассчитывать на помощь Ангоры в дальнейшей либо борьбе с бывшей врангелевской армией, либо в ее разложении и создании ей невыносимых условий существования. Чтобы убедить Кемалю в искренности, Ленин санкционировал и экономическую поддержку братского соседа. Уже в сентябре 1920 года по главному коридору снабжения Новороссийск —

Трапезунд — Ангора турки получили от Москвы полтонны золота в слитках (примерно 125 тысяч турецких лир по тогдашнему курсу), 3387 винтовок, 3623 ящика с боеприпасами и примерно три тысячи штыков — в основном немецкого производства (в распоряжении турецкой армии, еще вчера воевавшей с Россией, находилось именно германское вооружение) — все это в разгар последнего этапа Гражданской войны в европейской части России.

Но не только золото и оружие потекли в Турцию. Надеясь на Кемалю, советские спецслужбы все же рассчитывали еще и использовать его, заполонив ключевые транспортные узлы своего внезапного союзника своей агентурой. Ее низкий профессиональный уровень, слабое качество разведки старались компенсировать количеством, и небезуспешно. Кстати, ровно в эти же годы похожая ситуация складывалась и в буферной Дальневосточной республике, где с 5 апреля 1920 года хозяйничали японцы и где плотность большевистской агентуры оказалась невероятно высока. Генерал Ои, командующий оккупационной армией на Дальнем Востоке, вынужден тогда был констатировать: «Все наши планы становятся известными, коммунисты имеют о наших планах документы»^[135]. Примерно то же самое творилось и на Ближнем Востоке. По данным нового шефа Региструпра Яна Давыдовича Ленцмана (Яниса Ленцманиса), решившего навести порядок в военной разведке и переформировать организацию, приспособив к нуждам послевоенного времени, в одном только Трапезунде одновременно находилось около двухсот (!) агентов Региструпра^[136], среди которых числилась и Особая группа Аболтина с Владимиром Волей, Федором Гайдаровым и Ольгой Голубевой, которая примерно в это время в очередной раз преобразилась, приняв то имя, под которым навсегда войдет в историю: Елена Феррари.

Кстати, почему и каким образом Ольга Федоровна Ревзина выбрала именно это имя? Или ей выбрал его кто-то другой? Вариантов много. Это мог быть чужой, попросту — украденный паспорт или какой-то иной документ, удостоверяющий личность, в который удалось вклеить фото Люси Голубевой и дальше использовать его, постоянно легализуя при регистрациях за границей, переходах через контрольно-пропускные пункты и выполняя другие подобные бюрократические формальности. В таком случае никакой роли Ольга Федоровна в своем переименовании не сыграла.

Однако опыт изучения истории отечественных спецслужб показывает, что, по крайней мере в описываемый период, разведчики нередко были причастны к выбору своих псевдонимов. Если так, то может быть, и Люся

Голубовская сама захотела взять не самую популярную в России фамилию Феррари? Сейчас, конечно же, она ассоциируется с едва ли не самым узнаваемым автомобильным брендом, но в 1920 году будущий основатель компании Энцо Феррари (кстати, почти ровесник Люси — он был всего на год старше ее) только пришел в гоночный отдел «Альфа-Ромео» рядовым водителем и не был известен никому, кроме коллег и родственников. В России же носители фамилии Феррари встречались крайне редко. Архивы сохранили сведения только о герое Первой мировой войны капитане Алексее Георгиевиче Феррари, награжденном многими орденами и тяжело раненном в начале войны. Могла ли с ним встречаться Люся Ревзина? Кто знает — пути войны, особенно Гражданской, неисповедимы...

На рубеже 1920–1921 годов (то есть как раз когда Люся Голубовская из Ольги Голубевой преобразалась в Елену Феррари) советские газеты писали о фашистском (слово только что появилось в международном лексиконе) бунте в итальянском местечке Феррара недалеко от Венеции: «По последним сообщениям из Италии, город Феррара остался совершенно без хлеба, вследствие забастовки булочников, объявленной в знак протеста против провокационных действий фашистов. Социалистические депутаты Матиоти (так в документе. Имеется в виду Джакомо Маттеотти (Giacomo Matteotti. — А. К.) и Беги снова подверглись на улице нападению со стороны фашистов. Среди населения Феррары царит возбуждение»^[137].

Что же касается имени, то имеется вот какое любопытное совпадение. До революции единственным «именинным днем» для носящих имя Ольга был день памяти святой равноапостольной княгини Ольги — 11 (24) июля. При крещении княгиня получила имя Елена и стала покровительницей новообращенных христиан. А крестным отцом ее самой был византийский император Константин — тот самый, в честь которого был назван позже основанный им город: Константинополь. Девушка с гимназическим образованием знала об этом точно. К тому же в Житии святой равноапостольной Ольги рассказывались истории о ее хитрости совершенно детективного характера: еще до крещения император хотел на ней жениться, на что она возразила, что нехорошо христианину свататься к язычнице, а когда крещение произошло, на то же предложение ответила, что теперь он ее крестный отец и для христиан такой брак неприемлем. Пофантазируем: такая святая могла понравиться девочке с боевым характером — хотя бы потому, что это была не абстрактная мученица, просто умершая за веру, а активный и реальный исторический персонаж, хитрая, амбициозная и талантливая в своем деле женщина.

Возвращаясь к фамилии Феррари, стоит вспомнить, что еще как

минимум за год до заброски в Турцию и смены фамилии Ольга Федоровна занималась итальянским языком. Само слово *ferro* имеет латинское происхождение и в современный итальянский язык вошло со сходным значением: железо, железный. Как тут удержаться от аналогии с псевдонимом другого известного большевика, взятым из того же металлургического ряда: Сталин...

Еще один земляк Люси Ревзиной, родившийся четырьмя годами позднее все в том же Екатеринославе, Михаил Аркадьевич Светлов^[9] напишет позже и по схожему поводу:

Он песенку эту
Твердил наизусть...
Откуда у хлопца
Испанская грусть?
Ответь, Александровск,
И Харьков, ответь:
Давно ль по-испански
Вы начали петь?

И если ее новый паспорт не был похищен, если Люся сама выбрала для себя рабочий псевдоним, то откуда вообще взялась итальянская «грусть» у нашей героини? Из эмигрантского детства?

Еще один пламенный писатель-агитатор, служивший в то же время, но в другом соединении красных — в Первой конной армии РККА, Исаак Эммануилович Бабель (Бобель) в своей бессмертной «Конармии» посвятил целую главу красноармейской грусти именно итальянского характера. Глава эта — «Солнце Италии» — настолько необычна, хороша и всеобъемлюща: есть там и Рим, и Москва, и анархисты, и «реквизиции» с последующим арестом, и даже самостоятельное изучение итальянского языка, — что приведем ее здесь почти полностью:

«Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами и точками. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо...

„...Я проделал трехмесячный махновский поход — утомительное жульничество, и ничего более... И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма.

Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы мужицкую свою усмешку. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного цека, made in Харьков, в самодельной столице. Ваши рубахи-парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудрости, — черт с ними...

А потом я попал в Москву... В совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль *с планом настоящей работы* (курсив мой. — А. К.). Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнувшая сырой кровью и человеческим прахом...

Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, значит не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория — пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю и через два месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет. Много там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения...

Италия вошла в сердце как наваждение. Мысль об этой стране, никогда не виданной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория...“

Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими гляцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый тщедушный король Виктор-Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и целым выводком принцесс».

Получается, и этот парень из Первой конной — «тоскующий убийца» Сидоров страдал зарубежной «грустью»? И не испанской, а именно итальянской? И он тоже был анархистом, имел отношение к батьке Махно и Волину-Эйхенбауму (теперь наоборот: не путать с «нашим» Волей-Ревзиным), был ранен, «сунулся в Кремль с планом настоящей работы», был отвергнут и теперь умоляет «невесту, которая никогда не станет

женой» посодействовать в отправке в Италию для убийства короля. Если убрать художественный вымысел, которого тут, понятное дело, немало (в сохранившихся фрагментах дневника Бабеля, из которого он почерпнул немало деталей сюжета книги, ничего похожего нет), местами «Солнце Италии» загадочным образом напоминает историю с незарегистрированным мужем Люси Ревзиной — Жоржем Голубовским с его метаниями из-под черных знамен под красные, поездкой в Москву, визитом с каким-то планом тайных действий к влиятельному члену Польской компартии и прочими странно совпадающими деталями. Но ведь Георгий Голубовский был приговорен к высшей мере наказания? Был. И, как мы помним, ему невероятно повезло — расстрел был заменен на заключение в концлагерь. Но и этого не случилось. Известно (без подробностей), что позже, через полгода после ареста, то есть к лету 1920 года, Георгий Григорьевич был амнистирован, направлен то ли на фронт, то ли за его линию, но в любом случае в Красную армию^[138].

Вне зависимости от того, был или нет у героя Бабеля реальный прототип, испытывающий острое желание помочь «итальянским товарищам» в борьбе с нарождающимся фашистским движением и просящий о содействии «невесту-жену», Елена Константиновна Феррари в тот период была очень занята.

Как мы помним из официальной версии, весь 1920 год она провела в Москве, обучаясь на курсах разведки, что противоречит некоторым документам^[139]. Возможно, такое разночтение связано с тем, что личное дело было заведено на Голубеву Ольгу Федоровну как на агента Региструпра Феррари Елену Константиновну (она же «Голубковская») только 12 января следующего, 1921 года^[140]. Подобных случаев в бюрократической части истории советских спецслужб великое множество: агенты, завербованные в войсках, за линией фронта, на территории, оккупированной интервентами, могли сотрудничать с разведкой много месяцев, пока очередной начальник в ходе очередной реорганизации не ставил задачу привести в порядок документы и оформить личные дела на сотрудников и агентуру установленным образом^[10]. Грандиозные перемены в структуре Региструпра были задуманы и успешно осуществлены его новым шефом — Я. Д. Ленцманом как раз зимой 1920/21 года — в описываемый период. Реформа завершилась в апреле 1921-го созданием Разведывательного управления Штаба РККА (и увольнением Ленцмана), а приведение в порядок штата организации датировано именно январем 1921 года, после чего началась работа над очередным изменением

штата — теперь уже Разведупра^[141].

Благодаря некоторому упорядочению работы Центра на рубеже 1920–1921 годов до нас и дошли некоторые документы турецкой командировки семьи Ревзиных — Голубовских. Так, по итогам работы во втором полугодии 1920 года Особая группа тогда еще Региструпра представила в Москву обширный доклад, вскрывающий истинное отношение турецких союзников к Советской Республике и имеющий целью фактически раскрыть глаза Кремлю как на истинное положение дел в Анатолии, так и — для соответствующих ведомств — на положение и поведение их резидентов и агентов в этой стране:

«Пресса. Турецкая пресса не представляет ничего жизненного, могущего оказывать давление на общество. По существу ее можно разделить на три категории: официоз и газеты, издаваемые партией националистов, орган коммунистической фракции при ангорском правительстве и еще либеральное течение, называющее себя большевистским, притесняемое правительством, питающееся перепечатками из социалистических брошюр и статьями местных коммунистов, никогда не читавших коммунистической программы...

Армия. Громадное большинство народа безграмотно, армия абсолютно бессознательна. Солдаты одеты очень плохо, питаются больше чем недостаточно. Иные части живут одним кукурузным хлебом. В партизанских отрядах они не получают ничего и всё, от харчей до оружия, должны приобретать на свои средства. Оружие всюду есть на вольном рынке в большом выборе и количестве, причем с прибытием русского оружия оно сильно упало в цене, т. к. при переправах из одного места в другое оно расхищается и продается. Между солдатами и офицерством лежит неизмеримая пропасть, они гораздо более чужды друг другу, чем это было в старой русской армии. И хотя в армейских низах уже давно идут толки о новой красной армии и рассказы военнопленных, вернувшихся из России, слушаются ими с воодушевлением и надеждой, перед своими начальниками они не смеют не быть автоматами.

Военнопленные. Военнопленные, узнавшие другую жизнь и другие социальные отношения, явно выражают недовольство, громко говорят о преимуществе коммунистических общественных начал, о деспотизме своих беев и даже о двойственной политике Кемаля. Многие говорят, что надо бы коммунистам формировать в Турции красные части, другие хотят ехать обратно в Советскую Россию. Правительство очень подозрительно относится к военнопленным, т. к. убеждено, что их отпустили из России не раньше, чем сделали коммунистами, а большевистской пропаганды оно

боится больше всего.

Официальная партия коммунистов. Ея тезисы. В Ангоре существует официально Комитет Коммунистической партии, но фактически это только вывеска, под которой ведется самая усиленная контрбольшевистская деятельность. Их главной задачей является впитывать в себя все революционные элементы, прошлые и возникающие в Анатолии, внушая им следующее положение: турецкий народ по своим историческим условиям и приверженности к религии не может целиком принять большевистскую программу; его надо долго и упорно готовить к этому. *В настоящий же момент агитация не только вредна, но и губительна для страны* (курсив мой. — А. К.), т. к. солдат, узнав, что не должно быть отечества, не пойдет его защищать, услышав, что не должно быть вражды наций — не пойдет резать греков, о равенстве — не станет повиноваться начальству. Кроме того, партийные деятели незнакомы с государственной организацией Совроссии и не смогут у себя создать ничего положительного, взамен разрушенных старых устоев, а посему надо прежде хорошенько ознакомиться с Совроссией и ее порядками и ликвидировать все военные действия, а до тех пор, в интересах страны и народа, надо всеми силами противостоять всем агитаторам и пропагандистам, выступающим по своей инициативе. „*Ввести большевизм*“ возможно будет только самим же туркам и только сверху...

Коммунисты-одиночки. Что же касается отдельных коммунистов по всей периферии, то их положение ничем не отличается от подпольного. В начале в них подозревают советских шпионов, затем предлагают поступить к себе на службу и, оставаясь работать с большевиками, провоцировать их, подсылают всякого рода сыщиков; дальше появляются упреки на религиозной почве и угроза выслать из пределов Турции — наконец, если коммунист остается верен себе, то его объявляют высланным из Турции или отправленным в Ангору и в дороге убивают. Русским же агитаторам приходится вести работу очень конспиративно, все-таки всюду преследоваться сыщиками, были случаи высылки их в Грузию.

Позиция турок до получения оружия. Чем дальше, тем строже и больше препятствий в этом направлении со стороны правительства вопреки заверениям турецкой делегации, приехавшей в Ростов за оружием в августе сего года. И не только на основании их слов — по всему отношению турецкой администрации к соработникам, приехавшим в Турцию в то время, было видно, что они всей душой расположены укрепить союз в самом дружественном смысле. Характерен инцидент, произошедший на одном из заседаний Трапезондского Комитета Народной Обороны в

середине сего октября. Один из членов Комитета высказал губернатору, присутствующему там же, общее мнение Комитета по поводу союза с Совроссией: „Народ ни в коем случае не согласен принять Советскую программу, а так как Россия, по всей видимости, начнет агитационную работу в Турции, то это конечно необходимо принять, всеми силами избегая близких соприкосновений“. Губернатор ответил на это в очень решительной форме (хотя, по частным сведениям, он был только рядовой кемалист): „Беря помощь от России, мы уже многим ей обязываемся, так что дружественные отношения неизбежны. Кроме того, большевизм движение не местное, а мировое и рано или поздно оно коснется и нас и чтобы не остаться в стороне от всемирного прогресса мы не должны относиться к Сов. России так отрицательно. Что же касается русских вообще, находящихся на нашей территории, то я прошу вас, так же как требую от всех остальных граждан, уважения к ним и к их идеям“.

И после получения оружия. С прибытием первой партии оружия в Трапезонд отношение к русским резко изменилось, начались придирки, подозрения в агитаторстве. *Когда распространился слух, что Особая группа приехала помочь резать греков и армян,* она, отвечая на летучку французских аэропланов летучкой же, между прочим, писала, что цель большевиков не вражда, а братство народов, то турок — коммунист, которому было поручено составление этой летучки, подвергся самым жестоким преследованиям в течение долгого времени. Затем начались затруднения въезда и выезда, задержание русских по подозрению в агитаторстве (продолжительных арестов, впрочем, не было)...

Настроение турок к декабрю. <...> Совработники, несмотря ни на какие мандаты, также задерживаются под предлогом запросов Ангоры, если не примут более энергичного и резкого тона, тогда все делается легко и быстро.

Совработники в Анатолии. Такому отношению турок не мало также способствовала присылка людей, далеко не отвечающих своему назначению. Так, например, представитель для связи, присланный в Трапезонд в сентябре от нашего представительства в Ангоре, *он же резидент Регистра XI армии т. Данилов,* явивший себя властям „русским консулом“, — человек хотя и с хорошими намерениями и желанием что-то сделать, *но очень недалекий, абсолютно не развитой, вдобавок алкоголик.* После нескольких публичных скандалов с пьянством, дракой и стрельбой в отеле, он потерял доверие и уважение властей и публики. Несмотря на обострившиеся отношения с властями, он до сих пор не отозван и продолжает своими бестактными выступлениями компрометировать

положение и свое и кто его послал. Кроме того, *многие агенты разных регистротделов, появляясь на турецкой территории не конспиративно, а в качестве Советработников, тоже неоднократно своим поведением дискредитировали себя как таковые.*

Отношение турок к Врангелю. Так или иначе, но даже заявления, делавшиеся официально от имени Совроссии, во внимание турками не принимались. Так, однажды в Трапезонд принесло штормом Врангелевское судно, груженное керосином, и когда тов. Данилов обратился к губернатору с требованием отправить судно в Россию, то тот ответил, что Турция с Врангелем не воюет, а посему не может разрешить захват судна на своей территории. Когда же Крым пал и началось бегство частей, то во многие порты Анатолии стали приходить суда с солдатами и военным имуществом, которое поспешно раскупается турецкими властями. Так в Ризе около 20 ноября пришло *моторное судно с оружием, несколькими офицерами и солдатами. Особгруппа с представителями других соворганизаций, бывших в то время в Трапезонде, сейчас же обратилась к губернатору с требованием разрешения увести этот мотор в Туапсе, тем более что губернатор отказывался предоставить турецкое судно для переправы целой группы совработников разных организаций в Россию. Губернатор ответил, что это судно принадлежит туркам как военная добыча, а Врангелевцы будут арестованы. Конечно, судно это легко увести силой, но, боясь могущего возникнуть конфликта, мы решили ограничиться доведением этого до Вашего сведения.*

Русское военное имущество. Приблизительно такая же картина получилась с военным имуществом, оставленным русскими во время оккупации Трапезонда в 1918 году. Турки не препятствовали Деникину вывозить его, но он не успел вывезти все, и в старой бухте остались сложены паровозы, автомобили, похкухни, санповозки и т. д. В предместье Суук-Су на артиллерийской площадке стоят орудия трехдюймового калибра с вынутыми замками. Когда тов. Даниловым было приступлено к учету всего этого имущества, то власти стали его поспешно распродавать за бесценок.

Турки о своем отношении к Совроссии. Турки сами не отрицают, что относятся к России не так, как это могло бы быть, но объясняют это целиком тем, что Россия сама не нашла или не сочла нужным взять нужного тона с ними. „Когда немцы были здесь, — сказал в беседе представитель ангорского бюро печати, — и мы знали, что слово их — закон и все немецкие права были для нас святы, иначе бы нам пришлось плохо. [Как же] теперь мы можем уважать страну, представителем

которой является тов. Данилов и права которого и мы игнорируем. Русские должны были бы прислать нам серьезного и образованного консула, чтобы он мог поставить отношения на должную высоту и охранять их действительно как представитель своего государства, мог требовать то, что принадлежит вам по праву и умел бы приказывать там, где это нужно. Турки могут уважать только силу и дисциплину, и иным путем вы от нас лучшего отношения, чем оно сейчас, не добьетесь“. Это частные разговоры и случаи, но ясно, что им не могло бы быть место, если бы местные верхи не имели твердой почвы в этой области»^[142].

Ко времени представления этого доклада обстановка в Турции, прежде всего связанная с отношениями с Советской Россией, резко обострилась. В ноябре Красная армия вошла в Крым и начался великий исход белогвардейцев и просто людей, не желавших делить одно небо с большевиками, и членов их семей из России. Турки приняли врангелевскую армию, не переставая заверять Москву в «совершеннейшем своем расположении» к ней.

«Товарищу Троцкому — Народному Комиссару обороны
Российской Советской Республики.

От имени Великого Национального Собрания Турции спешу выразить Вам мои искренние и горячие поздравления по случаю блестящей победы доблестной Красной армии над армией Врангеля — последним оплотом западного империализма. Желаю от всего сердца, чтобы победа была успешной прелюдией к окончательному разгрому империализма.

[город] Трабзон. 24 ноября 1920.

Комендант Трабзона [Fevzi. 1920]»^[143].

Агентам же Разведупра, Иностранного отдела ВЧК и недавно созданного Коминтерна (часто все три должности совмещали одни и те же люди) теперь пришлось заниматься еще и вопросом русских беженцев, имея в виду новую генеральную линию Кремля: разложить бывших рядовых врангелевцев, возбудить в них ненависть к белым командирам, снова дать солдатам в руки оружие и заставить обратить его против своих же офицеров. Помешать этому плану могли пользовавшиеся авторитетом генералы — герои последних сражений: сам Петр Николаевич Врангель,

Александр Павлович Кутепов — один из лучших командиров врангелевской армии и вставший во главе 1-го армейского (Добровольческого) корпуса теперь уже как формирования солдат-эмигрантов, и бывший командующий 2-м армейским (прежним Крымским) корпусом Яков Александрович Слащёв. С ними красным разведчикам, очевидно, предстояло бороться особо. А среди главных помощников в деле разложения армии на первом месте числились невыносимые условия существования и нищета.

Из Крыма ушли и прибыли, по большей части в Константинополь, 126 военных и гражданских судов белой армии — от линкора «Генерал Алексеев» и флагманской яхты барона Врангеля «Лукулл» до парусных баркасов и самоходных угольных барж. На них, по разным оценкам, спаслись от большевиков от 136 до 160 тысяч человек. Плыть пришлось в невыносимых условиях, о которых не крымский, но грузинский эмигрант художник и поэт Илья Михайлович Зданевич, прибывший в Константинополь через Трапезунд, высказался поэтично и точно: «Я не понимал, каким образом зрелище невероятной сей пытки оставляет моря голубыми и небо безоблачным»^[144].

Затем пытка морская сменялась пыткой сухопутной. По соглашению союзных держав и османского правительства, местом пребывания врангелевской армии был определен болотистый, малярийный, лишенный всякой защиты от неблагоприятных погодных условий полуостров Галлиполи. Но там поселились в основном нижние чины — солдаты, казаки, младшие офицеры. Командиры чинами постарше, беглые чиновники, священники, просто гражданские люди — мужчины, женщины, дети осели в Стамбуле, ожидая со дня на день виз на въезд в Европу, прежде всего в Германию и Францию, которые эти визы давать не спешили. Нищета, чудовищная антисанитария (русские быстро прозвали Константинополь, бывший Царьград, — Царьгрязью), ощущение проигранного дела и почти полной безнадежности быстро доводили эмигрантов до крайней степени мизерабельности и нередко до самоубийств. Размах русской проституции достиг таких пределов, что турецкие жены вынуждены были обратиться к английскому коменданту города с петицией о немедленном изгнании из мусульманского города «распутников с Севера». Не бывавший в Константинополе, но много слышавший о нем от своей второй жены Михаил Афанасьевич Булгаков мастерски, художественно воспроизвел эту обстановку в пьесе «Бег» с его знаменитыми тараканьими бегами, а хорошо известный и сегодня журнал «National Geographic» публиковал тогда свидетельства очевидцев:

«...Беженцы из России тут встречаются повсюду. Они торгуют цветами, куклами Кьюпи, картинами маслом с пейзажами Константинополя (Илья Зданевич удивлялся, как много среди русских оказалось талантливых художников. — А. К.), выпечкой и безделушками, книгами и газетами на русском языке. Спят они прямо на улицах или на ступенях мечетей. Они шатаются без дела, попрошайничают, работают, когда удастся найти работу, а иногда и воют от голода.

Немногим из русских посчастливилось найти работу в ресторанах официантками или посыльными. Княгиня может подносить клиенту кофе, а генерал подавать ему трость. Профессора, бывшие миллионеры, высокородные дамы умоляют купить у них сигареты или бумажные цветы. Одна небольшая колония в Пере (один из центральных районов города. — А. К.) завладела набережной и вывесила два одеяла, чтобы это выглядело подобием жилья...

Ситуация с беженцами душераздирающая...»^[145]

Русская девушка, попавшая в турецкую столицу в 12 лет, позже в Париже опубликовала под псевдонимом Бетти М. свой короткий, но впечатляющий рассказ на ту же тему Царьгрязи — взгляд на трагедию со стороны ребенка, счастливо избежавшего ночевки на улицах: «...Хотя я слышала, что холод способствует вырождению всякого рода насекомых, но константинопольские гостиницы не оправдывают этой теории. То, что творится на улицах, того нельзя передать пером; нужно это видеть собственными глазами и чувствовать на деле. Турецкие школьники, которые вообще не отличаются особенной вежливостью, толкают несчастного беженца во все стороны и вдобавок обдают его не только грязью, но и руганью. Вообще несчастному беженцу много приходится переживать в Константинополе. Русские беженцы часто стараются удрать из Константинополя, но редко их старания увенчиваются успехом, потому что на дверях всех посольств висит грозная надпись: „РУССКИМ ВИЗ НЕ ВЫДАЕТСЯ“»^[146].

Врангелевские командиры, как могли, пытались обустроить быт солдат, добыть средства на пропитание, вернуть дисциплину в части непонятного назначения под предлогом будущего реванша, в который, впрочем, мало кто верил искренне. Гражданское население тоже, как могло, пыталось не умереть с голода — обо всем этом написано множество воспоминаний, стихов и даже песен^[147]. Большевицкая разведка, в свою очередь, как могла, пыталась сделать положение, в которое попали беженцы, еще более невыносимым, хотя, как мы видели в докладе Особой

группы, отношение турецких властей обоих направлений — и кемалистских, и султанских — было далеко от симпатий к официальным и неофициальным представителям Советской России. Близкие к «черному барону» лица столь же малоуспешно пытались делать вид, что все в порядке, ситуация под контролем, события развиваются по плану, известному только посвященным, и что впереди всех ждет небольшевицкий вариант светлого будущего.

Одним из вдохновенных певцов константинопольской, галлиполийской, врангелевской эмиграции стал бывший адвокат и прокурор Московской судебной палаты, под самый финал истории Белого дела сделавшийся журналистом, Николай Николаевич Чебышёв. В небольшой книжечке его воспоминаний под названием «Близкая даль» основная часть отведена как раз босфорской эпопее, и взгляд на нее приближенного к Врангелю шефа Бюро русской печати эмигрантской армии разительно отличается от мемуаров самих эмигрантов:

«Константинополь того времени представлял для беженцев одно преимущество. В Константинополе не было тогда хозяев. Все были гостями, в том числе и сами турки. Хозяином могло считаться союзное командование. Но оно числилось на этом положении только по праву силы и захвата, а потому морально тоже не могло признаваться настоящим хозяином. У турок же моральные права на положение хозяина яростно оспаривали греки. А греков усиленно, страстно отвергали турки, ненавидевшие их больше, чем „союзников“.

Таким образом, русские, прибыв из Крыма, чувствовали себя дома. Я думаю, можно утверждать без преувеличения, что никогда больше во время эмиграции, даже в гостеприимных славянских странах, русские не чувствовали себя „так у себя“, как тогда в 1921 и 1922 годах в Константинополе.

Пера, кривой коридор, по вечерам беспорядочно испещренный электрическими огнями, стала „нашей“ улицей. Русские рестораны вырастали один за другим. Некоторые из них были великолепны, залы в два света, первоклассная кухня, оркестры, каких Константинополь никогда не слышал. Русские дамы нашли хороший заработок в этих ресторанах, им придавали пышность элегантные, изящные, образованные, говорившие на пяти языках женщины. В одном ресторане мне прислуживала магистрантка международного права, трагически кончившая жизнь недавно в Париже...»^[148]

Вот уж поистине «кому война, а кому мать родна»... Наверное, о пропагандистских талантах врангелевского пиарщика не стоило бы и

упоминать в этой книге, если бы не один чрезвычайно важный факт: именно Николай Николаевич Чебышёв стал потом одним из первых, приложивших руку к созданию легенды о «Красной Феррари».

Глава восьмая

«Лукулл» утонул...

*Красные кони, воды Босфора
Вам суждено переплыть.
Древние Айя-Софии узоры
Свяжут пусть алую нить...*

*Москва приветствует Ангору,
Алла, благослови союз...
И заалело Черноморье, —
Завидев солнечную Русь...*

Александр Чачиков. Апрель 1921 года

НАША СПРАВКА

Николай Николаевич Чебышёв (1865–1937) — дворянин, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, в 1890 году поступил на службу в ведомство Министерства юстиции. Прошел путь от товарища (заместителя) прокурора Владимирского окружного суда до прокурора Московской судебной палаты. После Февральской революции переведен в Петроград, в Уголовно-кассационный департамент Сената. Летом 1918 года участвовал в подпольной деятельности «Правого центра», затем, спасаясь от красных, уехал из Петрограда через Украину в Екатеринодар. В 1919 году возглавлял управление внутренних дел Вооруженных сил на Юге России, входил в состав Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР. Из-за разногласий с генералом Антоном Деникиным осенью 1919-го покинул свой пост и вступил в монархический Совет государственного объединения

России.

В 1920 году входил в состав редакции газеты «Великая Россия». В ноябре вместе с остатками армии генерала Петра Врангеля эвакуировался из Крыма в Турцию. Жил в Константинополе, где до ноября 1921 года возглавлял бюро печати главного командования Русской армии. Позже обосновался в Париже, где работал в редакции газеты «Возрождение» и состоял членом правления Союза русских литераторов и журналистов [\[149\]](#).

Николай Николаевич Чебышёв оставил после себя исключительно ценные воспоминания о жизни в Константинополе, страдающие, однако, одним, общим для многих мастеров пера, изъяном. Несмотря на свое судейское прошлое, Чебышёв, едва почувствовав себя журналистом, настолько поверил в собственное величие и в непревзойденную значимость своей новой работы, что сразу же счел ее бытописательским подвигом. Результат — распространенная ошибка генералов от литературы: высказывать свои и чужие идеи под маской документалистики, забывая нередко о важности деталей, необходимости перепроверки сомнительных фактов и недопустимости представления ситуации единственным вариантом развития событий. Его привилегированное положение при Врангеле позволяло ему переживать галлиполийское сидение как константинопольский отпуск, и книга Чебышёва «Близкая даль» полна воспоминаниями о местных ресторанах и чудесных пляжах. Поближе к одному из них он, с благословения главкома, позволил себе поселиться, чтобы во время жаркого турецкого лета почаще принимать морские ванны. Неудивительно, что турецкая благодать во время эмигрантской чумы легко сочеталась у него с мыслями об историческом значении Врангеля и особых надеждах на «черного барона» той части константинопольского бомонда, которая верно — по мнению Чебышёва — оценивала стратегическую перспективу борьбы за очищение России от большевиков.

Николай Николаевич был ярким представителем старой, монархической России, для которого принятие даже буржуазной Февральской революции как свершившегося факта стало непростым решением. Представлять большевиков хотя бы как силу, заслужившую победу в Гражданской войне, — такое Чебышёву не могло присниться и в страшном сне. Впрочем, это не так уж важно по сравнению с тем, что в силу своего служебного положения Чебышёв знал и в «Близкой дали» рассказал нам многое из того, что для сотен тысяч русских эмигрантов в

Европе в то время оставалось слухами. Проблема в том, что процентные доли соотношения правды и вымысла в чебышёвском повествовании вычислить непросто, а порой и невозможно. И все же нам придется заняться этим, потому что как минимум в двух событиях, о которых рассказывал Николай Николаевич, могли участвовать наши герои: Особая группа Разведупра и лично Елена Константиновна Феррари.

Как мы помним, к середине 1921 года в Турции накопилась критическая масса советских агентов, способная добиться результатов если не качеством разведывательной работы, то хотя бы общими усилиями. Большевикам в Кремле очень нравилась идея совершить в этой стране социалистическую революцию силами кемалистов (решив заодно проблему с огромной армией Врангеля, частично все еще мечтающей о реванше). Мустафа Кемаль и его сторонники умело подпитывали эту идею намеками на благополучный исход дела в стиле «вот еще чуть-чуть, еще немного денег и оружия, и все станет очень хорошо». Сочетание этих факторов не могло не привести к попытке спровоцировать мятеж в Константинополе и других городах, где к лету 1921 года скопилось особенно много беженцев. И этот мятеж едва не окончился победой.

Николай Николаевич Чебышёв в то лето купался и предавался любимому занятию русских дворян даже в эмиграции — он скучал. Характерная запись из его дневника: «Магазины завалены товарами, которых никто не покупает. Туда нельзя никого заманить. В отделении „Лионского кредита“ на Пере я большей частью бываю один. В моменты ипохондрии хожу нарочно в иностранный, нерусский ресторан — „Паризьен“ — и всегда завтракаю один.

В гостиных разговор направлен на события вне Константинополя. То, что происходит в этом мировом узле, никого не интересует. Что-то происходит все-таки. Вчера к одной гречанке забрались разбойники, которые, не найдя ничего ценного, вырвали у нее три зуба с золотыми коронками.

Развлекают пожары. Каждый раз сгорает не менее квартала (курсив мой. — А. К.). Говорят, город выгорает через каждые сто лет. Тушат пожары „квартальные“ команды, сбегаящиеся на пожары в одном белье и с игрушечными насосами».

С течением времени развлечения Чебышёва сменились на озабоченность — впрочем, тоже оптимистически-приподнятого характера: «...вскоре в Константинополе появились большевики под предлогом, как всегда, торговых дел... Главу одной делегации, Кудиша, в публичных местах несколько раз били. В конце концов, начальство убрало его.

Вообще, в то время происходили нескончаемые недоразумения с большевиками. Итальянский пароход с грузом шел в Одессу и возвращался в Золотой Рог неразгруженным. От времени до времени союзная контрразведка приступала к ликвидации какой-нибудь очередной „торговой делегации“. Начинаясь на „торговых делегатов“ по городу облава. Их вылавливали всюду, где они в данную минуту были, и чаще всего обнаруживали в объятиях проституток»^[150].

Сегодня нам известно, что Чебышёв и его единомышленники были правы: большевистские разведчики проникали за границу в составе различных торговых организаций и даже специально создавали их для легального прикрытия своей деятельности. Весной 1921 года в Константинополе представители Региструпра появились под личиной сотрудников торгово-закупочных Центросоюза и Закупсоюза. Пользуясь удачной и пока что единственно возможной «крышей», они заключили договор с итальянской пароходной компанией «Ллойд Триестино» и зафрахтовали для своих нужд несколько судов, включая пароход «Адриа». Корабли предназначались для регулярных перевозок шерсти, зерна и других товаров Советской Республики по маршруту Батум — Константинополь и далее в порты Средиземного моря^[151].

Уничжительная характеристика, данная Чебышёвым советским агентам, скрывающимся под личинами «торговых делегатов», совпадает с элементами отчета Особой группы Аболтина — Воли. Да и в сводках, присылаемых в Разведупр со всех концов света, постоянно указывалось на одни и те же главные проблемы агентуры: пьянство и непотребное поведение — по большому счету крайне низкие воспитательный и образовательный уровни красных разведчиков, среди которых матрос-моторист уже слыл инженером, поскольку умел управляться с машиной. Естественно, что конспирация у таких агентов существовала сугубо умозрительно, уважения они не вызывали даже у своих товарищей, а полиция с легкостью раскрывала вновь и вновь прибывающих «специалистов».

Первый большой провал в Турции случился как раз тогда, когда Чебышёв развлекался пожарами: «Самой крупной ликвидацией был разгром, произведенный английскими военными властями в советских учреждениях 29 июня, причем было арестовано до пятидесяти человек, в том числе вся большевистская „головка“, с крупнейшими „рыбами“». Арестованы были все служащие, до машинисток включительно. При обыске были найдены, между прочим, фальшивые фунты стерлингов,

сфабрикованные в Петербурге. Арестованы были в Бейкосе чрезвычайка и красный штаб, работавшие подпольно. Весь аппарат был организован полностью, имелась типография, паспортно-пропускной пункт, служивший связью с армией Кемаля и визировавший паспорта для проезда в Анатолию и так далее. Тут найдены были списки и фотографии всех виднейших беженцев в Константинополе, обнаружены были бомбы, оружие, фальшивые английские документы.

Англичане если за что-нибудь берутся, то делают это основательно. Попутно они арестовали спекулянтов, имевших дела с большевиками. Англичане посетили даже курсы Берлица, где арестовали группу большевистских агитаторов, изучавших турецкий язык...»^[152]

Как главный редактор «печатного рупора» Врангеля, Чебышёв получил доступ к некоторым деталям расследования англичан, и в сентябре еженедельник «Зарницы» опубликовал большой материал о раскрытом британской контрразведкой заговоре советских спецслужб и турецких коммунистов против оккупационных властей. Целью заговора ставились восстание против стамбульского султанского правительства, окончательная победа кемалистов и дальнейшая ликвидация врангелевской группировки с помощью вооруженных сил Ангоры. Причем окончательным результатом должна была стать даже не эта внушительная победа, а торжество в Константинополе «Турецкой советской республики».

Другой свидетель тех событий — Илья Зданевич позже писал: «Разве мог в те дни кто-нибудь подумать, что Советы, захлестнув Кавказ, вошли в берега?.. Кавказ стал красным, теперь очередь за Турцией»^[153]. Иными словами, те, кто имел возможность и желание хоть как-то следить за событиями, разворачивающимися в Турции, Персии, Закавказье — вокруг всего Черного моря, может быть, и не хотели, но ожидали, что «красная волна» вот-вот захлестнет их всех. Ждали как трагическую неизбежность, препятствовать осуществлению которой они не могли, но оставалась еще надежда на внешние силы — бывших союзников.

К неудовольствию Чебышёва, англичане, раскрывшие заговор, дальше повели себя слишком осторожно, ставя приоритетной задачей не искоренение «большевистской заразы», а соблюдение английских интересов в этом стратегически важном районе. «...в силу особенностей английского отношения к большевикам и ввиду желания воспользоваться раскрытием заговора для производства некоторых существенных изменений в смысле управления Константинополем и проливами, роль большевиков оказалась совершенно затусована и на первый план

выдвинуты турки, игравшие лишь роль исполнителей большевистских директив»^[154].

Разочарованный Чебышёв сетовал, что при обысках подпольного «красного штаба» были обнаружены типография (явный признак не разведывательной резидентуры, а скорее оппозиционного центра), фальшивые документы и, что особенно интересно, «списки и даже фотографии видных представителей беженской среды». Для чего могли понадобиться такие списки и фотографии? Несложно догадаться, но выводы, выводы... — их англичане не сделали, а вот большевики — возможно, да.

Если следовать популярной логике создателей конспирологических теорий, то естественно будет предположить такой ход событий: в июне — июле англичане вскрывают советско-кемалистский заговор, направленный против хилого султанско-врангелевского союза, но заодно способный нанести чудовищной силы удар и по британскому господству в районе Босфора и Дарданелл. Не желая дальше портить отношения с большевиками, которые окончательно победили у себя дома, Лондон ликвидирует ядро заговора, но делает вид, что советская разведка здесь ни при чем, и часть ее агентурной сети остается незатронутой арестами и обысками. Наличие же у красных шпионов фотографий «видных представителей беженской среды», совершенно неинтересных кемалистам, говорит о том, что у агентов Москвы к галлиполийцам могли быть не только информационные интересы. И последовавшие в середине октября 1921 года события вполне укладываются в эту схему. Только направление удара теперь переносится с суши на море, а сама цель становится точечной — едва различимой в проливе «на фоне стальных кораблей», как пел в советском фильме «сын турецко-подданного».

Прекрасная двухмачтовая паровая красавица, носившая ранее название «Колхида», была построена в 1866 году и сначала служила российскому послу в Турции. По размерам и водоизмещению яхта была близка к переправленному Владимиром Волей в Новороссийск «легкому крейсеру» «Айдин Рейс», но круги от ее гибели, в отличие от всеми давно забытой турецкой канонерки, продолжают расходиться до сих пор. Пережившая годы Гражданской войны на Черном море яхта, переименованная в «Лукулл», стала жилищем барона Врангеля во время эмиграции в Константинополь. Пришвартованная на бочках у европейского берега между Топ-Хане и Дольме-Бахче яхта заодно служила главкому плавучим штабом, а в ее каюте, ставшей служебным кабинетом, хранились служебные документы и армейская касса. Разумеется, яхта круглосуточно и

бдительно охранялась экипажем и приданными ему в помощь казаками конвоя. На «Лукулле» барон жил, принимал посетителей, проводил совещания, строил планы и лелеял надежду, что здесь, хотя и невдалеке от берега, он находится в большей безопасности, чем в непосредственном соседстве с разношерстной толпой беженцев.

Николай Николаевич Чебышёв, бывавший на яхте часто, последний раз ступил на ее палубу 14 октября 1921 года и свидетелем происшествия, случившегося на следующий день, не был, убыв в Софию. Там, в Болгарии, 17 октября Чебышёв получил странную телеграмму на французском языке: «Lucullus coula. Glavkoni (так в документе. — А. К.) était en ville» — «Лукулл утонул. Главком был в городе». Вернувшись, взволнованный журналист немедленно отправился к Врангелю, а затем собрал свидетельства очевидцев и попытался восстановить картину гибели яхты: «Случилось происшествие, вероятно, единственное в морских анналах». В тот же день, 17 октября, основной корреспондент Чебышёва граф Владимир Владимирович Мусин-Пушкин отправил своему шефу два густо исписанных листка с от руки нарисованной схемой катастрофы и пояснениями, а, главное, готовым выводом: «Всё дает основание подозревать покушение, тем более что из Батума телеграфировали об особо тщательном надзоре за пассажирами этого парохода. Но об этом печатать нельзя. Пассажиры с этого парохода дают показания об умышленности, так же и английская полиция, бывшая на его борту. Лишь бы не замяли (это тоже пока не печатайте). Расследование ведут французы. В комиссию входит генерал Ермаков»^[155].

Чебышёв не был бы журналистом (и бывшим прокурором и адвокатом!), если бы не взялся за свое, собственное расследование. Его результаты сегодня хорошо известны интересующейся публике:

«„Лукулл“ был протаранен 15 октября около 5 часов дня шедшим из Батума итальянским пароходом „Адриа“. Генерал Врангель и командир яхты находились на берегу, съехав с яхты примерно за час до ее гибели. Спокойное поведение всех чинов яхты и конвоя главнокомандующего дало возможность погрузить на шлюпки и спасти в первую голову семьи чинов яхты и команду. Все офицеры и часть матросов до момента погружения оставались на палубе и, лишь видя непреодолимую гибель яхты, бросились за борт и были подобраны подоспевшими катерами и лодочниками.

Дежурный офицер мичман Сапунов пошел ко дну вместе с кораблем. Кроме мичмана Сапунова погиб также корабельный повар Краса. Позже выяснилось, что погиб еще третий человек — матрос Ефим Аршинов,

уволенный в отпуск, но не успевший съехать на берег.

„Лукулл“ стоял у европейского берега Босфора, почти около самого берега. Для того чтобы яхту протаранить, пароходу надо было перпендикулярно повернуть к берегу, свернув в сторону от своего курса. В день катастрофы прибывший из Батума океанский пароход итальянского пароходства „Адриа“ (бывший „Франц Фердинанд“ австрийского „Ллойда“) возвращался после союзного контроля к набережной Галаты. „Адриа“ врезалась в правый борт яхты и буквально разрезала ее пополам. От страшного удара маленькая яхта стала тотчас же погружаться в воду и в течение двух минут затонула.

Удар пришелся как раз в среднюю часть яхты — нос „Адрии“ прошел через кабинет и спальню генерала Врангеля.

На „Лукулле“ погибли документы главнокомандующего и все его личное имущество. Работа водолазов началась в воскресенье. „Лукулл“ стоял в таком месте, где глубина достигала 35 саженей (около 70 метров. — А. К.)»^[156].

Надо сказать, что поработал Николай Николаевич добросовестно. В собранных им по горячим следам показаниях людей, видевших удар «Адрии» по «Лукуллу» собственными глазами, имеются разночтения, но они относятся главным образом к определению расстояния от яхты до корабля-погубителя, точного курса парохода «Адриа», то есть к деталям, которые действительно могли восприниматься разными людьми по-разному. Так, один неназванный Чебышёвым свидетель утверждал: «„Адриа“, отойдя от контрольной станции у Леандровой башни, в начале шестого часа вечера шла правым берегом пролива в значительном расстоянии от „Лукулла“ (более мили). Дойдя до траверса „Лукулла“ (то есть оказавшись практически на одной линии с яхтой. — А. К.), „Адриа“ взяла направление, почти перпендикулярное первоначальному своему курсу. Когда „Адриа“ подошла к „Лукуллу“ до трех кабельтовых (300 морских саженей) (около 550 метров. — А. К.), казалось, что она свободно разойдется с „Лукуллом“, оставив его с правого борта, но „Адриа“, изменив курс, шла прямо на „Лукулл“. На „Лукулле“ была поднята тревога, и все выбежали на верхнюю палубу.

Сблизившись с „Лукуллом“ на полтора кабельтовых (150 морских саженей), „Адриа“ отдала один якорь, затем застопорила машину и дала задний ход. Но было уже поздно — по инерции корабль шел прямо на „Лукулл“. На расстоянии менее одного кабельтова (100 морских саженей) „Адриа“ отдала второй якорь, но это было уже бесполезно.

„Адриа“ ударила „Лукулл“ в борт под прямым углом и, разрезав борт

„Лукулла“ на протяжении более трех футов (около одного метра. — А. К.), отошла задним ходом. Никаких мер для спасения людей „Адриа“ не приняла: ни одна шлюпка не была спущена, не были поданы концы и круги».

Из этого описания понятно, что «Адриа» дважды меняла курс, как будто нацеливаясь на «Лукулл»: первый раз, оказавшись на траверсе яхты, второй — на расстоянии около 500 метров от нее. Причем после второго «прицеливания», когда стало ясно, что удар придется точно в середину «Лукулла», «Адриа» последовательно отдала два якоря, чтобы не врезаться в берег — как мы помним, плавучий штаб Врангеля был пришвартован в непосредственной близости от него.

Второй свидетель, чьи показания записал Чебышёв, находился непосредственно на палубе «Лукулла» и едва не стал жертвой катастрофы. Казачий подъесаул Кобиев из охраны главкома рассказывал о том же самом:

«15 октября, около 4 часов 30 минут дня, я поднялся из своей каюты и вышел на верхнюю палубу. Встретившись там с дежурным офицером, мичманом Сапуновым, мы начали гулять. Через некоторое время мы обратили внимание на шедший от Леандровой башни большой пароход под итальянским флагом („Адриа“ была примерно вдвое длиннее „Лукулла“ и вчетверо превосходила его водоизмещением. — А. К.).

Повернув от Леандровой башни, он стал пересекать Босфор, взяв направление на „Лукулл“. Мы продолжали следить за этим пароходом. Пароход с большой скоростью, необычайной для маневрирующих или входящих в Золотой Рог судов, приближался к „Лукуллу“. Заметно направление пароход не менял, и было ясно видно, что, если он не изменит направления, „Лукулл“ должен прийти на его пути. Когда пароход был прямо на носу итальянского дредноута „Дуильо“, я, видя, что итальянский пароход не уменьшает скорости и не изменяет направления, спросил мичмана Сапунова, не испортилась ли у него рулевая тяга, так как при той скорости и громадной инерции, какие он имел, он не успеет свернуть в сторону, даже если положить руль круто на бок. Сапунов ответил, что, действительно, что-то ненормально. Но тогда пароход не шел бы с такой скоростью и уверенностью, давал бы тревожные гудки и так или иначе извещал бы о своем несчастье и опасности от этого для других. Тем не менее пароход, не уменьшая хода, двигался на яхту, как будто ее не было на его пути...

Шагов примерно за 300 от яхты мы увидели, как из правого шлюза отдали якорь. Тут нам стало ясно, что удара нам в бок не миновать, так как при скорости, с которой шел пароход, было очевидно, что на таком

расстоянии якорь не успеет и не сможет забрать грунт и удержать пароход, обладающий колоссальной инерцией. Мичман Сапунов крикнул, чтобы давали кранцы, и побежал на бак вызывать команду. Я кинулся к кормовому кубрику, где помещались мои казаки, и закричал, чтобы они по тревоге выбегали наверх. В этот момент я услышал, как отдался второй якорь, и пароход, приблизившись так, что уже с палубы „Лукулла“ нельзя было видеть, что делается на носу парохода, продолжал неуклонно надвигаться на левый борт яхты. Секунд через десять он подошел вплотную, раздался сильный треск, и во все стороны брызнули щепки и обломки от поломанного фальшборта, привального бруса и верхней палубы»^[157].

В показаниях подъесаула Кобиева не отмечаются второе изменение курса «Адрии», его «прицеливание» на врангелевскую яхту, но с борта самой яхты этого можно было и не разглядеть. В главном же они сходятся: итальянский пароход кардинально изменил курс, которым следовал ранее, сразу выбрал своей целью яхту, шел точно на нее, не только определив цель, но и прекрасно сопоставляя сугубо морские, навигационные составляющие: скорость собственного хода и проливного течения, время, которое потребуется на то, чтобы затормозиться якорями и «оттянуться» на них, дабы не врезаться в берег самому. Всё говорит о том, что пароход вела уверенная и крепкая рука профессионального моряка, которым не мог быть даже бывший электрик «Императрицы Марии» Гайдаров. Здесь нужны были знания и холодный расчет опытного капитана, желательно подкрепленные точными лоцманскими сведениями об особенностях судовождения, направлениях и скоростях подводных течений Босфорского пролива.

Здесь в деле появляется замечательная детективная деталь: личность лоцмана. Во многих русскоязычных документах она записана как Самурский^[158] — не самый обычный вариант для моряка в турецком Босфоре, зато эта фамилия хорошо известна на границе Дагестана и Азербайджана, где протекает река Самур. В нескольких населенных пунктах современного Дагестана и сегодня существуют улицы имени Самурского, но не лоцмана. Нажмудин Панахович Самурский, например, первый (в хронологическом смысле) из первых секретарей Дагестанского обкома ВКП(б), член местного ревтрибунала, а позже Особой тройки НКВД. Прямой связи с делом «Лукулла» он не имеет, но в его воспоминаниях фигурирует его родственник Аббас-ага Эфендиев (настоящая фамилия Самурского тоже Эфендиев), который «три года провел в Турции (Константинополь)»^[159]. Чрезвычайно соблазнительно

думать, что кто-то еще из Эфендиев-Самурских мог оказаться на Босфоре в самый нужный момент, чтобы стать тем самым лоцманом, что помог капитану итальянского парохода «Адриа» так удачно «справиться» с течением... Но... это только совпадение.

Мы забыли об одном — официальном расследовании французских властей, которые вместе с англичанами отвечали во время аварии за безопасность судоходства на Босфоре и провели свое, чрезвычайно тщательное и уж во всяком случае не менее авторитетное, чем Николай Николаевич Чебышёв, изучение обстоятельств этого во всех отношениях загадочного дела.

Как мы помним, еще 17 октября о нем сообщал Чебышёву Мусин-Пушкин, и он же упомянул, что в комиссию включен генерал-лейтенант флота Мстислав Петрович Ермаков. Возможно, именно он передал материалы следствия — все 68 листов, переведенные на русский язык, бывшему командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Михаилу Александровичу Кедрову. В составе его архива эти, подробнейшим образом составленные, с приложением двух профессионально вычерченных карт, документы дошли до наших дней^[160]. Есть в нем и показания свидетелей — тех, которых опросил Чебышёв, и тех, о ком он не знал, английских полицейских, которых, кстати говоря, вопреки утверждению Мусина-Пушкина, не было на борту «Адрии», но они следовали за пароходом на всем протяжении короткого пути от Леандровой башни до столкновения с «Лукуллом» и потом помогали спасать тонущих людей. Подшиты там показания механиков, матросов итальянского парохода и, главное, — его капитана и турецкого лоцмана, фамилия которого оказалась не Самурский и тем более не Эфендиев, а Сангуски — Люис Сангуски, родившийся в Константинополе в 1881 году, турецкий подданный, прослуживший лоцманом 14 лет и ранее не имевший ни одной аварии на проводимых им судах^[161]. Со временем, уже в ходе следствия, его фамилия трансформировалась в «Сангурский»^[162], а «Самурским» он, очевидно, стал уже в наши дни.

В 16 часов 30 минут «Адриа» приняла на борт лоцмана у Леандровой башни, где, придя из Трапезунда, простояла около четырех часов в ожидании оформления таможенных документов. Лоцман был случайным — Сангуски только что привел к стоянке у башни другой итальянский пароход — «Паласки» — и перешел с него на «Адрию». Вместе с капитаном Квальтиеро Силlichem из Триеста, командовавшим «Адрией» семь месяцев, но в целом прослужившим на флоте 30 лет, в 17 часов они

подняли якоря и повели пароход к базовой стоянке у пристани Галата — то есть именно туда, где стоял «Лукулл». Это значит, что как минимум их направление на яхту не было случайным, не было необоснованной сменой курса, итальянский пароход не просто «проходил мимо», как думали многие свидетели катастрофы: «Адриа» и «Лукулл» должны были встать рядом. Но они отнюдь не были единственными кораблями, стоявшими на якоре в этом месте. Рядом с «Лукуллом» уже качались на волнах британский крейсер «Кардифф» и итальянский броненосец «Дуилио» — огромные суда с полным вооружением, комплектами боеприпасов и запасом мазута на борту. Кроме того, по Босфору осуществлялось интенсивное движение турецких пароходов и бесчисленных прогулочных катеров, мельтешащих по проливу во всех направлениях.

Допросив всех членов команды^[163], от действий которых могли зависеть скорость и направление движения судна, комиссия по расследованию причин катастрофы проанализировала их показания и сделала собственные выводы о причинах катастрофы. Главный выглядит так: «Первоначальный поворот парохода влево от Леандровой башни сделан рано. Следовало, учитывая течение и хотя бы даже легкий ветер от Норда, выйти значительно выше по Босфору вверх к Черному морю, дабы сделать поворот значительно выше и входить в пространство между „Кардиффом“ и „Дуилио“ (курсив мой. — А. К.), а не под прямым [углом]»^[164].

Это означает, что поворот «Адрии» к «Лукуллу» должен был быть осуществлен обычным образом. Проблема заключалась в своевременности выполнения маневра, в том, под насколько острым углом будет заходить к набережной итальянский пароход, по курсу которого находились два гигантских военных корабля, между которыми он должен был «проскочить», чтобы встать на свое место. Неверное решение этой задачи и привело к катастрофе.

Второй причиной аварии была названа недопустимо высокая скорость, на которой «Адриа» совершала свой маневр: по разным оценкам, от 6 до 12 миль. Чтобы представить себе, что это такое, приведем свидетельство одного из пассажиров парохода: «...гуляя по палубе, я обратил внимание на два прицепившихся к борту кайка, по которым можно было судить о скорости хода „Лукулла“ — они положительно висели в воздухе, и только кормы их были погружены в воду, каковое обстоятельство заставило находившихся в кайках турок перебраться на нос»^[165]. О высокой скорости «Адрии» свидетельствовали все очевидцы, за исключением команды судна,

которая утверждала, что пароход не разогнался более установленного для Босфора предела в шесть миль.

Третьим фактором, приведшим к катастрофе, следователи назвали «плохую работу лоцмана», который не учел особенностей движения в столь сложном для судоходства месте («не дал никакого предупреждения о ненормальном течении»), да еще и при осуществлении не самого простого маневра.

Всего в число причин трагической гибели русской яхты и троих человек ее экипажа были включены девять пунктов, среди которых числились, естественно, и необоснованное лихачество капитана, и невнимание лоцмана к резко пересекаемому курс парохода, фактически «подрезавшему» его ширкету (небольшому пассажирскому суденышку, десятки которых сновали по Босфору, и капитан которого также был допрошен, но в его действиях не удалось установить злого умысла).

В отношении совместных действий капитана и лоцмана в тот момент, когда столкновение с «Лукуллом» стало неизбежным, было заявлено:

«7) Если даже допустить, что лоцман, видя безуспешность своего маневра влево, решил развернуться вправо, то совершенно непонятным является оставление руля влево на борту при отданном правом якорю, при якобы обнаруженном лоцманом обратном течении, и при значительном еще движении парохода вперед, хотя и с отданным уже приказанием в машину „полный назад“, ибо действие руля парализовало принятые лоцманом меры для маневра вправо».

Наконец, последним пунктом значился следующий:

«9) Ни с какой решительно стороны нельзя оправдать абсолютное отсутствие со стороны парохода „Адриа“ каких-либо попыток к спасению личного состава протараненной пароходом яхты, и это совершенно непонятное нарушение принципов морской этики при спасении людей — считаю преступным»^[166].

Несмотря на неоднократное употребление в выводах следственной комиссии слова «непонятно», в целом по прочтении материалов расследования никак не складывается впечатление, что пароход направляла на яхту чья-то рука (если, конечно, не уверовать в это изначально). Во-первых, для того, чтобы совершить таран, было бы крайне желательно, чтобы заинтересованный в этом человек (или группа людей) находился непосредственно на капитанском мостике и имел возможность контролировать действия капитана и лоцмана. Тем достаточно было слегка, совсем чуть-чуть, изменить направление хода судна на первых трех четвертях его пути, чтобы все пошло не так, а показания свидетелей с

берега не дали бы возможность определить это изменение курса — это ясно по рассказам тех, кто видел маневр «Адрии»: все они были неточны. Но совершенно невозможно себе представить, что посторонний на мостике укрылся бы от взгляда других людей, а ни один из подвергнутых допросам не упомянул о чужаках в рубке.

Во-вторых, сам характер осуществления маневра после четырехчасового муторного ожидания по окончании не самого простого рейса наводит на мысли, что капитан Силлич просто устал (а возможно, и здорово «разбавил» усталость горячительными напитками) и решил с итальянской лихостью «припарковать» пароход в своеобразном морском дрефте. Уходя при этом от столкновения с ширкетом и с крупными военными кораблями, которое неминуемо привело бы к гибели самой «Адрии», он попросту проглядел, слишком поздно увидел «Лукулл» и сообразил, что за ним всё — причальная стенка. Все очевидцы говорили об отчаянных попытках парохода затормозить, выбрасывании якорей (в том самом неверном порядке, который установит потом следствие) и резком переложении хода на «Полный назад», из-за которого весь корпус «Адрии» «сотрясался от сильнейшей вибрации». Шокированный ударом капитан не успел взять себя в руки и помочь утопающим — как мы помним, яхта пошла ко дну за какие-то две-три минуты, и помощь оказали англичане и турки, находившиеся поблизости (еще одно свидетельство «засоренности» района стоянки различными мелкими судами).

Это, конечно, не означает, что капитана и лоцмана не могли, например, шантажировать или подкупить, а лучше всего — сочетать эти два фактора принуждения. Тогда за ними можно было бы даже и не наблюдать: они выполнили все, что им было приказано, сами. Вот только никаких доказательств того, что такое вообще могло бы иметь место, найти так и не удалось, и капитана с лоцманом оказалось возможным обвинить только в ошибках судовождения.

Разумеется, и Николай Николаевич Чебышёв, и практически все представители русской эмиграции с нетерпением ожидали совершенно иных результатов расследования. Генерал Ермаков сообщал Врангелю: «С нашей стороны центр давления был, во что бы то ни стало, как этого требовал Главком, <в доказательстве> предумышленного столкновения»^[167]. Не получилось. Причем тот же Ермаков с горечью вынужден был признать, что давить не удастся по многим причинам, в том числе из-за расхлябанности собственных представителей, которые, например, сообщили о двух погибших только через несколько дней (!) после катастрофы, заметив (!), что утонул еще и матрос Аршинов. О нем

вообще решено было не сообщать французским следователям, чтобы не позориться и не подрывать доверие к свидетельским показаниям^[168]. Тем более что один из французских участников расследования вполне резонно возразил на доводы о «красном следе» в аварии предположением, что яхту гораздо проще и надежнее было бы утопить ночью вместе со спящим Врангелем и всем его имуществом с помощью какого-нибудь греческого буксира, который после этого вообще мог бы уйти незамеченным, а не разворачивать поперек Босфора большой пароход с пассажирами на борту, которые все оказались свидетелями в пользу большевиков. И это не говоря уже о том, что при таком количестве агентов Москвы в Константинополе, множестве обозленных на него солдат и офицеров, Врангеля было бы куда проще застрелить, как полутора годами ранее был застрелен бывший начальник штаба деникинской армии генерал Романовский.

Это, пожалуй, одни из главных и самых трудно опровергаемых доводов не в пользу того, что диверсия против «Лукулла» была устроена разведкой красных. Зачем надо было городить такой огород с иностранным пароходом, который неизвестно во сколько сможет пойти на таран, неизвестно, попадет ли (еще одна турецкая лодка проскочила бы перед его носом, капитан сманеврировал бы — и все, конец расчетам), и совсем не факт, что лоцман и капитан не выдадут тех, кто заказывал диверсию. Непонятно (снова это слово), и как можно было скоординировать усилия лоцмана и капитана — судя по их показаниям, «Адриа» приняла на свой борт Сангуски случайно — тот только что отвел к стоянке другое судно. И вместе с ним на борт должны были подняться чины английской морской полиции, которые только по роковому совпадению опоздали к отплытию от Леандровой башни и до самого «Лукулла» преследовали итальянский пароход. Слишком все сложно и ненадежно.

Наконец, против кого была бы диверсия? Против Врангеля? Но, повторимся, его действительно проще было бы застрелить на берегу. Одного желающего, даже смертника, нанять не составило бы таких усилий, как выискивать итальянского капитана, способного за какой-то куш поставить на карту карьеру и свободу. Казна бывшей белой армии? Но так ли это было важно для Москвы, если имевшихся денег в любом случае не могло хватить на обеспечение более чем стотысячного корпуса? А если вспомнить, что еще весной того же года Япония приняла решение вывести из России свой экспедиционный корпус, с тем чтобы эвакуировать на Дальний Восток армию Врангеля, вооружить и обеспечить ее всем необходимым для военных действий^[169], — такая проблема уж точно не

решалась путем отправки на дно 40 тысяч франков, каковые, по некоторым данным, и лежали в сейфе, хранящемся ныне на дне Босфора^[170].

Известия о том, чем кончилось следствие, не обрадовало белых. В отличие от июньских событий здесь не было возможности обвинить в предвзятости турок, а конфликтовать с французами и англичанами, от которых по-прежнему зависела судьба остатков бывшей белой армии, обошлось бы дороже. К тому же с логичными выводами следствия трудно было не согласиться даже им. Сам Чебышёв — человек, приближенный к Врангелю, тогда, в 1921 году, не сумел сказать ничего внятного по поводу того, чья же именно «злая воля» (или Воля?) управляла штурвалом итальянского парохода, едва не убившего главкома, но унесшего жизни трех других человек. Следя за ходом расследования, Николай Николаевич был вынужден лишь в очередной раз констатировать и без того ранее известное: да, «Адриа» поддерживала постоянные оживленные сношения с советскими портами Черного моря. Да, имелось предупреждение (а действительно ли имелось? Его ведь никто никогда так и не опубликовал), что на борту парохода, вероятно, находятся чекисты. Но где их — чекистов — тогда не было?

Неожиданную пассивность командования Русской армии в этом деле, в ходе расследования гибели «Лукулла», в некоторой степени может объяснить и личная позиция Петра Николаевича Врангеля, на которого наибольшее впечатление произвела именно потеря казны. Это вполне объяснимо: в отличие от Чебышёва и остальных своих соратников, которые имели время и возможности разглагольствовать о красных диверсантах, Врангелю надо было кормить солдат уже сегодня, завтра и послезавтра. Вполне возможно, что главком пытался скрыть от армии, и без того находившейся в отчаянном положении, пропажу «неприкосновенного золотого запаса», справедливо опасаясь возмущения солдатских масс, которого и без того только что удалось чудом избежать. Голодное, озлобленное войско, загнанное в болота Галлиполи, могло воспринять пропажу казны как вполне реальную угрозу скорой гибели.

Парадоксально, но вот как раз это соображение — о возможном бунте войск — могло оказаться главным из резонов для осуществления операции не только против Врангеля лично, но и, как ни странно это звучит, именно против его яхты. Ведь при таких обстоятельствах армию было бы легче либо разложить, либо (или вместе с тем) направить ее штыки против бывших командиров.

Вывод относительно причин молчания Врангеля отчасти подтверждает и следующая информация не вполне ясного происхождения: «...как

свидетельствуют выдержки из писем журналиста Филиппова, активно искавшего средства для финансирования газеты „Общее дело“, на яхте находились деньги, принадлежавшие русской армии, вывезенные Врангелем в октябре 1920 года из Крыма в Константинополь. Часть из этих „особых сумм“ выделялась по распоряжению Врангеля для газеты „Общее дело“, с помощью которой Владимир Бурцев пытался объединить русскую эмиграцию для борьбы с советской властью. Однако через несколько дней после гибели „Лукулла“, 27 октября Врангель телеграфировал Бурцеву: „Видал Филиппова. Всей душой рад бы помочь, но сам нахожусь в критическом положении...“ Филиппов в свою очередь 5 ноября 1921 года отправил Бурцеву любопытную телеграмму: „...Мой приезд в Конст. совпал с гибелью яхты, на которой, как вы знаете, хранились деньги и драгоценности... Никому не говорите о гибели денег и драгоц. с яхты, так как ген. В. это скрывает...“^[171].

Очень скоро Чебышёв, наученный горьким опытом летнего расследования и понявший бесперспективность нынешнего, оказался в последнем, пятнадцатом номере «Зарниц» вынужден обреченно констатировать: «Мы не без основания признали характерным в этом происшествии прибытие „Адрии“ из Батума. Некоторые пассажиры „Адрии“ сообщили, что за неделю до выхода „Адрии“ из Батума туда прибыл из Москвы поезд со сформированным в Москве новым составом чеки (сотрудников ВЧК. — А. К.). Только уверенность в том, что следствие „прольет свет на это происшествие“, оказалась слишком оптимистической...

Света на это происшествие итальянскими властями пролито не было».

После того как разбирательство англо-французских властей не нашло злого умысла в странном дрефте «Адрии» и гибель «Лукулла» была признана случайной, дело передали в итальянский суд для рассмотрения вопроса о компенсации пострадавшим. Врангель, а с ним и вся бывшая армия с таким решением смирились. Главком лишь вручил бразды управления судебной тяжбой бежавшему из России присяжному поверенному Павлу Васильевичу Ратнеру и на этом успокоился. Однако Ратнер особого рвения по уголовной составляющей дела не проявил, к пересмотру оно принято не было. Что же касается гражданской части иска, то итальянцы согласились на выплату родственникам погибшего в результате «несчастливого случая» мичмана Сапунова пожизненной пенсии (почему-то только им), косвенно признав тем самым вину капитана «Адрии», но не более. Врангель сменил адвоката, но в 1925 году иск закрыли окончательно с выплатой мировой в размере 25 процентов от

заявленного главкомом ущерба (точная сумма неизвестна)^[172]. Дело сдали в архив, но об этом узнал только узкий круг людей, да и интереса к этому уже не было никакого. Исход разбирательства был предрешен еще тогда — в 1921 году, когда Врангель своими приказами дал понять: главное — почтить память погибших (выделяя при этом опять же только мичмана Сапунова), отметить мужество всего экипажа и решать более насущные задачи, которых перед бывшей армией становилось все больше и больше.

«Приказ Главнокомандующего Русской Армией
№ 350

г. Константинополь, 18 октября 1921 года

Русское Посольство

15-го октября, протараненная пришедшим из Батума итальянским пароходом, погибла на рейде Босфора военная яхта „Лукулл“.

Не стало последнего русского корабля, над коим развевался у Царьграда родной Андреевский флаг...

Геройская смерть дежурного офицера мичмана Сапунова, который, не пожелав оставить родного корабля, пошел с ним ко дну, и беззаветная доблесть, проявленная в минуту гибели всеми чинами судовой команды, показывают, что дух и заветы Русского Флота остались живы в сердцах русских моряков.

Да укрепит подвиг мичмана Сапунова сердца колеблющихся, да вселит он в них веру, что, пройдя через все испытания, воскреснет Русский Флот под сенью Андреевского флага и с ним воскреснет Россия.

Генерал Врангель»^[173].

2 ноября 1921 года главком подписал еще один приказ — № 369: о награждении четырнадцати человек из экипажа яхты «нагрудным знаком в память пребывания Русской армии в военных лагерях на чужбине с датами „1920–1921“ и надписью „Лукулль“», тем самым закрыв дело сам для себя и сотворив приманку для фалеристов на многие десятилетия вперед. Никакого более или менее серьезного резонанса в русской эмиграции гибель «Лукулла» так и не получила — ни тогда, в 1921-м, ни позже.

И все же... Если допустить, что удар парохода «Адриа» кто-то

направил, что это была точно рассчитанная диверсия, то кто, хотя бы какая спецслужба могла ее осуществить?

Вариантов не так уж много. Конечно, это могло быть делом рук чекистов, но не в абстрактном понимании белогвардейцев столетней давности и некоторых нынешних «экспертов», соединяющих в своих умозаключениях все спецслужбы воедино и именующих чекистами всех, кто хоть какое-то отношение имел к тайным службам. Речь о чекистах совершенно конкретных, то есть о сотрудниках и агентах Иностранного отдела ВЧК (в будущем ГПУ — ОГПУ — НКВД). Надо признать, что операции, подобные потоплению «Лукулла» (опять же — если вообще была диверсия), вполне соответствовали стилю и духу службы политической разведки Советской России — достаточно вспомнить многочисленные ликвидации врагов советского строя за рубежом в 1930-е годы, начиная с убийства Троцкого. Однако именно эта служба, точнее, наследовавшие ей Первое главное управление (ПГУ) КГБ СССР и затем Служба внешней разведки (СВР) России, за прошедшие 100 лет опубликовала наибольшее количество рассекреченных документов об операциях той эпохи, а ее бывшие сотрудники — беглые и вышедшие на пенсию — оставили такое количество воспоминаний, что, если бы таран, выполненный итальянским кораблем, направлялся чекистами, кто-нибудь так или иначе уже давно заявил бы об этом. И на официальный запрос о причастности ИНО ВЧК — ГПУ к операции по уничтожению яхты «Лукулл» СВР России ответила ожидаемо однозначно: «...какие-либо сведения в этом отношении отсутствуют»^[174]. Думается, этому ответу можно верить, учитывая, что есть и другие кандидаты в организаторы диверсии.

Например, операцию могла провести организация, называвшаяся Отделом международных связей (ОМС) Коминтерна. Он был создан как раз в июле 1921 года для поддержания контактов с зарубежными коммунистическими партиями (то есть передачи им указаний и денег из Кремля), с левыми организациями за границей, а также создания за пределами Советской России условий для политических и военных выступлений против действующих антикоммунистических правительств. Исследователи деятельности Коминтерна так пишут об этой организации: «ОМС руководил всей конспиративной деятельностью Коминтерна и имел разветвленную систему прямых связей с руководством национальных компартий всего мира. ОМС был, пожалуй, самым законспирированным и секретным из всех других отделов Коминтерна и действовал нелегально. Чисто внешне он полностью копировал любую разведслужбу, то есть

располагал штатом оперативных работников, легальных и нелегальных, курьеров, шифровальщиков, радистов, службой по изготовлению фальшивых паспортов и других документов. Его главной задачей являлось осуществление конспиративных связей между ИККИ (Исполнительным комитетом Коминтерна. — А. К.) и коммунистическими партиями, что включало в себя пересылку информации, документов, директив и денег, переброску функционеров из страны в страну и т. д. <...>

...ОМСу подчинялись все тайные торговые предприятия ИККИ и секретные службы информации. Он занимался также редактированием, шифровкой и расшифровкой донесений. В его функции входило и взаимодействие с ОГПУ — НКВД и Разведупром РККА. Кроме того, в состав ОМСа входил отдел документации... Именно здесь подделывались визы, паспорта, печати, документы»^[175].

Одной из ключевых ошибок в деятельности Коминтерна в целом и ОМС в частности стало активное сотрудничество с легальными (под «крышами» советских дипломатических и торговых учреждений) и нелегальными резидентурами политической разведки (ИНО ВЧК — ОГПУ — НКВД) и разведки военной (Разведупр, IV (затем V) Управление Штаба РККА, ГРУ). По сути, в большинстве ситуаций именно сотрудники ОМС оказывались «слабым звеном» в организации разветвленных советских разведывательных сетей, поскольку были знакомы с чекистами и военными разведчиками с одной стороны (а иногда и сами ими являлись) и зарубежными коммунистами. За последними вели неусыпное наблюдение все полицейские и контрразведывательные силы стран пребывания, а часто еще и иностранные (прежде всего британские) разведслужбы. Неудивительно, что эмиссары из Москвы, как правило, очень скоро попадали в сферу их интересов. Если говорить именно о Турции, то ее компартия была создана на исходе 1920 года и сразу же подверглась жесткому давлению и со стороны турецких властей обоих направлений, и со стороны националистов. А судя по тому, что начальником связи Константинопольского отделения ОМС ИККИ в 1921 году был назначен не кто иной, как начальник оперативной части спецгруппы Разведупра РСФСР Владимир Федорович Воля, турецкий сектор работы Коминтерна опирался на сотрудничество именно с военной разведкой, а не с чекистами.

Если так, то удар по врангелевской яхте мог бы стать результатом операции тоже сугубо военной, задуманной и осуществленной силами бывшей Особой, а ныне Специальной группы военной разведки в составе Воли, Гайдарова, Аболтина, Саблина, еще нескольких человек и, возможно, Елены Феррари. Мог бы. Но стал ли? Иметь возможность и мотив что-то

совершить еще совсем не означает исполнить это в действительности.

Приходится признать: пока что не только нет, не обнаружено, не обнародовано ни единого документа, хоть как-то подтверждающего причастность советской разведки (и военной, и политической) к этой операции. Не представлено ни одной ссылки на реальный исторический материал, хотя бы косвенно намекающий на такую причастность. Нет распоряжений о проведении операции, нет рапортов о ее осуществлении, приказов о награждении участников, воспоминаний, касающихся факта ее проведения, признаний в этом в следственных делах репрессированных (а многие из Особой группы в 1937–1938 годах окажутся под следствием) — вообще ничего. Ни одно свидетельство, кроме того, что появится в нашей истории несколько позже и намертво свяжет «мажорного» врангелевского журналиста Чебышёва и скромную еврейскую девушку из Екатеринослава, взявшую себе звонкий металлический псевдоним Феррари. Но до этого еще далеко.

Пока что и Чебышёв, и Москва, забыв о мимолетном инциденте с «Лукуллом», готовились к решению других масштабных задач. Николай Николаевич в конце 1921 года переехал в Берлин, где позже стал консультантом по политическим делам при военном представителе генерала Врангеля — генерале фон Лампе — и возглавил Союз русских судебных деятелей.

Советская разведка тем временем готовилась... взять Константинополь. 22 апреля 1922 года народный комиссар иностранных дел РСФСР Георгий Васильевич Чичерин сообщал в ЦК РКП(б):

«Коллегия НКВД решительно высказывается за принятие предложения тов. Е. относительно Константинополя. Она считает эти предложения заслуживающими внимания. При проведении этого плана следует, однако, действовать осторожно по дипломатическим соображениям. По словам тов. Е., врангелевцы так резко настроены против Антанты, что они охотно возьмут Константинополь. Престиж Советской России среди них очень велик, но не настолько, чтобы они сами обратились к нам с заявлением о своем подчинении.

После захвата ими Константинополя мы должны будем, по словам тов. Е., обратиться к ним в таком приблизительно ключе: „Антанта водила вас за нос и пользовалась вами против Советской России, но у вас теперь открылись глаза, и мы рассчитываем, что вы больше не будете действовать во вред трудящимся России, мы предлагаем признать Советскую власть, ваши преступления забываются, и вам разрешается вернуться на родину“. У нас должен быть наготове политический аппарат, чтобы в тот момент

бросить его в Константинополь, причем ради большей осторожности переброски политработников могут происходить как будто самочинно, по их собственному желанию. Мы, таким образом, овладеем положением в Константинополе.

Нас нельзя будет винить за события, развернувшиеся помимо нас. После этого мы передадим Константинополь его законным владельцам туркам, но не ангорским кемалистам, отделенным от Константинополя проливами, а константинопольским кемалистам, гораздо более левым, т. е., главным образом, имеющемуся в Константинополе рабочему элементу, который мы организуем и вооружим.

Формально же Константинополь будет нами передан турецкому государству. Тов. Е. полагает, что в тот момент врангелевцы без труда займут Андрианополь (так в тексте. — А. К.) и Салоники, там появятся наши комиссары, и едва держащиеся балканские правительства будут опрокинуты, что может иметь громадный политический эффект и дальше Балкан. В данный момент требуется поскорее отправить обратно тов. Е.; ему нужно 30 тысяч лир»^[176].

Невероятно заманчиво думать, что «товарищ Е.» — это Елена, наша Елена Константиновна Феррари, Люся. Против этой мысли то, что одной буквой, как правило, обозначали фамилию, и то, что Е. — это он, а не она, судя по тому, как построено последнее предложение. И тем более точно известно, что в апреле 1922 года наша героиня находилась там же, где и Чебышёв, — в Берлине.

Глава девятая

Русские не тонут

*Играю в карты, пью вино,
С людьми живу — и лба не хмурю.
Ведь знаю: сердце все равно
Летит в излюбленную бурю.*

*Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья.
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье...*

*Владислав Ходасевич. Москва. 4–6
февраля 1922 года*

Николай Николаевич Чебышёв прибыл в Берлин 23 декабря 1921 года. Редактор «Зарниц» — почившего в Бозе вестника врангелевской эмиграции, очень точно уловил момент коренного изменения ее природы. Осенью 1921 года русским в Константинополе наконец-то начали выдавать визы. Те, кто не только хотел, но и мог это сделать, двинулись в путь (и в этом могла заключаться еще одна причина прохладного отношения к событиям вокруг уже бывшего главкома — все это оставалось в прошлом). С полуострова Галлиполи еще в мае того же года французы вывезли около трех тысяч человек, согласившихся на черную работу в славянских странах Европы. Стремительно пустел и сам Константинополь. Отсюда ехали и на Балканы (и Чебышёв отправился сначала в Сербию), и в основном рядовые солдаты деникинской и врангелевской армий, донские и кубанские казаки в массе своей так и не продвинулись дальше Белграда и Софии. Но многие, кому позволяли средства, знание языков и кто с самого начала с трудом выносил климат «Царьгрязи», устремились вглубь Европы, в города, получившие позже прозвища (наряду с Константинополем) «столиц русской эмиграции» — в Берлин и Париж.

Первым удар цунами эмиграции приняла германская столица, и это

были уже совсем не прежние, хорошо знакомые по 1918 году немцам русские. Тогда сюда из Петрограда и Москвы бежали графы, князья и их сухопарые жены с колье и диадемами в ридикюлях. Теперь Берлин, да и всю Германию, все еще шокированную поражением в мировой войне и революцией, заполнил беглый средний класс: офицеры, унтера, гражданские разночинцы всех мастей и профессий: адвокаты, инженеры, журналисты, бывшие управляющие уже несуществующих имений, агрономы, учителя и преподаватели университетов, чиновники, поэты и писатели со всеми своими чадами и домочадцами. Чуть позже, во второй половине 1922 года, вишенкой на торте русской эмиграции стало прибытие «философских пароходов». Если до этого русская диаспора кому-то могла показаться недостаточно представительной, то теперь по своему интеллектуальному составу она вполне заместила бы население какой-нибудь небольшой республики с университетско-монархическим уклоном в идеологии, если бы такая существовала. Говорят, будущий эмигрант и узник турецкого острова Принкипо^{11} (название которого, кстати, дало имя второму сборнику стихов Елены Феррари) Лев Троцкий так прокомментировал отправку «философских пароходов»: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно»^[177]. У немцев не было выхода, и они терпели.

Их страна, расположенная в самом центре Европы, оказалась чертовски удобна с точки зрения перемещений, а еще не нашедшие родного дома эмигранты пока что много, хотя и вынужденно, путешествовали. Кто-то, как Чебышёв, приезжал сюда с юго-востока, с Балкан или из Турции; кто-то уходил из Польши, куда бежал от лихих рубак Первой конной, весьма своеобразно воспетых Исааком Бабелем. Пробирались беженцы из опасно близкой к Петрограду, но стойко антисоветской Финляндии, ставшей местом спасения для тысяч сынов своей капризной и суровой соседки. Многие ехали из Берлина дальше — в Париж и Лондон. Но не сразу.

Поводом для задержки становилась еще одна причина, по которой Берлин оказался так мил русским эмигрантам. Три глобальные катастрофы часто ходят вместе: война, революция и — экономический кризис. Пережив первое, Германия восстанавливалась от второго, но все еще не могла справиться с третьим. Стремительное обесценивание рейхсмарки привело к процветанию черного рынка и разгулу спекуляций с валютой и драгоценными металлами. Те из русских, кто прошел суровую школу выживания в годы Гражданской войны на родине и умел быстро посчитать

курс обмена муки на денежные знаки Всевеликого войска Донского, кто выжил на константинопольской Пере, мгновенно определяя, сколько может стоить в серебряных мексиканских долларах вывезенная из России коллекция почтовых марок, и у кого еще сохранились мука, марки или доллары (лучше всего, конечно, бриллианты), чувствовали себя в нерадостно бурлившем во время кризиса Берлине как рыба в воде. Еще вчера наблюдавший этих людей точно задыхавшимися в пыльном, грязном и жарком Константинополе, Чебышёв записал в своем дневнике: «Одно радуется. Русские не тонут»^[178].

Выплывали, конечно, отнюдь не все. По разным оценкам, в 1921–1923 годах в Берлине скопилось от 120 до 360 тысяч русских — по понятным причинам учет этой разношерстной, многонациональной и во всех отношениях разноплановой публики был весьма затруднен, и лишь ничтожная ее часть услаждала взгляды генералов от эмиграции своим внешним видом, приметам преуспевания и жаждой жизни. Будучи еще в Константинополе стойким оптимистом, оказавшись в Германии, Чебышёв если со временем и менял свое настроение, то только в лучшую сторону, щеголяя легкой иронией:

«Русских насчитывается в Берлине не менее ста тысяч. Беженской гольтыбы совсем не видно... Пансионеров бездна... К русским отношение доброжелательное...

Понаехало много русских евреев. Говорят, что если на Kurfürstendamm в солнечный день крикнуть „Канторович, вас зовут к телефону“, то человек двести устремится по этому зову»^[179].

Высадившийся в Берлине на два месяца раньше Чебышёва писатель Андрей Белый тоже ёрничал, но не над евреями, а над соотечественниками и, думается, над собой самим: «Здесь русский дух: здесь Русью пахнет! <... > И — изумляешься, изредка слыша немецкую речь: „Как? Немцы? Что нужно им в ‘нашем’ городе?“»^[180].

Раствориться в таком Вавилоне не было проблемой ни для кого. Неудивительно, что и для разведслужб европейских держав грешно было бы упустить такой шанс обзавестись пестрой агентурой разной степени перспективности. Европа раскалывалась, дробилась, частично воссоединялась и сливалась. Предсказать, кто за кого и кто против кого будет воевать завтра, не решился бы никакой оракул. Но руководителям спецслужб приходилось хотя бы пытаться спрогнозировать развитие ситуации и по возможности сразу же принимать меры для изменения хода событий в свою пользу. И прежде всего это касалось тех государств,

которые надеялись занять при новом миропорядке более выгодное положение, чем до сих пор. В первую очередь — Советской России.

Точно так же, как эмигранты стекались из Восточной Европы в Германию, стягивались туда и красные разведчики. И один из железных шпионских потоков направлялся из Турции. Особая группа Аболтина — Воли прекратила свое существование, если так можно выразиться, естественным способом. Советское полпредство в Турции открылось еще в 1920 году, но только двумя годами позже, с постепенным решением проблемы врангелевской армии и продвижением к победе сторонников Ататюрка дипломатические отношения были развернуты в полном объеме. Процесс этот не был простым (в том же 1922 году националисты сожгли здание полпредства РСФСР), и важную роль в нем сыграли представители военной разведки. Новым полпредом Москвы в Ангоре был назначен бывший когда-то главой Региструпра Семен Аралов, что все равно не делает его более близким Елене Феррари — она оттуда уже уехала. Вместо Особой группы в Турции появился мощный легальный аппарат военной разведки — военный атташат посольства во главе с Константином Кирилловичем Звонаревым (Карл Кришьянович Звайгзне)^[181]. Хорошо знакомые нам Федор Гайдаров и Владимир Аболтин до июня 1922 года еще находились в Турции, но затем вернулись в Москву для получения востоковедческого и разведывательного образования в академии, которой позже было присвоено имя Михаила Ивановича Фрунзе. Сам Фрунзе находился в Турции еще с ноября 1921 года — вел переговоры с Ататюрком, надеясь (как станет понятно много позже — беспочвенно) еще более сблизить позиции кемалистов и Кремля^[182]. Ни Фрунзе, ни Гайдаров в турецкую историю не попали (да и вряд ли стремились), а вот Аралов и, как ни странно, бывший в те годы командующим войсками Северо-Кавказского военного округа, а позже ставший председателем Реввоенсовета СССР Климент Ефремович Ворошилов забронзовели в самом буквальном смысле слова. В 1928 году на главной площади Константинополя был воздвигнут двенадцатиметровый монумент «Республика», спроектированный итальянским архитектором Пьетро Каноникой. В центре многофигурной композиции находится, разумеется, Мустафа Кемаль Ататюрк, но слева от него можно разглядеть одетого в военную форму и опирающегося на эфес сабли Ворошилова, а за спиной у того — облаченного в гражданский костюм одного из основоположников советской военной разведки Семена Ивановича Аралова.

Не стал моделью для памятника, вообще закончив свою службу в

армии, Владимир Воля. Он демобилизовался и вернулся «на гражданку» в Москву, не думая, что у военной карьеры будет продолжение^[183]. А вот его сестра решила продолжить начатую в Турции новую жизнь — как Елена Феррари, на новом месте — в Германии. И впервые — одна.

Какие именно интересы могла преследовать в 1922 году в этой стране советская военная разведка? Зачем отправилась в Берлин 22-летняя Елена Феррари со странной легендой то ли русской, то ли итальянской поэтессы (и существовала ли эта легенда вообще)? Какую ценную информацию и от кого она могла получить в Германии? Более того, как все это можно было осуществить, если подозрения относительно связи Феррари с большевиками, по всей видимости, существовали с момента появления ее в Берлине? Вопросы непростые и, увы, за отсутствием многих документов, как правило, не имеющие внятных ответов. Тем не менее чрезвычайно важно понять, насколько заметной фигурой могла себе позволить стать наша героиня и как это соотносилось с ее статусом нелегального разведчика. Для этого придется получить хотя бы поверхностное представление о том, как вообще была устроена система закордонной разведки советских спецслужб в описываемый период.

Известно, что первые резидентуры советской военной разведки были созданы именно в тот период в Австрии, служившей перевалочной базой между Турцией и Германией (Чебышёв тоже добирался в Берлин через Вену), и в Болгарии. Причем в последней, из-за наличия большой массы врангелевских войск, нелегальных резидентур было создано даже несколько, одна из которых работала под «крышей» Советского Красного Креста. А резидентура в Варне, например, «специализировалась» на поддержке болгарского коммунистического движения и, как следствие, действий Коминтерна в этой стране. Причем варненская резидентура была смешанной, одновременно обслуживая интересы Красной армии и Иностранного отдела ВЧК — ГПУ, — пример нередкий. По такому же смешанному принципу изначально была организована в 1921 году резидентура и в Германии. Логика понятна и в определенном смысле обоснована: разобраться, кто в смешении эмигрантов может принести пользу разведке военной, а кто политической, порой было просто невозможно. Вот только таким образом вся тайная деятельность сразу всех советских спецслужб сосредоточивалась в легальных советских дипломатических, торговых и нередко культурных представительствах за рубежом. Стоит ли говорить о том, как это облегчало работу правоохранительных органов всех тех стран, где осуществлялась такая централизация советского шпионажа? Доходило до абсурда. Например, в

конце 1920-х годов в Шанхае одну из гостиниц, где традиционно селились приезжающие в город сотрудники советских представительств, а заодно советские же агенты, прибывающие, в том числе нелегально, с документами граждан совершенно других государств, прозвали «Приют большевиков». И Москва, зная об этом, получая предупреждения от резидентов, продолжала направлять своих агентов, одним из которых был Рихард Зорге (а вместе с ним сразу двое (!) членов его группы), именно в этот отель ^[184].

В Германии в начале 1920-х годов из-за царившей тогда неразберихи (позволившей все тому же Зорге незаметно для полиции «переквалифицироваться» из коммунистов в нацисты) аналогичные фокусы советской разведки пока что проходили без серьезного внимания к ним властей. Но лишь пока. Время показало, что подобная ситуация быстро вырабатывала у разведчиков пагубную и опасную для жизни привычку к пренебрежению элементарной конспирацией. Но осознание этого пришло, на удивление, нескоро.

Вслед за Германией и Болгарией возникли объединенные резидентуры во Франции, Италии, Австрии, Сербии, Чехословакии, Польше, Литве, Финляндии, Турции и Китае. Агентура двух, не слишком любящих друг друга, ведомств шла навстречу друг другу, как сходятся одинаково заряженные магниты, подталкиваемые с двух сторон — и сопротивляться нельзя, и окончательно объединиться законы физики не позволяют. Сразу дала о себе знать конкуренция, но необычного — финансового — характера: разные ведомства предлагали сотрудникам разные оклады и льготы. Каждый амбициозный местный или московский начальник стремился переманить из «братской фирмы» или, как тогда говорили, «от соседей» (в какой-то период все три закордонные организации: ОГПУ, Региструп и НКВД находились на Большой Лубянке), лучшего сотрудника и, наоборот, не прочь был избавиться от своего, не оправдавшего доверия. Началось неизбежное перетекание кадров из разведки политической в военную и обратно, контролировать которое оказалось проблематично, но необходимо. Даже сегодня, когда сотрудник, например, отдела информационных технологий покидает свою компанию, ее руководство должно задуматься: а какие знания и какую базу данных он унесет с собой? Что же говорить о случаях, когда меняли место службы представители самой тайной из всех секретных фирм? А такое случалось сплошь и рядом.

У самих московских начальников началось вполне объяснимое раздвоение административного сознания. Неудивительно — ведь «руководство работой одного и того же, по сути, агентурного аппарата

осуществлялось из двух центров (второго отдела Разведупра и ГПУ), что вносило порой неразбериху в работу на местах — поступали противоречивые директивы из Центра, возникала путаница в денежной отчетности резидентур и т. п. Объединенные резиденты вели переписку с Берзиным, Трилиссером (начальник ИНО ОГПУ) и членом РВС Республики Уншлихтом (куратором Разведупра). Несогласие с теми или иными указаниями Центра приводило в ряде случаев к их невыполнению, так как имелась возможность апелляции к другой стороне или обращения в РВС Республики»^[185].

Впервые вопрос о прекращении этой невероятной неразберихи, где каждый за себя, хотя все вроде бы за дело, был поднят еще в 1921 году, но тогда так и не удалось прийти к устраивавшему всех решению. В качестве вариантов предлагались упразднение политической разведки (ИНО ОГПУ) и передача всех ее возможностей Разведупру. По понятным причинам такое предложение было решительно отвергнуто чекистами. Тогда стали рассматривать вариант передать агентурную сеть, наоборот, в распоряжение Иностранного отдела, но при этом финансирование разведки и контроль за ней — кадровый и финансовый — оставить в руках военных. И это, довольно странное, надо признать, предложение не прошло. Вроде бы удалось достичь компромисса в 1923 году: «...было признано нецелесообразным объединение агентурных аппаратов ИНО ОГПУ и Разведупра, следствием чего явилось разделение зарубежной агентурной сети и отказ от практики назначения объединенных резидентов»^[186]. Но принять решение было сложно, а осуществлять его оказалось и вовсе сущей пыткой. Процесс шел медленно и формально, и самые основные мероприятия удалось завершить только к началу 1925 года — на бумаге. В реальности все обстояло еще хуже. Лишь к исходу десятилетия порочность уже общепринятой к тому времени практики стала настолько явной, что новый начальник Разведупра Ян Карлович Берзин (Петерис Янович Кюзис) докладывал председателю Реввоенсовета СССР наркомвоенмору Клименту Ефремовичу Ворошилову: «До 1927 года наши заграничные резидентуры за небольшим исключением в качестве прикрытия использовали официальные представительства нашего Союза за границей; так, например, в полпредстве или торгпредстве под видом сотрудника находился руководитель нашей агентуры в данной стране, его помощники, фотолаборатория и т. д., *в полпредстве часто принимались агенты* (курсив мой. — А. К.), получались от них сообщения и документы, выплачивались деньги и т. п. В первые годы нашей работы, примерно до 1923 года, работа

шла более или менее гладко, ибо тогда, во-первых, полиция западноевропейских стран не была объединена для борьбы с большевизмом и пропагандой; во-вторых, полиция еще не изучила наших методов работы, и слежка за представителями носила обычный характер. Но начиная с 1923 года работа агентуры из полпредства (торгпредства) становится все труднее. Эти обстоятельства побудили нас еще в 1923 году искать пути к удалению резидентур из официальных представительств нашего Союза и созданию такой маскировочной основы, которая обеспечивает работу резидентур не только в мирное, но и в военное время»^[187].

По принципу объединения кадров и усилий Разведупра Штаба РККА и ИНО ВЧК под «крышей» легальных советских представительств была сформирована в 1921 году и резидентура в Германии, ставшая одним из основных центров советских разведок в Европе. Она получила необычное название: Заграничное представительство Разведывательного управления Штаба Рабоче-крестьянской Красной армии или просто: Берлинский руководящий центр^[188]. И хотя ГПУ в этом названии не упоминалось, управление резидентурой политической разведки в значительной мере осуществлялось отсюда же. Поэтому, как ни странно, определение Елены Константиновны Феррари как чекистки в некотором смысле справедливо. Несмотря на то что она никогда не служила в советских органах госбезопасности, не носила специальных званий ОГПУ — НКВД (часто ее ошибочно именуют капитаном госбезопасности) и, скорее всего, не была агентом ЧК, чекисткой ее можно было назвать применительно к ее первому европейскому периоду службы. Можно, понимая, что, даже являясь сотрудником объединенной резидентуры, она все равно продолжала относиться к военной, разведупровской, части Берлинского руководящего центра.

Возглавил сдвоенную резидентуру дуэт: старый подпольщик Артур Карлович Сташевский (Гиршфельд), получивший документы секретаря торгового представительства РСФСР в Германии, и тоже легализованный официальным путем ровесник Владимира Воли Бронислав Брониславович Бортновский, успевший в Гражданскую послужить в военной разведке на Западном фронте. Под их руководством оказались около двух десятков профессиональных подпольщиков, в основном со знанием немецкого или другого европейского языка, и (к 1924 году) более ста агентов, работавших в Австрии, Болгарии, Германии, Италии, Польше, Франции и Чехословакии и замыкавшихся в своей деятельности на берлинскую резидентуру^[189].

Что именно это была за деятельность? После окончания Первой мировой войны Россия и Германия, вступившие в нее могущественными империями, настоящими супердержавами, вышли из нее крайне ослабленными, отверженными со стороны новых лидеров мирового устройства государствами, в которых изменился, но еще не окончательно (особенно в Германии) установился новый общественный строй. Неудивительно, что Берлин и Москва, которые будут через два десятилетия так страшно противостоять в Европе, пока что стремились друг другу навстречу, а военную часть этого сближения, совершенно не отвечающую принятым итогам мировой войны, но порожденную политическими реалиями Версальского мира, старались максимально скрыть от чужих глаз, засекретить. Уже тогда, в 1922 году, при деятельном и самом непосредственном участии легальной резидентуры Разведупра — ИНО ОГПУ в Берлине началось тайное военное сотрудничество РСФСР и Германии. И, разумеется, помимо этого, как бы между делом советская объединенная резидентура включилась еще и в организацию революционных событий на территории негласного союзника, а затем и у его соседей^[190].

Помимо решения всех этих задач именно Берлинский центр «должен был обеспечивать Разведывательное управление иностранными паспортами и другими документами, необходимыми для советских разведчиков-нелегалов»^[191]. Вполне логичное решение: ведь именно в Берлине обзаводились легальными документами беженцы из Советской России, поскольку там в условиях царившего хаоса легче всего было сменить имя, фамилию, национальность — все, что угодно. Да, по официальной версии, Ольга Голубовская стала Еленой Феррари еще в Турции, и ее личное дело образца января 1921 года это подтверждает, но будет совсем неудивительно, если окажется, что основная метаморфоза ее образа произошла на рубеже 1921–1922 годов как раз там — в Германии. Во всяком случае, в Берлине ее знали пока еще одновременно и как Ольгу Голубовскую (уже без «к» посередине фамилии), и как Елену Феррари. Вряд ли это кого-то удивляло: 22-летняя девушка старательно изображала из себя поэтессу, представительницу угасающего Серебряного века. Образ требовал обзавестись громким псевдонимом вместо невзрачной малороссийской фамилии.

О ее легальном прикрытии мы еще поговорим позже, а пока, раз уж речь зашла о задачах Феррари в качестве представительницы большевистской военной разведки в Германии, мы вряд ли можем не

обращать внимания на тот факт, что она, как и прежде, в Константинополе, хотя бы время от времени находилась в среде ББО — такой аббревиатурой зашифровывали в ОГПУ бывших белых офицеров — и вообще тех, кто вынужден был покинуть Россию и не питал особой любви к большевикам.

Это важно: поскольку Берлинский центр стал «совместным предприятием» с чекистами, никто не снимал с него общую для всей советской разведки в ту пору задачу по работе против вчерашнего и, как предполагалось, завтрашнего противника — белогвардейской эмиграции — разнородной, разрозненной, неохватной. Для Елены Феррари нашелся свой, весьма своеобразный, участок работы на этом огромном поле — интеллигентская, а точнее, писательская прослойка Русского Берлина. Того Берлина, о котором мы знаем больше всего просто потому, что населявшие его русские не расставались со своими карандашами, ручками, печатными машинками и оставили нам такое количество воспоминаний, что только за их чтением можно провести долгие недели.

Причин высокой плотности русских писателей на душу германского населения было две. Первая — историко-экономического характера. В Германии еще до русских революций существовало издательское производство, ориентированное на Россию. В каких-то случаях это были маргинальные и даже подпольные типографии, в которых печатались марксистские листовки и газеты, в других — вполне законные предприятия вроде известного издательства И. П. Ладыжникова, также специализировавшегося на печати прогрессивных (в представлениях царской России) книг и изданий. Теперь, после войны и революций, издавать книги в Германии стало еще и экономически выгодно: дешевая марка, инфляция, масса безработных, в том числе печатников, продающих свои силы и знания очень недорого, да еще и огромная аудитория — русские в самой Германии и оставшиеся временно без достаточного количества типографий и наборщиков жители РСФСР — куда, заключив договоры с представителями советского правительства, можно было продавать книги (и продавали). Все это стало недолгим, но истинным эдемом для русско-немецкого издательского дела. К «Ладыжникову» присоединились издательства «Слово», «Книга», «Petropolis», издательство З. И. Гржебина (пожалуй, крупнейшее среди прочих), «Геликон» и др. Печатали всё: от классики до учебников и современных, в том числе там, на месте, в Берлине живущих писателей и поэтов русской эмиграции. Один только «Геликон» за 1920–1924 годы выпустил около пятидесяти наименований русской прозы и поэзии: романы Ильи Эренбурга, сборники стихов Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, сочинения Алексея

Ремизова, Виктора Шкловского, Андрея Белого и еще многих — и всё это в прекрасном художественном исполнении и с замечательными иллюстрациями Добужинского, Эль Лисицкого, Пастернака-старшего и других известных художников той поры. Для продвижения продукции по всем законам маркетинга было создано Общество ревнителей книжного искусства, проводившее свои выставки, конкурсы, публиковавшее специальные издания^[192].

Илья Григорьевич Эренбург, не раз встречавшийся в Берлине с Еленой Феррари, вспоминал обстановку тех лет, до боли знакомую им обоим: «Не знаю, сколько русских было в те годы в Берлине; наверное, очень много — на каждом шагу можно было услышать русскую речь. Открылись десятки русских ресторанов — с балалайками, с зурной, с цыганами, с блинами, с шашлыками и, разумеется, с обязательным надрывом. Имелся театр миниатюр. Выходило три ежедневные газеты, пять еженедельных. За один год возникло семнадцать русских издательств»^[193].

Еще одна интересная и важная для нашей истории деталь: хозяин собственного издательства Иван Павлович Ладыжников еще с 1905 года сотрудничал с Алексеем Максимовичем Горьким, а в 1918-м они вместе затеяли большой издательский проект «Всемирная литература». «Буревестника» уже тогда явно тянуло к глобальным идеям, и спустя полтора десятилетия эта тяга реализуется в возрождении павленковской серии «Жизнь замечательных людей», но тогда, сразу после революции, осуществить его в Советской России не удалось. Ладыжников перебрался в Германию, где очень скоро встретился с Горьким, ставшим, пожалуй, главной фигурой интеллигентской надстройки Русского Берлина. Пребывание таких людей, как Максим Горький, Владислав Ходасевич, Алексей Толстой, Виктор Шкловский, и многих других мастеров слова в столице Германии быстро создало особую творческую атмосферу. В ней — со всеми ее достоинствами, начиная от возможности свободного, невзирая на писательские ранги, общения в стесненном эмигрантском кругу, и недостатками, вызванными все тем же стеснением и оттого доведенными до крайней стадии взаимными: завистью, ревностью, любви и ненависти, — хотелось вариться, как в котле с чудодейственным творческим зельем, всем, кто считал, что единственное его предназначение в жизни есть тяжкий труд сеятеля разумного, доброго, вечного. В мучительном, но непреодолимом стремлении таких «сеятелей» быть поближе друг к другу, а главное, к признанным мэтрам, к тем, кого полушутя называли «Великими писателями земли Русской», крылась вторая причина, по которой Берлин

мгновенно стал столицей русских литераторов. Один звал в гости второго, у него спрашивал возможности пообщаться с первым третий, в кафе ожидал результатов встречи четвертый, а пятый тут же сообщал в письме, что получил долгожданную визу и готов уже завтра отправиться в путь, дабы лично лицезреть дражайшего NN, коему и просит «передать уверения в совершеннейшем к нему почтении» — цепочке этой не было конца.

И в то же время тягостное положение взаимного творческого и человеческого неприятия почти всех почти всеми осложнялось тяжелейшими политическими противоречиями, которые никуда из писательских голов не делись, оттого что тела их переместились в Германию. Избавиться от них не было решительно никакой возможности: политические взгляды во время войны означали гораздо больше, чем предпочтения того или иного строя, партии, красных или белых. Это был вопрос жизни и смерти, и отвыкнуть от этого было не так-то просто. А надо было либо отвыкать, ибо подмосковные березки никогда в творческом сознании не могли быть заменены березками берлинскими, и тогда мечта «половить простого русского окунька» становилась навязчивой и чрезвычайно болезненной манией, либо... «с кем угодно, лишь бы против большевиков». В Советской России эти настроения, процессы брожения, поиска единственно верного выбора были хорошо известны и воспринимались как важные рычаги давления на первую категорию, на тех, кого власть хотела бы вернуть и использовать в своих интересах. Так как она вернула Эренбурга, Толстого, других — вплоть до самого Горького, и к этому процессу, сама ли или по воле ее начальников, оказалась причастна Елена Феррари.

В 1921 году Москва начала предпринимать значительные усилия, в том числе с использованием агентуры спецслужб, по расколу не только политической, но и интеллектуальной элиты беженцев из России. В Праге возникло, но именно в Берлине вошло в силу движение сменовеховцев, рассматривавших революционные события в России не как ужасную и, главное, — непоправимую, катастрофу, а как очередной этап развития Русского государства. Тяжелейший, трагический, но лишь этап, период, который можно и нужно было пережить. По большому счету это была неплохо организованная пропаганда, и неудивительно, если именно в таком направлении и в работе именно с этим контингентом новых обитателей Берлина можно было ожидать приложения сил бывшего сотрудника агитационного отдела Ольги Федоровны Голубовской, но... Как обычно, у нас нет ровным счетом ни одного свидетельства, что она вообще имела хоть какое-то отношение к акциям по идеологическому разложению

эмиграции. Равно как и не существует и каких-либо доказательств хоть какого-то ее участия в сугубо военных операциях Берлинского центра Разведупра.

Необходимо признать: все, что мы знаем сегодня о жизни и деятельности Елены Феррари в Берлине в 1922–1923 годах, это ее главное увлечение — стихи. Поэзия и те встречи, которые ее увлечение ей подарило и благодаря которым ее имя вообще оказалось известным потомкам.

Глава десятая

Соседи

*Совсем обалдел, ничего не понимаю,
Брожу, как угорелый с подпертым взором:
Трамваи, омнибусы, омнибусы, трамваи,
И моторы, моторы, моторы, моторы...*

*Поезда надо мной, подо мной поезда;
А я-то ворвался с криками:
«Скажите, товарищи, скажите, господа,
Почему в Берлине воробьи не чирикают?»*

*Александр Кусиков. Берлин. 5 марта
1922 года*

«Буревестник революции» — культовый для социалистов всех мастей писатель и поэт Максим Горький^[12] вернулся в Россию в 1914 году. Вернулся после эмиграции, но, пережив войну и две революции, вынести укрепление режима большевиков не смог. Не принял большевистского варианта развития событий. Пользуясь особым положением и отношением к нему Ленина, вступался за арестованных представителей царской семьи, пока еще был смысл за них вступаться, пытался помогать классово чуждым для новой власти (и для самого Горького тоже) представителям интеллигенции. С каждым днем делать это становилось все труднее, поступки такого рода вот-вот могли перейти в статус маленького подвига, а подвиг — всегда на грани жизни и смерти, даже если маленький. Нет, давние заслуги Алексея Максимовича перед большевиками — идеологические, как певца свободы для отверженных, и финансовые — как спонсора партии большевиков, не оказались забыты. Но теперь их стало как-то маловато — времена изменились, и правила игры тоже. Горький еще попытался какое-то время бороться за то, что ему было ближе всего, — за искусство и литературу. С конца 1919 года в Петрограде, где он тогда жил,

начали проводить собрания, дискуссии, лекции и оказывать материальную помощь нуждающимся литераторам в созданном им же Доме искусств. В 1920-м усилиями того же Горького возникла спасающая кому-то жизни ПетроКУБУ (Петроградская комиссия по улучшению быта ученых, в составе ЦЕКУБУ — Центральной комиссии по улучшению быта ученых, созданной во исполнение декрета Совнаркома от 23 декабря 1919 года^[194]), было создано издательство «Всемирная литература» с масштабным планом выпуска двухсот томов, но... Если лично Ленин ценил главного пролетарского писателя и, возможно, понимал вселенский масштаб его таланта или, во всяком случае, мышления, то по мере постепенного, но неотвратимого удаления вождя революции от дел после 1919 года обстановка вокруг Алексея Максимовича становилась все более напряженной. Ходили слухи, что «нижегородского босяка» невзлюбил вступивший в борьбу за партийный трон Григорий Евсеевич Зиновьев^[13], и в характерной для конца Гражданской войны идеологической чересполосице Горький вот-вот мог быть признан «не нашим человеком». К этому добавились очередные проблемы в семье любвеобильного писателя, а главное — со здоровьем. Чахотка — настоящий бич рубежа XIX–XX веков, мучила знаменитых писателей совсем как обычных людей, и Алексей Максимович не стал исключением. Русские врачи советовали не просто лечиться, а лечиться срочно и ни в коем случае не в России. Алексей Максимович совету внял и, пережив лето 1921 года, отправился за границу. Вовремя: «Осенью 1921 года, а также зимой и весной 1922 года, по свидетельству немецких врачей санатория Санкт-Блазиен, Горький был катастрофически близок к смерти: „Туберкулез грыз его, как злая собака“. Он плевал кровью, тяжело дышал, а к тому же страдал цингой и тромбофлебитом»^[195].

Больной поехал не один — со всеми чадами и домочадцами. Взял сына Максима, носившего «правильную» отцовскую фамилию — Пешков, и его невесту Надежду Алексеевну Введенскую, прозванную в семье «Тимошей» (поженились они уже в Берлине). За Горьким последовала и его — уже бывшая к тому моменту, но все еще сохранявшая свое влияние гражданская жена Мария Федоровна Андреева с ее новым «другом» Петром Петровичем Крючковым — якобы связанным с чекистами (связь эту до сих пор никто убедительно не подтвердил, но в нее принято свято верить). Вскоре Крючков стал личным секретарем мэтра. Список сопровождающих, догнавших по пути, присоединившихся в Берлине еще длиннее, но Горькому было не привыкать. В военном Петрограде в

одиннадцатикомнатной квартире писателя их — родственников, секретарей, профессиональных мошенников-приживал — собиралось на жительство более тридцати человек, так что теперь Алексей Максимович с полным правом мог считать себя отшельником.

Добирались все через Финляндию, но в обетованной Германии поселились отдельно — по группам. И на этом псевдоодиочество Горького закончилось. Въехав в страну с севера, он встретился в ее центре с настоящим сонмом своих поклонников, критиков, врагов, добравшихся сюда с юга и запада, — будто специально в ожидании прибытия великого писателя. Каждый, кто мнил себя журналистом, прозаиком или поэтом, узнавал о прибытии в Германию живого классика и рад был оказаться рядом с ним — хотя бы для того, чтобы потом написать, что эта встреча его — неофита, разочаровала. Учитывая особенности публики, собравшейся вокруг персоны Горького, то, что происходило тогда в Германии, можно назвать походом в своеобразную литературную Кунсткамеру с той только разницей, что мэтру не требовалось даже выходить из дома: самые удивительные персонажи зыбкого мира русской изящной словесности приходили в гости к нему сами. Разумеется, особенно много было посетителей молодых, надеющихся, с разной степенью обоснованности, на благословение мастера.

Поэтесса Нина Николаевна Берберова, познакомившаяся с Горьким чуть позже — летом 1922 года, оставила интересное и точное описание первой встречи с Алексеем Максимовичем, сохранив для нас ощущение от беседы только вступающего в литературу автора с «великим писателем земли Русской»: «Разговор перешел на литературу, на современную литературу, на молодежь, на моих петербургских сверстников и наконец на меня. Как сотни начинающих, да еще, кроме стихов, ничего писать не умеющих, я должна была прочесть ему мои стихи.

Он слушал внимательно, он всегда слушал внимательно, что бы ему ни читали, что бы ни рассказывали, — и запоминал на всю жизнь, таково было свойство его памяти. Стихи вообще он очень любил, во всяком случае, они трогали его до слез — и хорошие, и даже совсем не хорошие. „Старайтесь, — сказал он, — не торопитесь печататься, учитесь...“ Он был всегда — и ко мне — доброжелателен: *для него человек, решивший посвятить себя литературе, науке, искусству, был свят* (курсив мой. — А. К.)»^[196].

Наверное, примерно такие же эмоции должна была испытывать Елена Феррари, которая была старше Берберовой всего на два года, литературного опыта имела вряд ли больше, а с Горьким познакомилась лишь несколькими месяцами ранее. По информации, пока не поддающейся

проверке, Елена Константиновна покинула Константинополь несколько дней спустя после гибели «Лукулла» на итальянском же пароходе (не на той же «Адрии»? Если да, то тогда легко можно объяснить, откуда Люся Голубовская могла знать подробности тарана врангелевской яхты — опять же если она их знала). Прибыла во Францию, добралась до Парижа, где «сотрудник Разведуправления рекомендовал ей на несколько дней задержаться во французской столице. Он должен был связаться с Центром, чтобы доложить о благополучном прибытии гостьи из Турции и получить указания о ее дальнейших действиях»^[197]. Из этого утверждения непонятно: то ли гостью ждали, то ли, наоборот, она свалилась как снег на голову, и пришлось запрашивать Москву о том, что делать с загадочной барышней из Константинополя дальше.

В отличие от Польши или Японии после Гражданской войны Франция не считалась наиболее вероятным противником Советской Республики, но в классификации военной разведки относилась к так называемым «Великим державам», разведывательную работу против которых необходимо было организовать в первую очередь и поддерживать на высоком уровне. К тому же до победы на выборах 1924 года «Левого блока» Франция продолжала считаться в Москве одной из самых антисоветских из великих держав. Одновременно руководство Разведупра «в целом понимало недостатки и опасность все усиливающегося крена в сторону ведения разведки с „легальных“ позиций. Однако, представляя огромные трудности в создании нелегальных резидентур и в организации оперативной и бесперебойной связи с ними, отойти от этой практики, несмотря даже на серьезные провалы, не решалось»^[198]. Не решалось в том числе из-за низкого профессионального уровня и чрезмерной и необдуманной энергичности своих работников, нередко пренебрегавших правилами конспирации.

Глава объединенной нелегальной резидентуры политической и военной разведок Яков Матвеевич Рудник прибыл в столицу Франции в феврале 1921 года и немедленно развернул бурную деятельность, включая не только создание широкой агентурной сети, но и устройство специальной лаборатории по изготовлению фальшивых документов для нужд советской разведки, а также организацию перевалочного пункта — «окна» на границе Франции с Италией. Активно работал Рудник и против белогвардейской эмиграции, особое внимание уделяя предотвращению планировавшихся ее активной частью террористических актов на территории Советской России. У резидента быстро появились хорошие связи и среди французских военных, и в Министерстве иностранных дел Республики. Еженедельно

Объединенный разведцентр в Берлине получал из своего парижского филиала невероятное количество донесений — от двадцати до тридцати пяти (!). Однако, как часто бывает при таком размахе, широкая разведсеть была сплетена с участием агента местной контрразведки, и в 1922 году Рудника арестовали, взяв с поличным. Разведчика судили, приговорили к тюремному сроку, и перспективы перед ним открывались теперь совсем не радужные. И хотя Рудник выжил, вышел из тюрьмы и вскоре вернулся на родину, резидентуру пришлось отстраивать заново^[199]. Феррари неизбежно должна была застать Рудника в Париже, и то, что разгром резидентуры ее не задел, — чистой воды везение.

Новым главой разведсети во Франции стал Семен Урицкий — еще одна чрезвычайно важная фигура в биографии Елены Константиновны, хотя существующая ныне популярная тема какого-то особого, едва ли не интимного взаимопонимания, якобы уже тогда установившегося между ними, и дальнейшего благоволения к Феррари со стороны Урицкого не находит документального подтверждения.

НАША СПРАВКА

Семен Петрович Урицкий (1895–1938) — племянник Моисея Соломоновича Урицкого — первого председателя Петроградской ЧК, убитого в 1918 году. Участник Первой мировой войны, прапорщик. Член РСДРП(б) с 1912 года. Активный участник Гражданской войны, один из создателей Красной гвардии, командир бригады особого назначения Второй конной армии.

С 1920 года — в военной разведке. Окончил Военную академию РККА. В 1922–1924 годах работал в Европе в нелегальных резидентурах. Затем отозван в Москву, был начальником Московской (затем Одесской и снова Московской) интернациональной пехотной школы, на руководящих должностях в различных военных округах. В 1929 году окончил Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе, затем снова служил в линейных войсках, пока в 1935 году не возглавил Разведывательное управление РККА.

В 1937 году понижен в должности до заместителя командующего войсками Московского военного округа, затем арестован по необоснованному обвинению и расстрелян.

Кавалер двух орденов Красного Знамени (1920, 1921).
Реабилитирован в 1956 году.

Помощниками нового резидента были назначены две женщины: Ольга Федоровна Голубовская и Мария Вячеславовна Скаковская^[200], позже арестованная в Польше. Интересно, что Скаковская тоже приехала в Париж из Константинополя и тоже не чужда была литературному труду, хотя и несколько специфического характера. Еще в 1919 году, до прибытия врангелевской армии, в столице султанской Турции был издан ее «Иллюстрированный путеводитель» по городу-сказке^[201]. Весьма возможно, что желание писать о Константинополе стало причиной сближения двух помощниц резидента Урицкого, и позже они еще на протяжении нескольких лет сохраняли хорошие отношения друг с другом, несмотря на смены мест службы и даже аресты. Феррари и Урицкий, конечно, тоже были знакомы, но вместе работали мало. Семен Петрович продержался в Париже менее двух лет, после чего, как и Рудник, был арестован французской полицией. Правда, в отличие от своего предшественника ему удалось избежать суда и заключения, и он сразу же и вполне благополучно вернулся в Москву, где получил назначение с понижением.

Первый раз прибыв в Париж, Феррари там не задержалась. Она получила аванс и отправилась в Германию, в распоряжение Берлинского разведцентра. Названные цели служебного перемещения звучали странно: изучение языков — немецкого и итальянского (в Германии?!) и сбор «сведений о военных организациях русской эмиграции» в этой стране^[202]. Если так, то знакомство с Максимом Горьким и упражнения в литературном творчестве командировкой предусмотрены не были. Или мы об этом не знаем. Если позволить себе немного пофантазировать и на эту тему, то можно предположить следующее. Елена Феррари могла убедить руководство, что в состоянии принести пользу в отношении разработки Горького, поскольку имела хорошие шансы на близкий подход к нему. О том, что она писала стихи, наверняка было известно многим, в том числе в Региструре. Это уже повод для знакомства с «Буревестником». Кроме того, как и у Горького, у Елены Константиновны были серьезные проблемы с легкими, на которые позже ее руководство указывало вполне официально^[203]. Мать Люси Ревзиной, как и мать Алексея Пешкова, скончалась от туберкулеза, дочь, как мы помним из рассказа Владимира Воли, тоже страдала от этой болезни. Может быть, в Париже Феррари задержалась

именно потому, что заболела, и начальство, решая, как с ней быть, предложило полечиться там же, где и Горький, а заодно и познакомиться с ним? Или она сама случайно оказалась с ним в санкт-блазиенском «раю для туберкулезников»? Правда, возникает вопрос, кто это лечение оплачивал, учитывая, что пребывание в санатории стоило совсем не дешево...

Возвращаясь из царства предположений в мир реальности, приходится констатировать: когда точно встретились Горький и Феррари, неизвестно. Существует предположение (снова недоказанное, но и неопровергнутое), что это произошло в феврале 1922 года. Основывается оно на одной-единственной фразе из письма мэтра Марии Федоровне Андреевой, отправленного 10 февраля^{14}: «Здесь — хорошо. Конечно, „все в мире относительно“, и в каждом городе есть своя поэтесса, но все-таки жить можно»^[204]. Однажды этот фрагмент оказался нерешительно прокомментирован следующим образом: «Возможно, речь идет о поэтессе Е. К. Феррари»^[205]. Да, может быть, в письме речь шла именно о ней, но может быть, и нет. Например, в описаниях берлинской жизни, оставленных Чебышёвым, встречаются женские персонажи, фотографически похожие на Елену Константиновну, но из этого отнюдь не следует, что это действительно была Феррари. И если в каждом городе есть своя поэтесса, то значит ли это, что поэтесса из Санкт-Блазиена все та же Феррари?

Самое главное совпадение здесь — сроки. Известно точно, что к середине апреля между Горьким и нашей героиней уже шла более или менее активная переписка. На Пасху, 16 апреля, он сообщает ей (и хронологически это первое из известных писем): «...пока посылаю обещанные книжки стихов; обратите внимание на Ходасевича^{15}, а — особенно на Одоевцеву^{16}». Следом, в завершение письма высказывает отношение к адресату, о котором мы уже знаем от Нины Берберовой с поправкой на то, что к Феррари он относится явно лучше, чем-то она его зацепила, произвела впечатление:

«Как Вы живете? Хорошее воспоминание у меня о Вас. Очень милый человек Вы, — да будет Вам хорошо на земле! Жму руку.

А. Пешков».

Он явно знаком с ней не просто очно, но знает ее как начинающую

поэтессу: в письме упоминаются ее стихи, которыми она его снабдила и с которыми писатель «не успел еще ничего сделать». Впрочем, и это совсем не означает, что знакомство произошло именно в феврале. Однако ответ Елены Константиновны значительно интереснее письма Горького к ней.

По загадочной причине это ее письмо (из найденных — тоже первое хронологически, но точно недатированное и предположительно отнесенное ко второй половине апреля) обычно цитируется не целиком, а оттого выглядит странно:

«Алексей Максимович, дорогой мой, ура!

<...> Посылаю Вам мой рассказ в стихах. Пока писала — казалось хорошо, чтоб могло быть посвящено Вам. Но так или иначе — Вам».

Что заставляет Феррари приветствовать Горького ликующим «ура!», а затем сообщать ему, что рассказ оказался не так хорош, как ожидалось, необъяснимо, — если не читать послание целиком. В полном же тексте существует еще один чрезвычайно важный и неизменно пропускаемый исследователями абзац:

«Предприятие наше в Турции сорвалось, и мне сообщили об этом, хотя без всяких объяснений и подробностей. Но главное — все мы свободны! Я в таком бешеном восторге, что голова идет кругом. Понимаете — свободна, без всяких жертв и работы за меня кого бы то ни было!»

Может быть, речь здесь идет как раз об окончательном решении ее шпионского начальства: об отказе от мысли вернуть ее в Турцию и согласии предоставить отпуск для лечения? Неизвестно, но зато понятно, что во время той самой таинственной первой встречи (если она была одна, а не несколько) Елена Константиновна рассказала Алексею Максимовичу много всего, в том числе упомянула о некоей задаче, которая ждет своего исполнения при ее непосредственном участии в Турции, и, следовательно, он уже тогда знал, что она как минимум не только поэтесса. Это совсем не означает, что Феррари выдала ему какую-то часть своей подлинной биографии или своих реальных целей нахождения в Европе — вовсе нет. Она могла придумать любую историю, связанную с неким мифическим «предприятием» в Турции, а Горький мог поверить в него или нет (или сделать вид, что поверил). Важно, что даже первая фаза общения между ними не ограничилась формальным знакомством и обращением неопита к мэтру за советами и напутствиями. В этом смысле интересна и общая оценка, которую Феррари опосредованно ставит себе как личности, — этот мотив проходит пунктиром через несколько ее посланий Горькому, и следующий, опять же пропущенный в цитатах абзац — только начало справедливой самокритики: «Я слышала раз такую фразу: „Какая вы

хорошая и как вас много!“ — меня хоть и совсем не много и качества подозрительного, но я просто счастлива, что принадлежу себе, и даже не знаю, что с собой делать. Сегодня солнце целый день — оно тоже радо за меня».

Теперь, наконец, окончательно становится понятно ее «ура!», вынесенное в приветствие. Елене 22 года, она красива — той самой завораживающей, с ярко выраженной индивидуальностью, красотой, что притягивает к таким женщинам столь же неординарных мужчин. Явно умна, скромна и самокритична, возможно, даже талантлива. Да еще и занимается тем делом, что так любо самому Горькому, будь в каждом городе хоть даже по две поэтессы. У нее за спиной примерно та же биография, что у сотен, если не тысяч девушек ее возраста, бежавших из России, но она, несмотря на болезни, сохранила энергию, способность радоваться — даже просто весеннему солнцу, что делает ее еще более привлекательной. Неудивительно, что Горький воспринял ее как «очень милого человека».

Феррари сообщает мэтру, что вся в работе, что пишет рассказ в стихах на тему, очень близкую ей, книгу рассказов (видимо, в прозе), и еще «задумано страшно много». Тут же отчитывается о впечатлениях от полученных книг и хвалит Ходасевича, на которого ранее «напрасно возводила поклеп». Знает Феррари или нет, но для Горького это признание важно — весной 1922 года Владислав Ходасевич для него любимейший поэт, новый Пушкин. И для нашего повествования в целом он тоже чрезвычайно важная фигура.

НАША СПРАВКА

Владислав Фелицианович Ходасевич (1886–1939) — русский поэт, критик, переводчик, литературовед. Получил признание в литературных кругах после выхода в 1920 году книги «Путем зерна». В июне 1922 года вместе с поэтессой Ниной Берберовой уехал из Советской России в Берлин, где продолжал печататься. В 1922–1925 годах (с перерывами) жил в семье Горького. О характере своих отношений с ним в «Воспоминаниях о Горьком» писал так: «...не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Разумеется, литературные дела возникали и тогда, и впоследствии, но как бы на втором плане. Иначе и быть не могло, если принять во внимание разницу наших литературных мнений

и возрастов».

Поэт признавал авторитет Горького, видел в нем гаранта гипотетического возвращения на родину, но знал и слабые свойства характера Алексея Максимовича, из которых самым уязвимым считал «крайне запутанное отношение к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное воздействие как на его творчество, так и на всю его жизнь». Находясь в Германии, Ходасевич и Горький основали (при участии Виктора Борисовича Шкловского) и редактировали журнал «Беседа» (вышло шесть номеров), где печатались советские авторы.

В 1925 году, смирившись с тем, что возвращение в СССР невозможно, Ходасевич опубликовал в нескольких изданиях фельетоны о советской литературе и статьи о деятельности советских спецслужб за границей, после чего окончательно стал эмигрантом. Ходасевич и Берберова переехали в Париж. С февраля 1927 года до конца жизни возглавлял литературный отдел газеты «Возрождение», с которой сотрудничал и Николай Чебышёв. Позже практически перестал писать стихи и стал ведущим критиком литературы русского зарубежья. Много времени посвятил мемуарной литературе и стал одним из источников, наряду с Николаем Чебышёвым, легенды о «Красной Феррари».

Умер 14 июня 1939 года в Париже.

В том же письме Елена Константиновна говорит не только о Ходасевиче, но и высказывает свое отношение к творчеству писателя-новатора Бориса Андреевича Пильняка и символиста-бессюжетника Алексея Михайловича Ремизова («...странно как-то пишут и думают, наверное, тоже так — не по прямой улице, а всё норовят по переулкам да закоулкам, оттого-то и язык у них такой — и по-русски будто, а иной раз в тупик становишься»). Неудивительно, что бессюжетная проза для Люси Ревзиной, чья жизнь переполнена захватывающими сюжетами, представляется странной. Оба они, и Пильняк, и Ремизов, явно чужие, слишком сложные для Феррари. Шпионка из Екатеринослава это понимает, не спорит, но не может взять в толк, зачем эта сложность нужна: «Я думаю все-таки, что лучше не только не усложнять формы, а, наоборот, упрощать ее (так в документе. — А. К.) до того, чтоб она совсем исчезла, а осталось бы одно содержимое», и в качестве примера приводит Валерия Яковлевича

Брюсова — еще одного признанного мэтра Серебряного века. И в заключение застенчивое: «Алексей Максимович, не слишком часто я вам пишу?» Стало быть, в наших руках только эпизоды их эпистолярного общения, во всяком случае, от нее к нему.

Мастер ответил нескоро — 29 мая. Даже при очевидных лакунах в переписке из его ответа ясно, что он просто не имел сил на это: одолели хвори. Как раз в это время в письме бывшей жене Екатерине Павловне Пешковой он упоминает грипп и «какое-то предисловие к аппендициту», жалуется Шаляпину: «...здоровье трещит по всем швам»^[206]. Майское послание в адрес Феррари вышло одновременно и разочаровывающим, и ободряющим. С одной стороны: «Напечатать Вашу книжку мне не удалось, ибо издатели сейчас новых книг почти не принимают...» С другой: «Возвращаю Вам рукописи, — недурная и оригинальная книжка выйдет из них». И снова особенно примечательным получился финал письма: Горький как будто попрощался с Феррари, явно не рассчитывая ее когда-либо встретить снова или рассчитывая никогда ее не встретить — акценту здесь каждый расставит в зависимости от своего отношения к этой ситуации: «Желаю Вам всего хорошего. Едва ли я встречу с Вами еще раз, — примите же спасибо от сердца моего за Ваше милое отношение ко мне!» А может быть, дело не в эмоциональных нюансах, а в том, что Алексей Максимович вдруг (безосновательно) засобирился в Россию и думал, что судьба разводит его с Феррари навсегда?

Если Елена Константиновна это в письме услышала, то понятно, почему она поступила не так, как должен был бы поступить опытный разведчик, для которого история с поэзией — не более чем мимолетное хобби, а выход на светило русской литературы в эмиграции — невнятная оперативная задумка. Феррари сделала ровно то, что должна была сделать 22-летняя девушка-поэтесса, испуганная предстоящей разлукой со своим наставником: она просто приехала к Горькому, к тому времени уже опять пребывавшему в Берлине. 4 июня она побывала в гостях у писателя. Встреча получилась странной, Елена Константиновна сама это осознавала, в чем немедленно и призналась *post factum* в письме, отправленном на следующий день. Помимо чрезвычайно эмоциональных деталей, напоминающих цитаты из советской киноклассики в стиле «я вся такая внезапная, противоречивая вся», это послание содержит очередной набор странных деталей: «...я зашла в глухой тупик и скоро вообще все для меня будет кончено, только дико хочется еще увидеть Россию, хоть я и знаю, что никакого исхода она мне не даст, и если мои действительно погибли (курсив мой. — А. К.), то мне туда и ехать не надо».

Что значит фраза о том, что Феррари зашла в тупик (заметим — после отмены некоего турецкого плана), и почему для нее все скоро будет кончено? Строить версии в этом деле, как мы уже убедились, занятие сколь увлекательное, столь же и неблагодарное, но вот первое, что приходит на ум: поэтические метания Елены Константиновны не только не интересовали никого в Берлинском объединенном центре, но и не имели никакого отношения к ее работе как разведчицы. Ей дали возможность полечиться, все эти месяцы она пыталась найти себя и, возможно, ощутила свое призвание не в агентурной работе, а в литературе. Но пора и меру знать. Как в таком случае быть со службой? Да еще за границей. Остаться здесь, в Германии, и стать эмигрантом? Тогда отсюда и вот это: «...дико хочется еще увидеть Россию». Но даже просто эмиграция доступна исключительно для тех, кто уже находился по другую линию фронта, кто сделал свой выбор раньше. Для государева человека — разведчика — такой поступок называется предательством, и это явно был не тот путь, по которому готова была идти Елена Феррари. Или же это всего лишь пустая фраза, чтобы потрафить мастеру, который своей ностальгии не скрывал?

Что же касается конца предложения, то оно и вовсе удивительно: «... никакого исхода она мне не даст, и если мои действительно погибли, то мне туда и ехать не надо». Прежде всего, кто такие «мои»? Обычно под этим словом имеют в виду семью. Вполне возможно, что Люся действительно потеряла связь с отцом в 1918 году, как она сообщала об этом в регистрационной карточке сотрудника Разведупра^[207]. Муж — Георгий Голубовский? Входил он в состав Особой группы, действовавшей в Турции, или нет — по-прежнему неизвестно. Но мы точно знаем, что брат — ее любимый брат Володя, который фактически заменил ей отца, был с ней до самого отъезда из Константинополя, и вряд ли она могла предполагать, что он погиб, — для таких мыслей не было ровным счетом никаких оснований. Тогда снова получается, что все это лишь игра? Попытка изобразить перед Горьким жертву страстей войны и эмиграции? Но в чем смысл, с какой целью? «Буревестником» давно и плотно занимались чекисты, едва ли не каждый его шаг был известен в Москве, и ничего принципиально нового о светоче пролетарской литературы Феррари, которую он держал на расстоянии эпистолярного общения, передать не могла. Тем более что сразу после этой их встречи Алексей Максимович покинул Берлин и уехал на море, в Герингсдорф (Херингсдорф) отдыхать от новых знакомых. И уже 6 и 7 июля вместе с Федором Ивановичем Шаляпиным принимал там Ходасевича.

На этом письменном сумбурном покаении Елены Феррари за не менее

сумбурное личное появление в гостях у Горького их переписка надолго прерывается. Точнее, мы не знаем, что именно Елена Константиновна писала мэтру, но 2 октября Алексей Максимович уже из курортного городка Саарова, близ Берлина, отвечал ей, что не может пока точно определиться с уровнем присланных ею стихов — стало быть, она продолжала заниматься поэзией и писать ему.

Первое послание Горького из Саарова одни принимают за выражение особого расположения мэтра, и он действительно не говорит ей плохого, мягко показывая, как можно исправить ошибки, и подталкивая в ту сторону, в которую он хотел бы направить ее творческое развитие. Другим оно, наоборот, больше всего напоминает ответ вежливого редактора настойчивому, но неумелому дилетанту, страстно желающему увидеть свои произведения опубликованными. В этом тоже есть логика: редактор должен прежде всего успокоить автора, особенно если плохо знает человека и не уверен, что его слова могут быть поняты правильно. Вот и Алексей Максимович прежде всего уверяет Елену Константиновну, что ее стихи ему не безразличны: «Поверьте, что судьба начинающего писателя всегда — и всегда искренно — волнует меня». Дальше, как и положено в таких случаях, он говорит о том, что ему не нравится. А не нравится Горькому недоработанность, халтурность предложенных Феррари произведений. Он признаёт оригинальность их формы — ее тяжело не признать, но честно пишет о тревоге, которую они вызывают у профессионала как раз своей недоделанностью: «...чувствую нечто неясное, плохо сделанное и — не знаю, так ли это?»

Горький в первую очередь прозаик, но и поэт тоже. Он понимает, что с формой можно справиться, если постараться. По большому счету это вопрос техники, правильно набитой руки, а не только таланта. Хуже другое: «...видя однообразие содержания их, тоже не знаю — так ли это?» Но Алексей Максимович не только писатель, поэт и редактор. Горький еще и дипломат, и поэтому он тут же добавляет: «Может быть, именно в однообразии их сила? Ахматова — однообразна, Блок — тоже, Ходасевич — разнообразен, но это для меня крайне крупная величина, поэт-классик и — большой, строгий талант».

Горький сознательно авансировал, вероятно, уже испуганную и встревоженную к этому моменту Феррари, предлагая ей место в одном ряду с Блоком и Ахматовой. Он успокаивает ее и возвращается к проблемам техническим. Упрекает за «щегольство» ассонансами, не приводя, впрочем, ни одного примера, и за «нарочитую небрежность рифм», с чем совершенно невозможно спорить и без примеров, делая крайне неприятный

— что для поэта, что для разведчика — вывод: «...чувствую искусственность и не вижу искренности».

Завершает Горький этот разящий анализ единственно верным и звучащим вполне дружески, приглашающим к человеческому общению посылом: «...мне хотелось бы, чтоб Вы сами ответили себе на этот вопрос. Будьте здоровы! Как живете?»

Жила Елена Константиновна непросто. Судя по ее ответу, отправленному через четыре дня, к тому времени она уже познакомилась с Виктором Шкловским и вступила с ним в привычные для того наставническо-ученические отношения.

НАША СПРАВКА

Виктор Борисович Шкловский (1893–1984) — писатель, литературовед, критик.

Печатался с 1910-х годов. В 1914-м ушел добровольцем на войну, но уже через год возвращен в Петроград, где служил в школе «броневых офицеров-инструкторов». В это же время составил два «Сборника по теории поэтического языка» со своими статьями «О поэзии и заумном языке» и «Искусство как прием», а в 1916 году стал одним из создателей Общества изучения теории поэтического языка (ОПОЯЗ), объединявшего приверженцев формализма в литературоведении.

Активно участвовал в Февральской революции, после чего отправился на фронт. Был тяжело ранен и за проявленное личное мужество награжден Георгиевским крестом. Затем служил в Персии, вернулся в Петроград в 1918 году и участвовал в заговоре эсеров, после подавления которого автоматически стал противником советской власти. Бежал, скрывался в психиатрической больнице, а затем перебрался на Украину, где принял участие в неудачном мятеже против гетмана Скоропадского. Вошел в историю как прототип героя «Белой гвардии» Михаила Булгакова — «автопанцирного демона Шполянского».

В начале 1919 года решил отойти от политической деятельности и вернулся в Петроград, где преподавал теорию литературы при издательстве «Всемирная литература», основанном и возглавляемом Горьким. Горький же помог

избежать Шкловскому и преследований со стороны ВЧК, поручившись за него перед председателем ВЦИКа Яковом Свердловым.

Весной 1920 года Шкловский стрелялся на дуэли, отправился на поиски жены, пропавшей на Украине, в рядах Красной армии участвовал в боях в Таврии, после чего снова вернулся в Петроград, начал активно печататься. В марте 1922 года, в связи с начавшимися арестами эсеров, бежал за границу.

Вернулся на родину через год, был близок к футуристам, особенно к Маяковскому, с энтузиазмом участвовал в советском литературном процессе. Счастливо избежал репрессий и стал одним из очень немногих литераторов, которые, не будучи верными ни одной власти, отвоевав в Гражданскую и за красных, и за белых, тем не менее спокойно дожили свой век, пережив все политические перипетии почти до самой перестройки. Автор многих (около семидесяти) книг, в том числе биографии Льва Толстого в воссозданной Горьким серии «Жизнь замечательных людей», многочисленных критических статей и мемуаров.

Скончался 5 декабря 1984 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Шкловского видел в Берлине литератор Роман Борисович Гуль, запечатлевший портреты таких же, как он сам:

«Писатели были разные. Талантливые. Средние. Плохие. Приехавшие. Бежавшие. Высланные. Но жили в Берлине. И потому встречались. <...>

Русские писатели ходили по Берлину, кланяясь друг другу. Встречались они часто, потому что жили все в Вестене. Но когда люди кланяются друг другу — это малоинтересно. Я видел многих, когда они не кланялись.

Ночью шел Виктор Шкловский, подпрыгивая на носках, как ходят неврастеники. Шел и пел на ходу. У витрины книжного магазина остановился. И стоял, чему-то долго улыбаясь.

Когда он ушел, я увидел в витрине — „Сентиментальное путешествие“. Самые искренние моменты писателей бывают наедине со своими книгами. Писатели тогда инфантильны»^[208].

«Сентиментальное путешествие» — книга самого Шкловского, оттого, по мнению бывшего корниловца, будущего масона, а пока сменовеховца и писателя, он ей и улыбался.

Безусловно, Виктор Шкловский любил себя, любил себя в литературе

и литературу в себе, а еще он очень любил наставничество — тоже, естественно, литературное. В Берлине для него это стало залогом выживания. Никаких иностранных языков он не знал и на вращение в западную жизнь не рассчитывал. С белой эмиграцией имел только то общее, что воевал против этих людей на стороне красных. Красных же — советских, и даже розовых — сочувствующих, обоснованно сторонился, поскольку не без оснований боялся чекистов, которые имели к нему серьезные претензии как к бывшему эсеру. Воздуховодом, подающим кислород (да и хлеб насущный заодно) задыхающемуся в Берлине Шкловскому, оставался узкий канал общения с коллегами: дружба с Горьким и полное терзаний и конфликтов коммунально-творческое сосуществование с другими писателями и поэтами — калибром помельче. Учиться у Шкловского хотели далеко не все — это вообще характерно для людей, а уж для писателей, каждый из которых сам себе гений, особенно. Елена Феррари, тогда еще не слишком обремененная амбициями, подпитанными хоть одной публикацией (после чего у многих литераторов земля и небо мгновенно меняются местами), учиться у Шкловского была готова. К тому же его имя ей назвал, возможно, сам Горький.

Судя по некоторым нюансам, общались Шкловский и Феррари малоформально, но не более того. Виктор Борисович состоял в браке, что мало кого из мужчин (как, впрочем, и женщин) останавливало, но главное, он был влюблен (что, впрочем, тоже останавливает не всех). Шкловский питал нежные чувства к Эльзе Триоле — сестре возлюбленной Маяковского Лили Брик. Эльзе же была посвящена книга «ZOO, или Письма не о любви». Оттуда, из этих «писем», самое, наверное, известное, краткое и в то же время самое поэтичное описание Елены Феррари:

«На Kleiststrasse, против дома, где живет Иван Пуни, стоит дом, где живет Елена Феррари.

У нее лицо фарфоровое, а ресницы большие и оттягивают веки.

Она может ими хлопать, как дверцами несгораемых шкафов»^[209].

«Лицо фарфоровое...» Несмотря на то что остались только черно-белые снимки Елены Феррари, все же кажется, что у нее была довольно смуглая кожа. И вдруг — фарфоровая. Не потому ли, что во время пребывания в Германии у нее действительно обострился туберкулез?

Еще один литератор, невзначай наблюдавший за соседством Пуни и Феррари, — поэтесса Вера Иосифовна Лурье не без яда в устах замечала: «Кубист Иван Пуни был красивым мужчиной, но женщинами вообще не интересовался, хотя и был женат. Его живописная манера осталась мне чуждой. Его жена, украинская художница Ксения Леонидовна

Богуславская, со своей стороны, любила женщин и была дружна с малоизвестной поэтессой и художницей Феррари, которая жила на Клейштштрассе в Шёнеберге, напротив дома, где было ателье Пуни. Картины Ксении Богуславской я не могу вспомнить, вероятно, они не произвели на меня особого впечатления»^[210]. Надо заметить, что Ксения Богуславская занималась в основном оформительской (в том числе театральной) и декоративно-прикладной живописью, что делало ее творчество значительно менее заметным на фоне ее мужа, Ивана Пуни, который старательно себя рекламировал, в том числе из соображений содержания семьи. Поэтому неудивительно, что Вера Лурье не могла вспомнить картин Ксении: ей могли отдельно их не показывать, а специально она не поинтересовалась. Стихи же Феррари, видимо, не произвели впечатления настолько, что она не стала даже упоминать об их существовании. Зато отметила занятия Елены Константиновны живописью — ранее об этом никто не говорил. Похоже, что наша разведчица действительно погрузилась в богемную жизнь и, стараясь показать себя с лучшей стороны, стремительно приобретала нужные навыки в разных областях творчества. Что же касается их отношений с Богуславской, то вряд ли Вера Лурье могла «держатъ свечку», но в любом случае начало 1920-х годов — эпоха первой сексуальной революции XX века, когда менялся мир, менялись нравы и после войны очень хотелось жить и пробовать всё — пока есть возможность.

У Феррари на память о берлинском соседстве с четой Пуни остались три стихотворения. «Полночь» посвящена Ивану Арнольдовичу, и мотив одиночества, ответный намек на сопереживание, проглядывает сквозь строки совсем откровенно:

Где-то в углах, в закоулках ночи
Прячет гримасы свои одиночество...

Еще одно стихотворение — «Кафе» посвящено И. П., и, скорее всего, это тоже он — Иван Пуни. Да и мотив тот же:

Не плачь. Слезам не поверят!
Пей и пляши фокс-трот.

Самой Ксении Богуславской Феррари посвятила пронзительное

стихотворение «На углу», оказавшееся ровно вдвое длиннее, чем каждое из посвященных Пуни, и возможно, это вообще одна из самых лучших работ Елены Константиновны. Главная тема стихотворения до оскомины привычна: одиночество берлинских соседей.

Ждать здесь каждым вечером,
Завтра и всегда.
Что дожждаться нечего
Знать — и все же ждать...

Ждать приходилось по разным причинам. Еще одного соседа и по совместительству учителя Феррари достает в Праге. В первой половине октября (одновременно с ответом Горькому) она (строго говоря, предположительно она, ибо подписи нет) пишет туда Шкловскому, уехавшему по литературным делам:

«Милый Виктор Борисович,
ради Бога, ликвидируйте комнатную трагедию. Хозяйка время от времени устраивает мне сцены, и я Вам уже писала однажды, что она по поводу Вас находится в необыкновенной ажитации чувств. Комнату она, должно быть, сдаст кому-нибудь чужому, но там на Вас насчитывается что-то сверх 4 тысяч. Мы заплатили бы, но все сидим без денег. Ничего не придумаешь.

Что там с Вами приключилось? Живы ли Вы и почему никому о себе не даете знать? Я никогда еще не видела, чтобы так быстро забывали хоть и не старых, но друзей. Приезжайте! На днях открываются выставки. Русская (открылась 15 октября 1922 года. — А. К.) и Штурм фрай. Здесь не скучно. Мы устроим фест в честь Вашего приезда. Поедем в Дрезден. Достанем деньги для журнала.

Дука (то, что она использует домашнее прозвище Горького, говорит либо о том, что она стала почти своей в его окружении, либо — в это, скорее, ей очень хотелось верить. — А. К.) живет под самым Берлином и Вы сможете к нему часто ездить.

Нашла помещение для кабачка и человека с деньгами. Напишите хотя бы, что там с Вами и непременно пришлите деньги — ведь Вам на кроны это не много, а они меня так грызут, что мне придется оставить пансион.

Е. Ф.»^[211].

Последняя фраза не должна удивлять — советская разведка всегда держала своих сотрудников и агентов в черном теле, заставляя зарабатывать на содержание самостоятельно. В этом есть резон: деньги, появляющиеся ниоткуда, всегда вызывают подозрение полиции. Центр нередко даже заставлял делиться полученной прибылью, если предприятие оказывалось успешным: всё на благо государства — отсюда и наше сомнение в том, что разведка могла спонсировать лечение своего агента. В случае с Еленой Феррари трудно понять и представить, где она вообще брала деньги на жизнь в тот период. В письме Горькому от 6 октября 1922 года она упоминает какую-то подработку, отвлекающую ее от творчества, но мы не знаем, что это было, так что ее балансирование на краю финансовой пропасти из-за легкомысленного Шкловского — вполне возможная ситуация.

Что же касается ее главного творческого адресата, то в письме Алексею Максимовичу Елена Константиновна оправдывается по поводу использования в своих стихах нелюбимых им ассонансов и поэтической неряшливости, приводя в качестве доводов защиты пастернаковские рифмы и есенинское налегание на гласные. Уверяет Горького в своей искренности и пытается убедить его (что вообще довольно наивно — пытаться убедить мэтра и редактора) в том, что ее сложно сплетенные фразы подобны фразам музыкальным, что у ее стиха есть свой ритм, а неточная рифма «дает новые оттенки сочетанию звуков, разнообразит его, всегда получается какое-то неожиданное закругление, изгиб. Вроде открытых окон: постоянно дует. И для чтения стихов — интересная форма — то сжимает, то растягивает голос».

Распалившись, начинающая поэтесса заявляет: «Если действительно так писать — ошибка, — не знаю, смогу ли дальше писать стихи», но, возможно, это надо читать как: «если они вам не нравятся, я все равно их буду писать, но уже без вас» — ее уже не остановить. При этом Елена Константиновна весьма профессионально говорит о литературе. Возможно, даже более профессионально, чем сам Горький: она явно знакома с новыми течениями, с удовольствием читает новую поэзию и прозу и готова защищать ее перед классиком. А он, уже заняв позицию старика, дает понять, что желает видеть только классические стихи, остальное его раздражает и он всего этого знать не желает.

Примечательно, что такая решительность Феррари характерна для

защиты ею чужих позиций. К собственным прозаическим опытам девушка относится куда более критично, с грустью признавая правоту уехавшего в Прагу Шкловского и жалуясь на его жестокосердие: «Этот человек, несмотря на все свое добродушие, умеет так разделать тебя и уничтожить, что потом несколько дней не смотришься в зеркало — боишься там увидеть пустое место».

Это не может не вызывать к ней симпатию, но проблема заключалась в том, что Елена Константиновна вообще никогда ничему толком не училась — не имела такой возможности. Феррари — типичная самоучка с хорошей памятью и явным лингвистическим даром, но выработать привычку к умственному труду она просто не успела, да и негде было: металлургический завод и шесть классов гимназии плюс два экстерном. Это всё не те места, где вырабатывается такая привычка, потому что запомнить что-то — это одно, а понимать, как это использовать, — другое. Имея талант и желание (те же языки штудировала по рукописным тетрадкам), простой и очевидный для профессионала факт, что для достижения успеха даже гению надо много учиться и много трудиться, она пока попросту не понимала. Феррари только открывала для себя эту истину — с изумлением и некоторой обидой: «Как видно, на одном инстинкте далеко не уедешь, и литературному мастерству надо учиться, как учатся всякому ремеслу. Весь мой душевный и умственный багаж здесь мне не поможет, а учиться я уже вряд ли успею. Я хотела в самой простейшей, голой форме передать некоторые вещи, разгрузиться что ли, хотя бы для того, чтоб не пропал напрасно материал, но, оказывается, и этому-то простейшему языку надо учиться».

При этом она действительно чувствовала слово, у нее имелся дар к литературной работе, и она чувствовала людей. Во всяком случае, своего второго наставника Феррари охарактеризовала по-штирлицевски точно: «... я боюсь слишком полагаться на Шкловского, т. к. он, хоть и прав, но, должно быть, пересаливает, — как всякий узкопартийный человек, фанатик своего метода, — говоря, что сюжет сам по себе не существует и только форма может сделать вещь».

Успокаиваясь к концу письма, Елена Константиновна внезапно сообщает мэтру, что должна вернуться в Россию, хотя и жаль прерываться писать, но... не возвращается.

Горького задела слова молодой поэтессы, и он вступил с ней в дискуссию — пока эпистолярную. Терпимо, а порой даже с любовью относящийся к литературным опытам и дерзаниям творческой молодежи, 10 октября Алексей Максимович сообщает о своих поэтических

пристрастиях, которые многим с высоты сегодняшних дней могут показаться довольно странными: «Я — поклонник стиха классического, стиха, который не поддается искажающим влияниям эпохи, капризам литературных настроений, деспотизму „моды“ и „законам“ декаданса. Ходасевич для меня неизмеримо выше Пастернака, и я уверен, что талант последнего, в конце концов, поставит его на трудный путь Ходасевича — путь Пушкина».

Язык Феррари Горький называет «трепаным», а ее самообманчивое увлечение кажущейся новизной — «распылением души», «печальной уступкой пестроте и дробности жизни, которая не любит и не хочет поэзии и принимает ее охотно лишь тогда, когда поэзия отражает — или — прикрашивает ее уродства». Возможно, сам того не желая, таким образом он как бы дает оценку футуризму в целом, и шире — новаторству в поэзии вообще. Не нравятся Горькому футуристы, а Феррари нравятся, и потому он хочет, чтобы «хороший человек» Елена Константиновна писала более правильные — классические стихи.

«Поэзия — это любовь... — втолковывает Горький Феррари, но объяснение своих слов приводит опять же странное. — Есенин — анархист, он обладает „революционным пафосом“, — он талантлив. А — спросите себя: что любит Есенин? Он силен тем, что ничего не любит, ничем не дорожит. Он, как зулус, которому бы француженка сказала: ты — лучше всех мужчин на свете! Он ей поверил, — ему легко верить, — он ничего не знает. Поверил и закричал на все и начал все лягать. Лягается он очень сильно, очень талантливо, а кроме того, — что? Есть такая степень опьянения, когда человеку хочется ломать и сокрушать, ныне в таком опьянении живут многие». Можно соглашаться или дискутировать с этим утверждением Горького, но трудно спорить с его словами, адресованными непосредственно нашей героине: «Вы не ищете себя, не хотите дойти до ощущения личной вашей ценности и своеобразия вашего, а заключаете Ваше „я“ в сеть кривых линий, пожалуй — чуждых Вам. А хотелось бы, чтоб каждый человек оставался самим собою во всех вихрях, — это особенно ценно во дни, когда множества людей стригутся под одну гребенку».

Феррари ответная критика мэтра задела еще больше. Вообще, октябрь 1922 года — период наибольшей интенсивности и наэлектризованности их контактов. Когда читаешь письма двух этих людей, кажется, что они ведут диалог онлайн (германская почта даже в кризис работала невероятно четко), и диалог весьма напряженный. Елена Константиновна ответила писателю 14 октября. Теперь ее рассуждения касались литературно-

политической области. Некоторые ее мысли о творчестве, например, Пастернака, от которого она ждала возвращения к «классическому стиху» и блестящих успехов именно с этой формой, звучат неожиданно. Феррари с явной симпатией высказывалась о футуристах и теперь, от удивления тому, что Горький не разделяет этих ее чувств, использует речевые обороты екатеринославского детства: «Я очень верю Вам — у Вас в подходе к искусству исторический масштаб, но посмотрите — Репин, мастер и мэтр, на старости лет увлекается футуризмом, так велика потребность обновления формального, кроме остального. Неужели вы думаете, что Хлебников был напрасно и что Ходасевич мог расцвести и не на почве современности? У меня здесь, как говорят хохлы, ум за разум заходит».

При этом Феррари не отрицает того, что футуристы в тупике, они «заблудились», «убеждены в своей правоте, но не вообще, а в данный момент и для себя. Единственная опора — инстинкт (убеждение — придумано), а искусство — любовь идет по инстинкту». Она все равно с ними и защищает их. Похоже, что Елена Константиновна мыслила гораздо глубже, чем можно было бы ожидать от женщины ее возраста и ее литературного опыта. В этом письме, по сути, содержится ее оценка эмигрантской литературы вообще, а может быть, даже всего эмигрантского менталитета в целом.

Любопытный нюанс: Феррари упоминает о разговоре с Ходасевичем, который сказал ей, «что победителей не судят». Они познакомились еще летом, в июле, когда Горький только-только переехал на море. В дневнике Ходасевича есть кратчайшая запись — только упоминание фамилии Феррари, относящееся к 23 июля, — но слышать он о ней должен был много. Певец замечательных ресниц — Виктор Шкловский перед этим встречался с Владиславом Фелициановичем чуть ли не каждый день и вряд ли умолчал о своей ученице. А 30 сентября Ходасевич и Феррари встретились еще раз, и уж теперь точно от обсуждения ее творчества они уйти не могли^[212]. И теперь Елена Константиновна, уже оценившая уровень преклонения Горького перед Ходасевичем, использовала этот, как ей казалось, козырь, к месту ввернув еще и сменовеховскую оценку ситуации в России (верила искренне или провоцировала?): «Победа будет, должно быть, за ним, а футуристам дадут в истории литературы служебную роль — злодея в ложноклассической комедии или вроде большевиков, которые пришли, сделали свое и уйдут». Правда, надо иметь в виду, что о большевиках так говорили не только сменовеховцы, но и хорошо знакомые Люсе Ревзиной анархисты, которые видели себя гораздо левее большевиков.

В том же письме Феррари взывает к снисхождению не только в связи с принятием ею политических позиций, близких Горькому (пусть они и подошли к ним с разных сторон), но и в связи с честностью мотивов, заставляющих ее брать в руки перо: «Шкловский говорил, что я левею прямо на глазах. Не знаю, нужно ли и удачно ли, думаю, что, скорее, да, чем нет, но искренно — определенно да». И, наконец, перед тем, как попрощаться, просит принять ее лично — «хоть на полчаса».

Ответ Алексея Максимовича последовал уже на следующий день. Он, разрешая приехать, как будто извиняется за свои попытки «вправить ей мозги»: «...в даровании Вашем чувствуется мною некая острота, которую, я боюсь, Вы потеряете в поисках формы».

И мне хочется, чтоб Вы, иногда, разрешали себе наслаждение быть простой, даже наивной. В новшествах же стиха нередко видишь нечто акробатическое и вымученное».

Заканчивается послание таким же неформальным образом, как у нее: «Привет».

К сожалению, мы не знаем, как прошла их встреча и состоялась ли она вообще. Как раз в это время вернулся из Праги задолжавший квартирной хозяйке Шкловский, а 3 ноября в организованном эмигрантскими литераторами и художниками «русском клубе», получившем гордое имя (без всякой скидки на эмиграцию!) Дома искусств, случился скандал.

После доклада Ивана Пуни «Современная русская живопись и русская выставка в Берлине» разгорелась запланированная дискуссия с участием Владимира Маяковского и Лили Брик, находившихся в те дни в Берлине, с незапланированным, но неизбежным для подобных условий скандалом с переходом на личности. Скандал оказался неизбежен еще и потому, что до доклада его основные действующие лица собирались на квартире Пуни. Феррари, скорее всего, тоже была там, во всяком случае, эмигрантская пресса упоминает ее среди присутствующих в кафе «Леон» в этот день ^[213].

В результате к 10 ноября Дом искусств стал несколько меньше, чем был. О своем выходе из этого объединения заявили среди прочих Шкловский и Ходасевич (а с ним и Нина Берберова), организовав альтернативный кружок Клуб писателей ^[214].

Горький не мог не быть в курсе этих перемен, затрагивающих основы русско-писательского бытия в Германии, и ему было не до Феррари. Она же вскоре и вовсе покинула Берлин. Сразу после раскола, 7 ноября, она получила рекомендательное письмо от Шкловского на имя эпатажного поэта Ильи Зданевича, который недавно перебрался в столицу Франции из

Константинополя (будет совсем неудивительно, если со временем выяснится, что Феррари и Зданевич были знакомы еще в Турции) — с неизменным упоминанием столь поразивших Шкловского ресниц: «Посланица сего письма и обладательница ресниц образца есть 23-летняя Елена Феррари. Будьте честным всёком и покажите ей всё в Париже»^[215].

И даже если Елена Константиновна уже была в Париже менее года назад и знала французскую столицу не хуже «честного всёка», такое письмо было хорошим прикрытием для легализации во Франции среди перебравшихся сюда эмигрантов. Зданевич и Шкловский, сами того не зная, помогли «Красной Феррари» осуществить поездку в подшефную нелегальную резидентуру, переживавшую трудный период становления.

На этот раз в Париже наша героиня пробыла недолго. 10 ноября на очередной «литературной пятнице» она еще читала в Берлине свои стихи^[216], а уже 29 декабря приняла участие в вечере в Доме искусств — снова в Берлине^[217]. Возможно, именно тогда была сделана редкая и странная фотография. Перед объективом неизвестного мастера сели, встали, угнездились друг у друга на коленках 19 представителей русской диаспоры в Берлине, в большинстве своем художники, поэты, прозаики, профессиональные революционеры и, возможно, даже террористы. В самом нижнем ряду прилег в клетчатой кепочке и с трубкой в руках вальяжный и красивый, легко узнаваемый Илья Григорьевич (Гершевич) Эренбург — блестящий переводчик, журналист, поэт и автор терминов «День Победы» (применительно к 9 мая 1945 года) и «оттепель» (к правлению Хрущева). Его жена и одновременно двоюродная племянница — породистая красавица Любовь Михайловна (Моисеевна) Козинцова расположилась чуть выше и левее. Она открыто смотрит в кадр, на коленях у нее шаль, и сама она на коленях — у замечательного художника-авангардиста Лазаря Марковича (Мордуховича) Лисицкого (тоже в кепочке, но, хоть не клетчатой, зато лихо заломленной на ухо), ставшего известным как Эль Лисицкий. Еще выше и левее и, кажется, тоже на коленях (у кинорежиссера и сценариста Георгия Александровича Кроля и хорошо нам знакомого Виктора Шкловского) Вера Лурье — та самая, что не заметила талантов Феррари, но заметила ее нежную дружбу с Ксенией Богуславской. Виктор Борисович тоже смотрит прямо в кадр. Он весел, но сосредоточен. Может быть потому, что на его крепкую круглую и лысую голову (он всю жизнь очень гордился своей борцовской шеей) опирается всей пятерней еще одна девушка — Елена Феррари.

Наверное, это худшая из всех сохранившихся фотографий Елены

Константиновны. В группе, вместе с остальными, где кто дурачится, кто смотрит в сторону, кто совсем отвернулся, она еще выглядит вполне органично, потому что понятно, что это, скорее всего, праздник, новогодний карнавал и съемка несерьезная, веселая. Кто-то с цветами, журналист и литературовед Александр Васильевич Бахрах — самый правый в нижнем ряду, в смешных полосатых брюках в обтяжечку, еще и щеки нарумянил — не иначе изображал кого-то... Вот и Елена Константиновна вся встрепанная, у нее ярко накрашены губы, широко распахнуты глаза, и левой рукой она поддерживает табличку с надписью по-немецки «Zum Photograph» — «[Пора] к фотографу». И лицо Феррари выглядит тоже гротескно, но вполне уместно для этой конкретной ситуации. А вот то, что именно этот ее портрет был выбран 90 лет спустя, чтобы сопроводить переиздание ее сборника стихов, — крайне странно. Впрочем...

«Пора к фотографу». Могла ли еврейская девочка из Екатеринослава, всего шесть лет назад работавшая подмастерьем у местного фотографа, думать, что пройдет совсем немного времени и она окажется в одном ряду с выдающимися русскими литераторами и художниками, будет состоять в переписке с самим Максимом Горьким? Нет, они, конечно, не приняли ее, и она так никогда не стала для них своей, ровней, но все же... Все же она была с ними и они ей были — соседи.

Глава одиннадцатая

Какая-то «007»

*Я не коснусь твоих волос,
Ни скорбных губ, ни кисти длинной;
И вот опять домой принес
В глазах померкших страх звериный.*

*Грохочет издали трамвай,
Рожки режут все реже, реже.
На столике остывший чай
И черный хлеб, уже несвежий.*

Сергей Рафалович. Берлин. 1923 год

Прошел Новый год, и 8 января 1923 года Елена Феррари вновь корреспондировала Горькому. Отправила ему «новую вещь» под названием «Шюкри» и порадовалась, что вещь предыдущая — «Фазилет» пришлось строгому критику по вкусу. Сегодня мы знаем, что это были ее стихотворения из будущего сборника «Принкипо» («Principiro»). «Шюкри» там называется «Madama», а «Фазилет» — «John». В постскриптуме она просит совета мастера: «У меня уже давно был соблазн вводить слова на другом языке не переводя их, как я наконец сделала здесь („Лимонли, каймакли дондурма“ — по турецки — „лимонное, сливочное мороженое“, „Елла“ — по гречески „иди сюда“, а „гель бурья“ — то же самое по турецки. Разница в счете времени — 6 часов, т. е. в полдень по турецки 6 и в полночь тоже). Вообще же при стихах этого объяснения не будет. Очень хотелось бы знать, как вы это найдете?»

Как воспринял Алексей Максимович «новую вещь», мы еще узнаем, а пока о другой важной части письма. Елена Константиновна передала мэтру просьбу о встрече от Сергея Рафаловича. Это еще одно судьбоносное имя, точнее — фамилия, в жизни нашей героини, а потому о представителе многочисленного одесского купеческого рода необходимо рассказать подробнее.

НАША СПРАВКА

Сергей Львович (Зеликович) Рафалович (1875–1944) — поэт, прозаик, драматург, театральный критик. Из буржуазной еврейской семьи: отец, Лев Анисимович, — финансист, потомственный почетный гражданин; мать, Елена Яковлевна, — дочь крупного банкира. Раннее детство провел в Одессе. В 1884 году семья переехала в Петербург. Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, специализировался на романских языках. Одновременно прослушал три курса на юридическом факультете. В 1897-м задерживался полицией за участие в студенческих беспорядках. После окончания университета пробыл два семестра вольнослушателем в Сорбонне. В 1897–1906 годах служил в Министерстве просвещения, Государственном контроле, Министерстве финансов, с 1909-го по 1917-й состоял при Агентстве министерства в Париже, возглавляемом Артуром Германовичем (Абрамовичем) Рафаловичем, на чьей дочери женился, и, возможно, был причастен к тайным операциям царской разведки в Европе.

Стихи писал с детства, публиковался с 1893 года, с 1900-го — в Париже на французском языке. Много печатался в России, где был хорошо известен как «поэт, успевавший за модой». После революции перебрался в Баку, а затем в Тифлис, где успел побывать председателем Союза русских писателей в Грузии, переводил грузинских поэтов.

В 1922 году уехал во Францию. В эмиграции печатал стихи в газете «Возрождение», опубликовал сборник поэм «Горящий круг», сборники стихов «Зга», «Август» и «Терпкие будни», значительная часть которых посвящена размышлениям о превратностях скитаний на чужбине, и три романа: «Шура. Дитя революции» (Schoura. Une enfant de la revolution. Paris: Editions de Tambourine, 1931); «Его самая большая любовь» (Son plus grand amour. Paris: Editions Montaigne, 1933); «Джоконда. Роман о любви Леонардо да Винчи и Моны Лизы» (La Joconde. Le roman d'amour de Leonard da Vichi et de Mona Lisa. Paris: Editions Fasquelle, 1935)^[218].

Умер в Париже.

Понятно, что для Елены Феррари Сергей Рафалович в тот момент мог оказаться даже более авторитетной фигурой, чем Виктор Шкловский: во-первых, он был на 24 года старше Люси. Во-вторых, у него имелся мало кем сравнимый опыт литературного творчества и, что немаловажно, публикаций — везде, куда бы ни забрасывала его судьба, он неумолимо продолжал печататься. Рафалович никогда не принадлежал к поэтам «первого ряда», но он, безусловно, был профессионалом. В-третьих, Сергей Львович — трижды свой: в прошлом приличный еврейский юноша, который, образно говоря, сражался на баррикадах, арестовывался царской полицией, стал главой Союза писателей (пусть и в Грузии) и теперь очутился в Европе вместе с Феррари — и тоже не в первый раз. К тому же, судя по фото, он был весьма представительным мужчиной, трижды — и всегда счастливо — женатым, и в его творчестве немало внимания уделено поэтическому исследованию чувств участников любовных треугольников.

В стихах, которые Феррари и Рафалович в одно и то же время писали в Берлине и Париже, немало общих символов и мест не только в географическом смысле: тоска по возлюбленному / возлюбленной, имена которых не раскрываются, возвышенность чувств, одиночество, грусть, дождь. Даже трамвай — самый, наверное, часто появляющийся механический герой Серебряного века (видимо, производил на поэтов большое впечатление), шел по общему для всех них маршруту. Сергею Львовичу Елена Константиновна посвятила стихотворение «Полдень» (Ивану Пуню в противовес досталась «Полночь»):

Бежали улицы зигзагами куда-то,
Метался испуганный трамвай,
А над домами, в облаках лохматых,
Кривлялась рыжая большая голова.
Беги в толпе, зови — и разорвись от крика —
К тебе не скосят мозаичных глаз
Соборы — темные, закопченные лики, —
Не вздрогнет в панцире асфальтовом земля...

Тема одиночества в стихотворениях, посвященных и Пуню, и Рафаловичу, конечно, едина. Разница только в освещении. В «Полночи» человек существует один или, точнее, один на один со своей тенью и единственная возможная награда для него — случайно брошенный «окурок» городской любви. В «Полдень» улицы полны толпою, рассеялся

мрак, тени стали короче и не кажутся призраками... вот только героя по-прежнему как не было, так и нет. Одиночество переместилось «в облака лохматые», но суть его от этого не изменилась: пустота. Прошел год, как Елена Феррари оказалась в Европе, — немалый срок для той быстро проживающей себя эпохи. Она обжилась, обзавелась знакомствами, о ней даже начали сплетничать — верный признак подступающей популярности, а одиночество... Одиночество как было, так никуда и не делось. Разве что поднялось в облака.

Спасения от этой болезни, прогрессирующей от сплина к депрессии, существует два: работа и любовь. Если под работой понимать разведку, то нам снова остается только догадываться, чем занималась Елена Константиновна, была ли она в этот период вообще связана с нелегальной деятельностью. Что касается поэзии, то начало 1923 года стало для нее бурным и непростым. 10 января, в среду, она ужинала в звездной компании, знакомой нам по праздничному групповому фото, собравшейся в культовом для русских писателей кафе «Прагер Диле» на Прагерплац: Ходасевич, Шкловский, Лурье, Эренбург, Постников, Бахрах и др.^[219]. А на следующий день Феррари получила письмо от Горького.

Длинное, жесткое, местами ядовито-саркастическое послание начиналось с согласия принять Сергея Рафаловича. Горький одобрил стихотворения Феррари «Джон» и «Мадам» (те, о которых она упоминала в письме от 8 января), назвав их лучшим из того, что до тех пор выходило из-под пера нашей героини, но не преминул хлестко заметить автору:

...разумеется, «каймакли», «дондурма» и прочие словечки требуют объяснений, хотите Вы этого или нет. Иначе получается нечто вроде песнопений наших хлыстов:

Саварсай пурана
Майя дива луча...

И это было только вступление. Далее Горький предупреждает поэтессу, что сейчас начнет «обижать» ее и: «Сударыня! У Вас есть ум — острый, вы обладаете гибким воображением, Вы имеете хороший запас впечатлений бытия и, наконец, у вас налицо литературное дарование. Но при всем этом, мне кажется, что литература для Вас — не главное, *не то, чем живет душа ваша* (курсив мой. — А. К.) и, вероятно, именно поэтому вы обо всем пишете в тоне гениального Кусикова, хотя Вам, конечно,

известно, что каждая тема требует своей формы и что истинная красота, так же как истинная мудрость — просты».

Фраза о том, что литература для Феррари не главное, настолько хорошо известна, что комментировать ее вряд ли есть смысл. Горький был мастер. Количество стихотворений у Феррари время от времени переходило в качество, и мэтр за это ее заслуженно хвалил, но стабильности в профессиональном росте Елены Константиновны он не видел, да ее — стабильности — и не было, и Алексей Максимович не стеснялся сказать поэтессе об этом. Феррари творила, писала, Горький (как и, вероятно, Шкловский, а возможно, и Рафалович) правил, но дебютантка огрызалась, пыталась доказать мастеру, что не прав он, а она просто «так видит». Это раздражало мэтра, и упоминание Горьким еще одного известного их берлинского соседа в этом контексте не случайно.

Алексей Максимович не взял «гениальность» Кусикова в кавычки, но они легко угадываются, прочитываются во все том же его раздраженном и саркастическом тоне.

НАША СПРАВКА

Александр Борисович Кусиков (Кусикян) (1896–1977) родился в многодетной армянской семье в Армавире и позже любил обыгрывать свое «кавказское» происхождение, представляясь то черкесом, то карачаевцем, то просто горцем. Окончил гимназию и поступил в Московский университет, но проучился там всего полгода и в 1915 году был мобилизован. Служил в драгунском полку, был ранен. После революции некоторое время был военным комиссаром Анапы, до 1921 года служил в Красной армии.

Переехав в Москву, познакомился с Брюсовым, Маяковским, Бальмонтом, но особенно сблизился с Есениным. В 1919 году был избран заместителем председателя Всероссийского союза поэтов. Жил по соседству с домом, где в 1919-м проживали Люся и Георгий Голубовский, и почти ровно год спустя был там же арестован ЧК, но благодаря вмешательству Якова Блюмкина, ходатайствовавшего за друга Есенина, отпущен. В 1922 году отправился в зарубежную командировку вместе с Борисом Андреевичем Пильняком. Открыто высказывал просоветские взгляды, за что получил кличку «Чекист», но в 1924 году

внезапно переехал из Берлина в Париж и стал невозвращенцем. До начала 1930-х годов много издавался за рубежом, потом перестал писать совсем. Самое известное произведение Александра Кусикова — стихи к романсу «Бубенцы» («Слышу звон бубенцов издалика...»).

Умер в Париже.

Кусикова в Берлине не полюбили. Всех знавший, везде бывавший и обо всем писавший, Николай Николаевич Чебышёв довольно точно передал ощущения местной публики от выступления гостей из Москвы, состоявшегося во второй половине февраля: «С развязным видом, в расстегнутой рубахе читал свои стихи новое светило „черкес“ Кусиков. И поразил всех как своей сильной поэмой „Пугачев“, так и покроем модного смокинга „крестьянин“ Есенин»^[220].

Пролетарский писатель Алексей Максимович Горький, встретивший впервые Кусикова вместе с Есениным и Айседорой Дункан в Берлине на квартире Алексея Николаевича Толстого, воспроизвел впечатление от встречи на схожей с врангелевским журналистом ноте:

«— Тоже поэт, — сказал о нем Есенин, тихо и с хрипотой.

Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней»^[221].

Думается, многое здесь связано с конфликтом поколений: Чебышёв и Горький, какими бы разными людьми они ни были, принадлежали к одной возрастной когорте, а Есенин, Кусиков и Феррари — к другой. Вторым серьезнейшим раздражающим фактором для берлинских соседей стала нескрываемая поддержка Кусиковым и его друзьями (которые очень скоро окажутся по другую сторону баррикад и поменяют цвета и знаки, как по мановению волшебной палочки — «переобучаются в полете», как говорят в народе) большевиков и шире — сменовеховцев, и тут уж любое творчество, всякий талант становились вторичны. В лучших традициях русского народного творчества появились частушки, в которых упоминались многие из тех, кто уже подал или готов был подать руку Москве, в том числе и наши новые знакомые:

Все совсем себя раздели,
Ходят и без трусиков —
Кто был раньше в «Общем деле»^{17}
Стал почти что Кусиков.

Прилетел аэроплан
Из столицы Ленина —
Вышла в нем мадам Дункан
Замуж за Есенина...

Айседора с новым мужем
Привезла совдеп сюда.
Были времена и хуже,
Но подлее — никогда!^[222]

Горький не оперировал такими категориями, как Чебышёв, но при всей его любви или, во всяком случае, уважении к поэтической молодежи и ее исканиям в литературе даже Есенин для него поэт чужой, «лягающийся зулус». Что уж тут говорить о Кусикове, который для мэтра явно и талантом не вышел, и держал себя еще наглее, нахрапистее, чем синеокий рязанец, а за спиной у этой наглости — только «звон бубенцов издалика», который, как оказалось со временем, запомнился больше, чем стихи многих когда-то популярных поэтов. Что уж говорить о и тогда малоизвестном, а ныне почти забытом творчестве Елены Феррари.

Существует мнение, что одно из лучших ее стихотворений, посвященное некоему А. Б., адресовано как раз Александру Борисовичу Кусикову^[223].

Другой А. Б. — Александр Бахрах считал субъектом посвящения себя. В письме поэту и переводчику Владимиру Соломоновичу Познеру от 23 мая 1923 года Бахрах вскользь, пренебрежительно и оскорбительно обронил: «Пуней (супругов Пуни. — А. К.) и Феррари почти не вижу. Знаю, что Феррарь выпустил (так в документе. — А. К.) книгу стихов, озаглавленную „Эрифилли“ — прости за выражение. Книги она мне пока не дала, хотя там есть мне посвященное стихотворение»^[224].

Жаль, если Бахрах был прав относительно посвящения, потому что, судя по стихам, Елена Константиновна относилась к адресату значительно теплее, чем он к ней:

Золото кажется белым
На темном загаре рук.
Я не знаю, что с Вами сделаю,
Но сама — наверно, сгорю...

Кажется, внутри, в душе у этой женщины лампа накаливания жизни перегорала не раз, но пока ее «жег глаголом» Алексей Максимович: «Надеюсь, что я смертельно поразил Вас, и больше не стану отливать жестоких пуль для убийства женщины, которая может — *a потому должна* — *найти свою форму для своего содержания* (курсив мой. — А. К.). Пока же она все еще говорит чужими словами и строит их по чужим планам. Турецкий, греческий и другие лексиконы в данном случае не могут помочь».

Это справедливая критика, хотя и горькие для начинающего автора слова. Несмотря на них, сам Горький был мягок и добр к ней, как отец к возлюбленному чаду, как сердечный учитель к способному, но ленивому ученику. Он и сам это признавал и пытался несложную эту мысль донести до нее: «Ищите себя — вот завет Сааровского старца, который любит литературу и относится к Вам серьезно и сердечно.

Можете ругаться и спорить, но я остаюсь при своем: Вам надо выработать иную, очень свою форму, в этой же Вы себя искажаете и можете погубить».

И, наконец, итоговое: «Вы мало работаете. Поэзия для вас — не главное».

Что тогда было главным для Елены Константиновны, Горький мог догадываться. Стоит однако заметить, что серьезному соблазну многих современных авторов объявить ее суперразведчицей, которая в 1923 году искусно плела агентурную сеть вокруг русского бомонда в Берлине, противоречат историческая обстановка и простейшие логические рассуждения.

С окончанием Гражданской войны и созданием в декабре 1922 года Союза Советских Социалистических Республик высшим руководством нового государства была поставлена под сомнение сама резонность существования военной разведки, по крайней мере в тех масштабах, в каких она действовала до сих пор. В самом деле, если война кончилась, а следующая в перспективе ясно не просматривалась, то зачем нужно содержать такой дорогостоящий и небезопасный аппарат, как военная разведка? Неудивительно, что в скором времени Разведупр сократили до масштабов всего лишь Разведывательного отдела Штаба РККА. Еще менее удивительным стало скорое осознание непродуманности и недалковидности этого решения, но в целом зима 1922/23 года — время относительного затишья в бурной деятельности советской военной

разведки в Европе. Шпионы замерли: неясны были цели, не поставлены четко задачи, не хватало денег. К тому же военная разведка не выдерживала конкуренции с «соседями» — более развитым и лучше подготовленным аппаратом агентурной разведки ИНО ОГПУ, в который стекалась практически вся секретная (политическая, экономическая и военная) информация, добываемая агентурой и приносимая добровольными помощниками в представительства Советского Союза по всему миру. Недолгое затишье наступило и в Германии. Разведотдел Штаба РККА должен был активно заниматься проблемами военных формирований эмиграции, но в Берлине, где работала Феррари, их просто не было, а круг ее общения в «Прагер Диле» никак не мог интересовать «Шоколадный домик» на Знаменке, как называли свою штаб-квартиру военные разведчики. И Елена Константиновна, неизвестно откуда изыскивая средства существования, продолжала писать. В том числе Горькому.

Зимняя пауза в общении с мэтром была так же велика, как и летняя. Во всяком случае, первое известное нам письмо от нее к нему датировано только 12 марта. Тон — сдержан и даже суховат — может быть, это была просто срочная записка, которую надо было быстро написать и отправить? И все же... Меньше года прошло от попыток делиться с Горьким радостями в своих личных и творческих делах, а всё — от былого щенячьего-гимназического восхищения не осталось и следа. Да и повод для письма найден весьма деловой: Феррари просит Алексея Максимовича об интервью «для газеты „Information“ (орган французских радикал-социалистов, одной из крупнейших политических партий Франции того времени. — А. К.) о современной русской культуре и литературе в частности», и следовательно, о ее знакомстве с одним из двух главных русских писателей за границей к тому времени стало известно многим.

Есть и второй повод: Елена Константиновна отправила Горькому на оценку несколько своих сказок, тоже, увы, несохранившихся. Отправила, официально попрощалась («Уважающая Вас Е. Феррари») и, наверное, затаила дыхание.

Ответ был скорым и снова обнадеживающим: «Поздравляю Вас, Елена Константиновна, рассказы, на мой взгляд, очень удались Вам!

Более того: мне кажется, что Вы нашли тот, эпически спокойный, очень, в то же время, человечный тон, который ныне ищут многие менее успешно, чем это удалось Вам. И хорошо чувствуется под этим тоном, внутри его скрытая лирика. Хорошо.

И, конечно, очень советую Вам продолжать эти очерки, сделать их штук 15–20, целую книжку».

Еще через три дня, 19 марта, Феррари, окрыленная словами Горького («Я не была уверена в том, что именно тон моих сказок покажется Вам хорошим»), не скрывая радости и благодарности, сообщает ему, что продолжает писать, собирается прислать учителю новые сказки, но не сумеет подготовить книгу — просто не успевает. Ей пора домой, в Россию, но пусть не 15–20, а десять сказок она еще надеется написать до отъезда.

Примерно в это же время и Шкловский сообщает Горькому: «Посылаю к Вам десять новых стихотворений Елены Феррари. Кажется, она пишет теперь лучше, чем раньше. Посмотрите их»^[225]. Десять стихотворений и несколько сказок за пару месяцев зимы — неплохой результат. Конечно, Елена Константиновна не отличалась такой работоспособностью и «писучестью», как другой их сосед — Алексей Николаевич Толстой, но все-таки ее берлинскую зиму 1923 года можно назвать своеобразной «болдинской осенью». А дальше произошло нечто странное.

В Россию Феррари не уехала. 22 апреля она обратилась к Горькому с новым письмом, судя по которому незадолго до отъезда писателя у нее состоялся разговор с его сыном Максимом. Беседа, вероятно, носила личный характер и была связана с обсуждением различных версий биографии Елены Феррари и ее взаимоотношений с Алексеем Максимовичем.

Из письма ясно, что ранее наша героиня получила неизвестное нам сообщение от Горького, в котором он выразил если не претензии к ней, то свое отношение к молодой поэтессе и сделал это в ответ на какие-то ее слова. Феррари, в свою очередь, поблагодарила его и уточнила: «Хотя с Максимом Алексеевичем я говорила только о нем (и только потому, что он сам меня на это вызвал), но думала действительно и о Вас, т. к. люди говорили, что слышали обо мне „в доме Горького“.

Я очень рада, что это неверно о Вас, и тысячу раз прошу прощенья что думала так».

Может быть, Елена Константиновна сказала что-то нелицеприятное сыну Горького, который, по впечатлениям знавших его людей, обладал натурой весьма живой и оригинальной, а тот передал эти слова отцу, как обращенные к нему? Что именно? Неизвестно.

Продолжение письма еще интереснее: «Не сердитесь ради Бога — в этом не только моя вина, и мне пришлось слишком дорого расплатиться за все версии обо мне».

Как говорят, комментарии излишни — и, очевидно, именно поэтому эти строки чаще всего и комментировали те, кто занимался изучением биографии Елены Феррари или ее творчества.

Понятно, что загадочная поэтесса из ниоткуда вызывала много толков и пересудов («все версии») в «доброжелательной» творческой среде русскоязычного Берлина. Она читала в Доме искусств свои стихи, и, возможно, не только о любви. И если это было что-то вроде «На мачте нашей горит / Кровавый флажок» или «Памяти Бакунинского отряда», то мнение страдавшей аллергией на большевиков берлинской публики о Феррари, ее прошлом и настоящем могло составить само собой. А если она еще хотя бы намекнула кому-то, что и в Константинополе находилась не просто так, не с врангелевскими войсками или, например, что оказалась на борту «Адрии», таранившей «Лукулл», тоже не по случайному стечению обстоятельств — пусть ради фантазии, ради красного словца, то недостатка в версиях относительно новой протее Горького русско-писательский Берлин более не испытывал. Такого рода репутация могла окрепнуть еще и из-за общения с самим Горьким. Ведь его сын работал раньше в ЧК — так не пригревает ли папаша у себя таких же? Учтывая же, что девушка была к тому же молода и красива, недоброжелательниц и недоброжелателей у нее наверняка было даже больше, чем версий о ее темном прошлом и загадочном настоящем.

В упомянутом письме Горькому далее следует одна хорошо известная фраза. Сама Елена Константиновна даже не собиралась опровергать свою принадлежность к тем, кто перевернул Россию с ног на голову, и высказалась с уже прекрасно знакомой нам дерзкой прямоотой: «Вы пишете, что моей биографии для вас не существует. Мне от нее отрезаться не нужно. Я бы гордилась моей биографией, если бы допускала, что для меня был возможен и другой путь. Но это зависело не от меня, так же как мой рост или цвет волос. Во всяком случае я твердо знаю, что никто на моем месте не сделал бы ничего лучше и больше моего и не *работал для России в революцию* (курсив мой. — А. К.) с большим бескорытием и любовью к ней. И мне очень больно, если Вам, чтобы хорошо относиться ко мне, нужно вычеркнуть мою биографию».

Вот так, ни больше ни меньше: другой Феррари у меня для вас нет, дорогой Алексей Максимович.

В продолжение письма снова, как и в прошлом году, возникает зыбкая, как тень, фигура Ходасевича. Но теперь Елена Константиновна уже не поет ему дифирамбы как «современному Пушкину», а указывает на то, что Владислав Фелицианович спутал все, что только можно было спутать — совсем как в приведенном в предисловии к этой книге одесском анекдоте. Вопрос только в одном: по привычке, автоматически или сознательно, специально? Судя по всему, он рассказывал Горькому о какой-то пьесе

Феррари, но сама Феррари уверяет, что лукавый сплетник Ходасевич эту пьесу не читал, а слушал. И не пьесу, а поэму, и не белым стихом, как он сказал Горькому, а простым.

Поэму, которая не пьеса, которую не читал Ходасевич, Феррари обещает немедленно выслать Горькому, а пока отправляет очерк и две сказки, пытаясь выбиться в письме на ровный, деловой настрой, но сразу же слетает с него, как и в своей литературной работе: «...я пишу не так, сама чувствую неверный тон. Я не владею ни языком, ни материалом и кроме того не уверена, что писать надо. Вы вот думаете, что у меня нет любви к моему ремеслу. Я не знаю. Радости от него во всяком случае мало. Но на эту безрадостность, а иногда и отчаяние, я ничего не променяю. Литература у меня не главное, а единственное, и если я ее не „люблю“, то обрекаюсь ей абсолютно.

Как Ваше здоровье? Желая Вам скорее поправиться — и не сердитесь, ради Бога, на меня».

Ответ утомленного проблемами и недугами Горького последовал уже через день. Он одобрил полученные экзерсисы («Все три вещицы — не плохи, Е. К., и, думаю, что они пойдут...») — то есть он на тот момент еще не знал, что она планирует уехать, но написано письмо было ради ответа на признания Елены: «...особенно хорошо — если Вы не ошибаетесь — что литература для Вас „единственное“. Так и надо».

Начиная отвечать как бы с конца письма Феррари, Алексей Максимович поднялся затем к его началу и объяснил свою позицию по поводу биографии поэтессы. Она оказалась проста:

«...я сам виноват здесь, если не приписал к словам: „Для меня *Ваша биография не существует*“ — так, как Вы ее рассказываете (курсив мой — А. К.), ибо у меня есть личное впечатление. Биография только одна из деталей его. Человек говорит о себе всегда неверно, и самое важное в том, что он говорит, — это: почему именно он говорит неверно?

Одни — потому, что желают ярче раскрасить себя, другие — потому, что ищут жалости, есть и еще множество причин невольной лжи человека о себе самом. Но есть люди, которые, говоря о себе, ничего не ищут, кроме себя. К таким людям я и отношу Вас. В этом — нет комплимента, нет и обиды, это просто — мое впечатление, вызванное Вами. Понятно?»

В японском театре кабуки есть популярная пьеса под названием «Кадзинтё». В основе сюжета лежит эпизод спасения опального полководца Минамото Ёсицунэ его слугой Бэнкэем. Ёсицунэ с небольшим отрядом охраны пытался пересечь границу между двумя провинциями под видом бродячих монахов, но был остановлен самураями на горной заставе.

Чтобы убедить начальника заставы в том, что они настоящие монахи, Бэнкэй, который и вправду когда-то служил в монастыре, начал громко читать якобы полученное им разрешение от монастыря на сбор подаяний по всей Японии. Пикантность ситуации в том, что в руках у Бэнкэя был развернутый свиток, по которому, как это казалось пограничникам, он и читал, но на самом деле бумага была девственно чиста. Ни в пьесе, ни в снятом по ее мотивам в 1945 году фильме гениального Куросавы «Идущие за хвостом тигра» не говорится прямо о том, что начальник заставы раскусил хитрость Бэнкэя, но это подразумевается и раскрывается особенно тонкой игрой актеров. Алексей Максимович Горький в апреле 1923 года напоминает того самого начальника заставы, который про Бэнкэя-Феррари все понял, но многозначительно промолчал, нахмурил густые брови, но рта не раскрыл, позволив опальным воинам вести свою игру — будь что будет. Ёсицунэ и Бэнкэй в итоге погибли от рук своих же. Феррари повторит их судьбу. Горький, переживавший за каждого погибшего при большевиках деятеля культуры, все видел, понимал, но поделаться ничем с этим не мог. И пока только писал Елене Константиновне: «...все сие не суть важно, важно же, чтоб вы работали. Думаю, что вам пора иметь немножко веры в ваш талант. Желаю успеха от всей души.

Болен, устал. Крепко жму руку».

Елена Константиновна тоже и устала, и болела. В ответном письме от 1 мая она коротко сообщила об этом Горькому. Он откликнулся немедленно, подтвердив, что хотел бы опубликовать ее сказки, но знает, что она собирается в Россию. Публикация была возможна только при условии соблюдения эксклюзивных прав «Беседы», а потом Алексей Максимович попросил Феррари подтвердить планы относительно отъезда в Москву. И снова возникает вопрос: как еще могли относиться к поэтессе в белом Берлине, если она вот-вот собиралась вернуться в красную Москву?

Между тем сама поэтесса готовилась к выступлению в Доме искусств. Первое из зафиксированных состоялось в ноябре 1922 года, но еще с сентября того же года она занимала там выборную должность секретаря правления, в которое, помимо прочих, входили Алексей Толстой, Илья Эренбург, Виктор Шкловский и Владислав Ходасевич^[226]. Затем она выступала там 3 и 10 ноября, 29 декабря 1922 года и 25 января 1923 года^{18}.

4 мая Елена Константиновна снова пришла туда и читала свои сказки, а вместе с ней в тот день выступал молодой итальянский поэт Руджеро Вазари^[227]. Итальянец был старше «Красной Феррари» на год, хорош

собой и внешне походил, как ни странно, на русских актеров той эпохи, подражавших европейцам. Характером отличался порывистым и всеми фибрами латинской души был предан делу футуризма. Но берлинской любовью Руджеро Вазари Елена Феррари не была. Ею стала другая женщина, бежавшая из России, — художница Вера Яковлевна Идельсон [228]. Вазари и Феррари вместе лишь писали стихи и учились: она вернулась к итальянскому, он шлифовал русский. Их совместный опыт литературной работы, двуязычного творчества оказался для нашей героини очень важен. Сама она могла только предполагать, какое будущее ее ждет, мечтать о нем, но в любом случае, если эта девушка и в кошмарном 1919 году учила итальянский язык, то уж сейчас, после войны, она подавно не собиралась просто так отказываться от своей мечты.

5 мая, на следующий день после выступления, Феррари подтвердила Горькому, что ждет советскую визу, чувствует, что «дело затягивается», но сообщила список своих произведений, предназначенных для публикации в СССР, — тексты ни одного из них нам неизвестны.

12 мая эмигрантская газета «Дни» в рубрике «Театр и искусство» сообщила: «В двадцатых числах мая в Берлине состоится бал, организуемый недавно основанным союзом русских художников... В день бала выйдет газета-однодневка». Среди тех, кто примет «любезное участие» в ее выпуске, упомянута Е. Феррари [229]. Компания Елене Константиновне подобралась достойная: Рафалович, Ремизов, Эренбург, Шкловский, Муратов и другие завсегда таи кафе на Прагерплац. Мысли же Феррари были заняты предстоящим выходом ее книги и новыми работами, которые она уже привычно представляла на суд Горького. 21 мая она отправила ему новую сказку «Кукла» и сообщила, что вернулась к поэзии: «Теперь, после трех месяцев перерыва, пишу снова стихи. Чувствую растроганность и неумелость — как первая любовь. Страшно хорошо. Будьте здоровы».

Горький ответил только через десять дней. Он не был здоров, был раздражен, как желудок у старого человека, и, может быть, Феррари ему просто наскучила. Он уже все про нее понял, не видел ее будущего как поэтессы, потерял надежду «перековать», но еще пытался шутить:

«„Кукла“ — не удалась, на мой взгляд. В этом тоне хорошо писал только Ганс Андерсен и — никто, кроме него. Его искусственная наивность так хороша, что кажется лучше естественной. Но, как Вы знаете, в наши дни даже дети больше не рождаются наивными.

Всю первую страницу Вы построили на отрицаниях. Это — прием

скучный, да и фонетически надоедно звучит.

Тема очень не новая. Написано не очень внимательно. Пример:
„ели и пили вино“.

Вино нельзя есть, уверяю Вас! Я очень близко и давно знаком с делом употребления вина. Его всегда и всем полезно пить, но я не встречал даже среди заядлых пьяниц и обжор ни одного, который съел бы бутылку вина. Простите шутку. У меня снова разыгрался туберкулез, а это — веселая болезнь.

Рад, что вы хорошо настроены».

Возможно, внутреннюю усталость Горького от общения с нашей героиней отчасти спровоцировало одно из главных событий жизни Елены Феррари: вышел из печати первый сборник ее стихов «Эрифилли». Стихов, в которых какие-то замечания мэтра, наверное, были учтены, но большинство руководящих указаний Горького Феррари предпочла пропустить мимо ушей. Поступая как значительная часть молодых авторов, она, возможно, сочла себя победительницей в эпистолярном соревновании с великим писателем земли Русской — и ошиблась.

21 стихотворение, работа последних двух лет, собранная под мягкой обложкой с посвящением: «Георгу». Не самое редкое имя, но все же... Не Георгию ли Голубовскому — первому и единственному официальному мужу посвятила Люся свой первый и, как потом окажется, единственный сборник поэзии на русском языке? И что значит само название, которое Горькому тоже наверняка не понравилось: «Эрифилли»?

Эрифилли (в современной греческой грамматике пишется Εριφύλη) — эллинское имя, которое можно перевести как «Горячо любящая» или даже как «Лучшая из женщин». Эрифилла — персонаж древнегреческих мифов, жена сына Аполлона — аргонавта и прорицателя Амфиарая. Понимавший, чем обычно кончаются войны (для этого и прорицателем не обязательно быть), Амфиарай очень не хотел идти в поход на Фивы, но был принужден к тому своей женой — этой самой Эрифиллой, которой ранее неосмотрительно поклялся сражаться. С войны Амфиарай не вернулся, завещав своим детям отомстить за него и убить Эрифиллу. Он не погиб, нет — Зевс сделал его бессмертным, но... царствующим в мире мертвых — совсем незавидная участь. Великий Софокл воспроизвел эту легенду в своем Фиванском цикле трагедий, высказавшись о роли Эрифиллы следующим образом:

Беславие завистников толкает
К позору, а не к доблестным делам.

О всех злодейств зачинщица, жена!
Уж если горе человеку боги
Судили — не было и быть не может
Такого зла, как женщина, ему!^[230]

Люся и Георгий. Он — не исключено, что очень не хотевший воевать, когда-то оставивший свой полк, бывший противником войны даже в Америке, и она — «буревестница» революции, подпольщица, до сих пор не сложившая оружия. Она здесь, в Берлине, Париже, в Европе. Он там — то ли жив, то ли... (помните: «...заменить расстрел концлагерем до конца Гражданской войны» и «...если все мои погибли...»?) — как Амфиарай в царстве мертвых. Это допущение, версия, но кто теперь расскажет, что она — автор имела в виду, когда давала сборнику с ТАКИМ посвящением ТАКОЕ имя?

Эмигранты дебют «Красной Феррари» встретили прохладно. Лазарю Флейшману удалось найти только одно сообщение в русскоязычной берлинской прессе о выходе книги. По его мнению, эсерские связи Виктора Шкловского помогли разместить в близкой к представителям этой партии газете «Дни» довольно большую рецензию критика и поэтессы А. Закржевской на «Эрифилли»:

«Маленькая, со вкусом изданная, книжечка стихов Елены Феррари заключает в себе всего каких-нибудь двадцать стихотворений, по большей части коротеньких, сжатых и пластичных. Ничего лишнего, скорее много недосказанного. Это является большим достоинством для начинающей поэтессы. Умение выбрать должные краски и слова, несомненно, свидетельствует о художественном чутье и такте. Несколько неприятное впечатление производит злоупотребление переборами и ассонансами, иногда и полное пренебрежение рифмой (ровно то, о чем писал ей Горький, и даже почти теми же словами. — А. К.). Вообще, Феррари — поэтесса новейшей школы; достоинства ее, равно как и недостатки, характерны для того литературного направления, к которому она примкнула.

Интересны, по своей образности, стихи, посвященные Ивану Пуни: „Кафэ“, а также стих.: „Пахнет зноем и морем“ и др. Краски их сочны и удачны. Заметно и некоторое влияние Анны Ахматовой и Наталии Крандиевской в манере писать и еще в глубокой, чарующей женственности. Есть у Феррари что-то *свое, заветное, недосказанное* (курсив мой. — А. К.) — не то дума, не то печаль: то, что лишь промелькнет, обворочит своим тихим теплом и светом и снова скроется за пестрыми расписными

ширмами современности. Примером таких стихов может служить „Молитва“, а также и стихотворение, начинающееся строками:

Захлопнутым мышонком сердце билось.
Не смей жалеть меня, не смей ласкать,
Луна неловко и несмело торопилась
Лицо свое укрыть за облака.

Несмотря на свою скромность, книжечка Елены Феррари дает надежду, что в будущем дарование поэтессы разовьется и станет самобытнее»^[231].

Рецензия не просто положительная, но написанная с каким-то цеховым сочувствием — «как своей». Может быть потому, что оба автора — женщины, а профессиональной ревности нет, потому что Закржевской были понятны и близки чувства дебютантки Феррари? Журналистке, написавшей в 1919 году в Одессе скандальное стихотворение о Сафо, начинавшееся строками:

Женщина женщину знойно ласкала,
Женщина женщине клятвы шептала!..
Ширился запах нарциссов и роз...
Остров безумия, остров Лесбос!..^[232] —

должно было не понаслышке быть знакомо, что такое критика профессиональными поэтами дерзкого дилетанта и банальная женская ревность.

Другое дело Константин Васильевич Мочульский, профессорский сын, сам успевший попреподавать литературу в России, а теперь перебравшийся в Сорбонну. Его рецензия в парижском «Звене», вышедшая в день в день со статьей Закржевской — 15 июля, даже не рецензия, это разгром — полный и бескомпромиссный:

«Поэтесса становится бытовым типом, каким когда-то были курсистки. Несколько признаков — стриженные волосы, очки, папироса, хрипловатый голос — было в то время достаточно; сразу узнаёшь: курсистка. А на каких курсах курсистка училась, чему и успешно ли — это никого не интересовало.

Так теперь поэтесса — женщина особенная, „стихи пишет“. Хорошие

или плохие — неважно. В кругу поклонников она имеет титул и все связанные с ним привилегии. Такие стихи нельзя отрывать от личности, выносить на дневной свет из угла дивана, где они полупоются в „поэтическом“ сумраке, в клубах папиросного дыма... Вся „магия“ их пропадает.

Хороши ли стихи? Вполне сознаю бестактность вопроса, но какой же у критиков такт?

Поэтесса говорит о себе чужими словами. Словами Ахматовой. У нее ахматовская дикция — даже не дикция, а произношение. Легкие приемы легко перенимаются. Параллелизм природы и психологии. Отрывочность, неожиданность переходов. Например:

Вы уедете и сразу станет пусто;
Сердце бедное заледенеет.
Пусть и снег лежит и ветер пусть —
Мне уж быть не может холоднее.

Не изменится ничто вокруг,
Все останется по-прежнему,
Только я, вступая в новый круг,
Улыбаться буду реже.

Припоминаете? Все — почти дословно, как у „той“ — а ничего не получается. Там — страдальческая складка, здесь — гримаска. Там переживание — здесь жеманство. Величие созданного озаряет создавшего. Он вырастает и для нас и для себя, — и говорит о себе возвышенно, с пафосом уважения. А если созданного еще нет ничего, этот пафос — смешная самовлюбленность. И когда г-жа Феррари торжественно заявляет, что ее „путь суровый“, что „любить не надо. Мне любить не надо“, что жизнь ее „надвое расколота“ — то все это „театр для себя“.

Глубина и таинственность ее переживаний на фоне моря, не спорю, эффектна; желание „прильнуть к загорелой груди“ какого-то купальщика, чьи „ноги стройны и бодры (?)“, тоже, не спорю, вполне законно. Но законно ли все свои ощущения, как бы тонки они ни были, считать стихами?»^[233]

Почему-то авторам чаще всего попадают на глаза плохие отзывы и разгромные рецензии. И не только потому, что авторы этого достойны. Даже Пушкину приходилось нелегко, но если он — гений — был в

состоянии утешить и себя самого, и все последующие поколения пиитов бессмертным:

Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник? —

то остальным приходилось хуже. Все знают, как по-мазохистски собирал в папочку разгромные рецензии на свои произведения Михаил Афанасьевич Булгаков. Неизвестно, хранила ли Елена Константиновна рецензию растоптавшего в прах ее стихи Мочульского, но ясно, что это могло стать тяжелейшим ударом по самолюбию молодой поэтессы, которую и без того никак не хотела считать своей берлинская богема беглецов. Само название сборника — «Эрифилли» многими наверняка воспринималось как бездумный, бессмысленный отсыл к экзотике — игра в модную в те годы «заумь», когда чем сложнее, кривее, изломаннее, тем лучше. В этой богеме, как в любой диаспоре, где всегда смешиваются разные языки, а части речи перетекают из одной в другую и нередко — на основе иностранных же слов, даже появился глагол, рожденный от названия книги. «Человек в полосатых штанах» с новогоднего фото — злоязыкий Александр Бахрах за три дня до выхода рецензий в письме парижскому литератору В. С. Познеру упоминал неизвестную нам Лелю, которую «заэрифиллил Рафалович». Учитывая общую невоздержанность Бахраха (из того же письма: «Читал ли ты или слышал, что такое „Леф“? Говно. Маяковского ненавижу. Сволочь»), вряд ли стоит ожидать, что он имел в виду что-то пристойное. Предположение подтверждается в одном из следующих писем, где, по выражению Бахраха, «[Николай Николаевич] Никитин завтра уезжает, жил главным образом у Стампе (где Белый жил и где Ходасевичи живут и поныне), частью у многочисленных девочек (он обэрифиллил пол-Берлина)»^[234]. Так что славу Елена Феррари если и сыскала, то не ту, которой ждала и о которой мечтала.

Неясно, из-за неприятия сборника эмигрантской общественностью или же по каким-то иным соображениям, но обещанная Горьким публикация произведений Елены Константиновны во втором номере журнала «Беседа» и отдельной книгой так и не состоялась.

На поверхности лежит, конечно, иная причина: Феррари получала советскую визу и выезжала в Москву, отчего ее связь с большевиками скрывать далее уже было нельзя, но скрывалась ли она вообще? В статье

нашего старого знакомого Николая Чебышёва, о которой еще предстоит серьезно поговорить позже, упомянуто, что в 1922 году в Берлине «Феррари еще носила фамилию Голубевой» и, возможно, эта информация не являлась тайной для многих из тех, кто был близок к Горькому. Признать в поэтессе Феррари шпионку Голубеву — это первое, что должно было прийти в голову тем, кто не напрасно видел в каждом третьем встречном русском в Берлине чекиста.

Сугубо «шпионская» деталь: в «Данных о прохождении службы» Феррари в разведке в период с 1920 по 1926 год ее должность указана следующим образом: «Сотрудница представительств СССР за границей и сотр. Разведотдела Штаба РККА» с примечательной записью в графе «Основание»: «Удостоверение Разведупра № 44 007»^[235]. «44 000» в таких случаях — первый номер серий бланков удостоверений, а номер, выпавший нашей героине, как ни забавно звучит это совпадение сегодня, — «007».

Временные рамки этой, сделанной прошлым числом отметки слишком широки, чтобы уверенно утверждать, что и в 1920–1921-м в Константинополе, и в 1922–1923-м в Берлине Елена Константиновна работала под легальной крышей — это слишком бросалось бы в глаза еще вчера бежавшим от красных ее новым знакомым. И все же логично допустить: Горький вполне мог решить, что в условиях продолжающейся за границей «холодной гражданской войны» между белыми и красными в случае публикации произведений подозрительной Феррари он рискует собственной репутацией, и удержался от опрометчивых шагов. А сама Елена Константиновна вернулась на родину.

По еще одному совпадению как раз в это время литературная жизнь русских в немецкой столице начала сворачиваться. Германия преодолевала экономический кризис, и издаваться здесь перестало быть настолько выгодным, как еще совсем недавно. Жизнь подорожала, а эмигранты порядком поиздержались. Сменовеховство набрало политический вес и силу — некоторые литераторы все больше склонялись к возвращению на родину. В августе 1923 года двинулся в сторону родины «Красный граф» и будущий трижды лауреат Сталинской премии Алексей Толстой. В сентябре вернулся бывший эсер и «панцирный демон», наставник Феррари Виктор Шкловский. Другие, наоборот, устремлялись дальше, во Францию и Америку. Максим Горький готовился к переезду в Италию. Развалились Дом искусств и прочие русские творческие организации в немецкой столице. 20 октября 1923 года «за предстоящим разъездом из Берлина двух третей членов [писательского] клуба, клуб решено закрыть, т. к. без прежних руководителей характер его деятельности (политическая

терпимость при тактичном подборе членов, семейный характер и пр.) мог бы измениться»^[236]. Получилось почти как в написанном десятилетие спустя стихотворении Михаила Исаковского: «Дан приказ: ему на запад, ей — в другую сторону...»

Неформальные клубы, которые очень скоро должны будут разделиться на оформленные в надлежащем порядке творческие союзы и на полуконспиративные и конспиративные кухонные посиделки, теперь создавались в Москве и Петрограде. Там на время нашла свое пристанище и Елена Феррари. Секретарь редакции журнала «Печать и революция» Яков Захарович Черняк в своих «Записях 20-х годов» 10 января 1924 года (возможно, это упоминание относится к более позднему периоду) писал, что встретил ее среди бывших «центрифугистов»: «Еще в декабре познакомился с Е. Лундбергом — С. Бобров, Б. Пастернак, К. Локс, какая-то поэтесса Феррари, врач, фамилии которого я не помню, — вот компания, которая собралась в Баховском биохимическом институте у химика Збарского вечером 19 декабря. Я был приглашен Б. П[астернаком] с Сер. Павл. [Бобровым]»^[237]. Обидно, но и там агент Разведупра № 007 снова оказалась лишь «какой-то Феррари». Стало окончательно ясно: иной работы, кроме разведки, для Елены Константиновны уже не было.

Глава двенадцатая

Ирэн и Кемаль

*Истомили тяжкие этапы.
На морском сижу я берегу.
Пыль Москвы на ленте старой шляпы
Я, как символ, свято берегу.*

*Все здесь ярко: небо, солнце, море,
Снег чалмы над бронзовым челом...
Радость жизни блещет в каждом взоре —
Юг обласкан светом и теплом.*

Леонид Мунштейн^[19] «Пыль
Москвы». Принкипо. 1920 год

Русские разъезжались из Берлина, и Германия постепенно вставала на ноги. Налаживалась экономика, лучше стала работать социальная сфера, уровень преступности, и без того не самый высокий, снижался, потому что и полиция постепенно, шаг за шагом, наводила порядок по своей части. Для разведки это означало, что близился конец хаоса и ловить рыбку в мутной немецкой водичке становилось все труднее и труднее. Для широкой советской разведсети, раскинутой из Берлина почти на всю Европу, настало время неминуемых перемен. Все яснее становилось, что руководить огромной организацией из одной точки не только неудобно, но и чрезвычайно опасно. О соблюдении конспирации в подобных условиях можно было говорить только условно, и история с непрозрачным, но одновременно понятным для всех интересующихся статусом Елены Феррари это подтверждает.

Кроме того, самим Берлинским центром с его колоссальной агентурой и контактами стало слишком сложно управлять из Москвы. Из-за плохо налаженной связи, расплывчатых отношений с агентурой и нечетко определенных обязанностей руководители резидентуры все чаще

принимали решения самостоятельно, без консультаций и санкций Центра, что справедливо раздражало Москву. Поэтому в 1924 году в советской столице решили Берлинский центр ликвидировать и организовать по всей Европе, в том числе в Париже и Риме, самостоятельные резидентуры.

Вернувшаяся в это время на родину Феррари, в ожидании ясности на службе, решила пока что продолжить литературную работу. Она установила связи с редакциями газет «Известия ВЦИК», «Красная нива», «Красная звезда», журналов «Пионер», «Юный коммунист» и «Новый зритель». За исключением «Известий» все сплошь издания второго, если не третьего, порядка. Печаталась под псевдонимами *Иванов; К. П., Ф. Л.* ^[238], но сами эти публикации до сих пор не обнаружены — большой простор для будущих исследователей, если таковые найдутся.

Времени на литературу у Елены Константиновны оставалось не слишком много — около полугода. В сентябре ей предстоял выезд в новую командировку, а еще надо было успеть повидаться с семьей, которая, вопреки ее берлинским опасениям, уцелела. Георгий Голубовский жил в Москве, и вроде бы даже, по семейной легенде, Люся нашла мужа и их отношения на время восстановились, но... официальная анкета, заполненная ею 12 сентября 1924 года, говорит об ином ^[239]. В графе «Семейное положение, подробно?» (так в документе. — А. К.) значится: «Одна, имею на иждивении племянницу. Была замужем», а в отдельной графе, предназначенной для мужа бывшего (была и такая): «муж был рабочий-металлист (из крестьян)». И домашний адрес указан совсем другой: улица Мясницкая, 22, кв. 21. Так что встречаться-то Люся с Жоржем, конечно, могли, и, вполне возможно, оба этим встречам были рады, но вряд ли они жили вместе.

Ближайшим родственником по-прежнему оставался брат Владимир, который тоже теперь жил в столице. Уволенный из армии в 1922 году, после окончания турецкой командировки, он успел поработать печатником, недолго поучиться в Институте красных инженеров, а два года спустя был мобилизован вновь. Служил в Москве — сначала комиссаром, потом младшим инспектором Центрального управления военных сообщений Штаба РККА, помощником по политической части начальников разных подразделов штаба, а в октябре 1924 года стал комиссаром Военно-инженерной инспекции РККА. В общей сложности за 1924 год Владимир Воля переназначался на разные должности не менее семи раз, и новый, 1925 год он встретил как помощник инспектора инженеров РККА по политчасти Организационно-мобилизационного управления Штаба РККА,

то есть, проще говоря, проверял знание истории партии, состояние Ленинских комнат и уровень партийно-политической работы в инженерных войсках^[240].

В той же анкете Елена Константиновна указала свою фамилию как Феррари, добавив на казенный манер «Голубева Ольга» в скобках, специальность в прошлом — «медно-литейный мастер», а в настоящем — «литература». В графе под номером 19 — «Бывал ли за границей, где и когда, по сколько времени и чем там занимался?» — четко разделила: «1920–1921 командировка Региструпра. 1921–1923 то же, затем работа по литературе». Командировки во Францию отозвались связями (пока еще не порочащими) «с заграницей»: «Во Франции литературные и кинематографические знакомства».

Это важный момент. Если в анкете 1921 года Ольга Голубовская указывает среди таких заграничных, читай — перспективных, связей знакомых в турецкой Анатолии, в Константинополе и на средних морских судах, а потому мы получаем право моделировать в своих фантазиях картины использования таких знакомств для тарана «Лукулла», то теперь простора для воображения становится еще больше. Французский культурный бомонд — это вам не лоцманы, боцманы и шкиперы с Босфора, это, как писал очередной классик, «коленкор другой». Культурные сливки Парижа — это как минимум красиво. Правда, не совсем понятно, для чего и как можно использовать такие связи сразу, особенно в военной разведке, но в качестве перспективных разработок это может выглядеть довольно заманчиво. Теоретически (да и практически тоже, что греха таить) все разведслужбы могут использовать, стараются это делать и порой действительно успешно работают в своих интересах с представителями элиты, но в случае советской разведки приоритетное право в подобного рода играх традиционно отдавалось чекистам — разведке политической. Военные изначально старались ставить себе иные, более практические, часто просто технические цели и задачи (например, украсть схему перспективной разработки вооружения). И все же... Наличие любых связей значительно лучше, чем отсутствие каких бы то ни было. К сожалению, время покажет, что литературные и кинематографические знакомства, равно как и сомнительная слава среди русской эмиграции, ничем не помогут в работе Елене Феррари. Куда более насущными и востребованными окажутся ненадежные и подозрительные для полиции контакты с местными коммунистами, из числа которых до самого начала Второй мировой войны советская военная разведка будет продолжать черпать основную массу своей агентуры.

К 12 сентября 1924 года, когда Елена Константиновна заполнила очередную анкету, бывший разведотдел Управления первого помощника начальника Штаба РККА вновь стал Разведывательным управлением того же штаба. В связи с «проведенными оргштатными мероприятиями» и возвращением из долгосрочной заграничной командировки наша героиня заново прошла проверку у чекистов: «Особый отдел ОГПУ сообщает, что препятствий к приему на службу в Разведупр РККА Феррари Елены Константиновны не встречается»^[241]. Ее уголовное дело 1919 года либо осталось вне поля зрения сотрудников контрразведки, либо, что скорее всего, они просто не придали ему значения: еще не менее десяти лет к прошлому, связанному с анархистами, эсерами, даже с царской службой, будут относиться весьма снисходительно, глядя на завихрения прошлого своих коллег сквозь пальцы.

Препятствий для начала очередной командировки более не оставалось, и почти ровно через месяц Елена Феррари, фигурировавшая с этого времени в переписке с Центром как «Ирэн», сообщала своему наставнику уже с нового адреса:

«Дорогой Алексей Максимович!

Я в Риме и очень хотела бы приехать к Вам, повидать Вас. Можно?..»

В этом письме, несмотря на то что состоит оно всего из нескольких строк, две загадки. Во-первых, Елена Константиновна обещает рассказать Горькому при встрече не только о Москве, что логично, но и о Туркестане. Была там в отпуске во время полугодового отдыха от Европы? Возможно. Может быть, даже ездила с братом. На эту мысль наталкивает следующее перемещение Владимира: 1 апреля 1925 года он был вновь уволен в запас РККА «за невозможностью соответствующего использования» и сразу уехал в Туркестан, получив там пост наркома и члена коллегии Наркомата социального обеспечения Узбекской ССР, который и занимал полтора года — до октября 1926-го^[242]. Понятно, что просто так на столь важную должность вчерашнего отставника назначить не могли, и, возможно, он успел заранее провести какую-то подготовительную работу на месте. Весной — летом Люся и Владимир могли побывать в Туркестане, где она, в таком случае, наверняка набралась впечатлений для передачи бывшему «сааровскому старцу», а брат подготовил почву для будущего карьерного скачка — из инспектора Штаба РККА в наркомы, пусть и слабо развитой солнечной республики, а не союзного масштаба.

Вторая загадка связана с самим Алексеем Максимовичем и адресом Елены Константиновны. В апреле 1924 года он переехал в Италию, в

чудный маленький городок Сорренто у подножия Везувия, близ знаменитых развалин Помпеи. Там, в Сорренто, за Горького всерьез взялись советские представители. Еще в Германии он в эпистолярной форме обсуждал проблемы возвращения в Россию с Бухариным, Зиновьевым и Рыковым^[243]. Теперь, когда «Буревестник» перебрался в Италию, они просто не могли оставить главного пролетарского писателя в стране фашистов, иначе у представителей мирового рабочего движения мог возникнуть вопрос: «Значит, в Советской стране что-то не так, если в нее не хочет возвращаться такой человек?» И сам Горький не мог этого не понимать, оказавшись перед тяжелым выбором — пожертвовать здоровьем, а возможно и жизнью, ради пропаганды революционных идей или слушать весь остаток жизни упреки от решительных здоровяков типа Маяковского в том, что променял борьбу за счастье человечества на итальянскую виллу. Еще из Германии он рвался в Россию, понимая, что с его энергией, точнее даже, с его образом литературного вожака остаться в Европе, в плену тягучего эмигрантского нытья, будет означать позорную творческую смерть через забвение. Горький, как ни крути, был и оставался красным — таким же, как «Красная Феррари». Белым они были без надобности.

В надежде склонить его к скорейшему возвращению в Советский Союз на вилле пролетарского классика в первый же год его проживания в Италии побывали полпред СССР в Италии Константин Константинович Юренев (Кротовский), сменивший его посол Советского Союза в Италии Платон Михайлович Керженцев (Лебедев), их лондонский коллега Леонид Борисович Красин, руководитель Наркомата внешней торговли Яков (Якуб) Станиславович Ганецкий (Фюрстенберг), Влас Яковлевич Чубарь — земляк Люси Ревзиной, ставший членом Политбюро ЦК КП(б) Украины, и множество других ответственных и не очень, обремененных полномочиями и просто интересующихся жизнью великого писателя чиновников. Не так уж важно сегодня, кто именно приезжал и сколько всего ответственных товарищей побывало в гостях у Горького. Все они так или иначе вынуждены были контактировать с советским полпредством в Риме, пользоваться его посредническими услугами, на какое-то, порой весьма продолжительное, время останавливаться там, и Алексей Максимович не мог не знать адреса дипломатической миссии Москвы в итальянской столице: *Roma, Via Gaeta, 3*. Письмо Елены Феррари отправлено с адреса *Roma, Via Gaeta, 5*. К сожалению, мне пока не удалось выяснить, как менялась римская адресная система за прошедшие годы, но по опыту других столиц очевидно, что дома 3 и 5 — либо одно и то же строение, либо соседние здания. Вероятность того, что Елена Феррари служила в

советском полпредстве, стала настолько велика, что если у Горького до этого момента еще могли оставаться какие-то сомнения в отношении того, кем на самом деле является его ученица, то теперь места для них не осталось совсем.

Есть в этом письме еще одна удивительная деталь. Елена Феррари зачем-то сообщила Горькому, что Шкловский назвал недавно родившегося у него сына в честь мэтра — Алексеем, хотя на самом деле мальчик получил имя Никита. Сегодня трудно сказать, как и почему случился этот казус. Известно, что сына, родившегося 1 сентября, Никитой назвали сразу (дома звали Китюшей), но до этого времени Виктор Борисович внутренне колебался относительно того, какое имя дать наследнику^{20}. Возможно, он рассматривал вариант и Алексея и как-то упомянул об этом Феррари. Но ее письмо написано 11 октября — могла бы и уточнить, как в итоге был наречен мальчик, прежде чем сообщать такую новость Горькому, которому ничто не мешало поддерживать связь со Шкловским напрямую. Вообще, есть в этой истории что-то абсолютно непостижимое разумом, но по духу своему характерное для всей истории Елены Феррари: выдумка, выглядящая абсолютно правдоподобно, но взявшаяся непонятно откуда и, главное, неясно зачем.

Ответ Горького на ее обращение неизвестен. Был ли он — этот ответ — вообще? Да. Возможно, не сразу, с большим опозданием (писатель в очередной раз менял виллу), но был. Утверждать это с уверенностью позволяет один из трех любительских снимков Алексея Максимовича, сделанных лично Еленой Феррари и переданных ею после смерти писателя в Архив А. М. Горького в Москве. Одно из трех фото идентифицируется четко: 1925 год, Сорренто. Горький на нем стоит на фоне итальянского пейзажа, засунув руки в карманы и опершись на балюстраду. Писатель в рубашке — значит, дело происходило не раньше теплой итальянской весны, но никакой переписки между ними до середины лета 1926 года не обнаружено, а фото — есть. Стало быть, общались, встречались, разговаривали. О чем? Вряд ли о таране «Лукулла». Скорее всего, о литературе.

Мы помним, что 4 мая 1923 года Феррари читала свои стихи в Берлине вместе с итальянским поэтом, художником и драматургом (кажется, у людей этого времени и этой прослойки обязательно всего должно было быть по чуть-чуть) Руджеро Вазари. Очередное совпадение: подруга итальянца Вера Идельсон родилась в Риге, но детство провела в пригороде Баку — Сабунчи, где ее отец, служивший инженером на нефтяных разработках, сменил немецкого инженера Зорге, уезжавшего на родину с

семьей, в том числе с маленьким сыном Рихардом. Вера рисовала в новомодной футуристической манере, увлекалась кубизмом, занималась керамикой, вышивкой и дизайном интерьеров. Теперь Идельсон и Вазари тоже перебрались в Италию, а к 1926 году они соберутся и в Париж: пути русской эмиграции больше напоминали течение реки с замысловатым руслом, несущее всех в одном направлении — туда, где глубже, где лучше. Елена Феррари продолжала поддерживать с ними знакомство, но, по версии Владимира Лоты, осенью 1924 года задержаться в Италии надолго Елене Феррари помешали дела службы. Пробыв в Риме два месяца и якобы успешно выполнив некие задания, она отправилась в Париж, где местную резидентуру военной разведки уже давно лихорадило^[244].

К концу 1924 года из тринадцати государств, требующих особого внимания «Шоколадного домика», только в четырех сохранялись резидентуры, действующие не только в советских представительствах, но и на нелегальном положении: в Японии, Англии, Польше и во Франции. Недостатки и опасность ведения разведки исключительно с легальных позиций были в целом понятны руководству Разведупра. Но отойти от подобной практики, даже несмотря на серьезные провалы, оно пока не решалось: слишком велики были трудности в создании нелегальных резидентур и организации оперативной и бесперебойной связи с ними^[245].

Очередные два года после провалов Рудника и Урицкого и до нового разгрома французской разведывательной сети, последовавшего в 1927 году, советских военных нелегалов в Париже возглавляли Ян-Альфред Матисович Тылтынь, Стефан Лазаревич Узданский (действовавший, кстати, под личиной представителя бомонда — художника Абрама Бернштейна) и — с 1925-го — главный резидент с документами секретаря советского полпредства Станислав Ричардович Будкевич. «Ирэн» — Елена Феррари снова стала помощником резидента с конца 1924 года. В ее обязанностях числилось: установление контактов, проверка, подготовка отчетов, выполнение функций связного — много работы, не до стихов. С бывшим своим шефом — Урицким в Париже она не пересеклась, он вернулся в Москву еще в мае 1924-го. Поэтому никак нельзя говорить, что провал Урицкого произошел по вине Центра, который «видимо, слишком рано лишил резидента... такого опытного помощника, как Елена Феррари»^[246]. И опыт пока был не велик, и во Франции она провела совсем немного времени. Думать так заставляет следующее из сохранившихся писем Феррари Горькому:

«Москва 3.6.26.

Дорогой Алексей Максимович,
посылаю Вам мою книжку и радуюсь случаю написать Вам. За 15 месяцев, проведенных в Италии, я научилась писать на том (так в тексте. — А. К.) языке...»

Июнь 1926-го минус 15 месяцев — получается, февраль — март 1925 года. Если никто ничего не путает, чистого времени работы в парижской резидентуре Елене Константиновне было выделено вряд ли более четырех месяцев. Конечно, возможно, были, и даже наверняка случались, частые выезды, курсирование (и скорее всего, с секретной почтой) по маршруту Рим — Париж — Рим, но все же утверждение о том, что в этот период она вела во Франции активную деятельность, выглядит некоторым преувеличением. А род ее нелитературных занятий в течение пятнадцати месяцев пребывания в Риме до сих пор остается такой же загадкой, как и во время краткосрочных командировок во Францию. Известно лишь, что жаловаться на бездействие или слабую активность любых советских организаций в Италии в тот период не приходилось.

Первый договор между Итальянским королевством и РСФСР был подписан еще в начале 1920 года, с 1921-го начался обмен торговыми и иными представителями. Но с 1919-го в Италии набирает силу фашистское движение, возглавляемое Бенито Муссолини, и советские представители практически сразу же столкнулись с угрозами и реальной опасностью террора и диверсий. «Мы живем на осадном положении, — писал представитель Кремля в Риме Вацлав Вацлавович Воровский. — Ворота закрыты на замок, мы выходим только в случае крайней необходимости, носим пистолеты в карманах с заранее намеченным планом обороны. Конечно, все это имеет лишь нравственно-политическую значимость. <...> Нет никого, кто бы нас защитил, зато Совпра (советское правительство. — А. К.) поправит собственное финансовое положение благодаря этой экономии»^[247].

Несмотря на это, с 1924 года отношения между СССР и Италией были установлены практически в полном объеме. Надо при этом иметь в виду, что враждебное внимание фашистских активистов и официальных властей Италии к посланцам красной Москвы далеко не всегда совпадало с отношением обычных итальянцев к известным деятелям культуры, приезжающим из России, которых все больше оседало под издавна любимым русскими ласковым итальянским солнцем. Например, к тому же Горькому, превратившемуся из «сааровского старца» в «звезду Неаполя». Валентина Михайловна Ходасевич вспоминала потом: «Популярность Горького у неаполитанцев была столь велика, а любовь их так экспансивна,

что ходить с ним по улицам было почти невозможно. Многие проходящие мимо или увидевшие его из окон магазинов бросались на улицу, хватали его руки, пожимали, целовали, на ходу становились перед ним на колени... Во время одной из поездок в Неаполь, чтобы спастись от этого, увидев извозчика, мы сели в пролетку, но экипаж был окружен людьми, кто-то уже выпряг лошадь, и несколько человек, схватив оглобли, легкой рысцой потащили экипаж. Кругом бежали „охранявшие покой синьора Горького“ поклонники и во весь голос кричали: „Viva Gorki! Caro! Carino! Che Cello!“ („Да здравствует Горький! Дорогой! Дорогуша! Какой красавец!“). Многие вскакивали на подножку пролетки, чтобы хоть на секунду приблизиться к любимому „Illustrissimo scriptore“ (знаменитейшему писателю)»^[248].

Так что, несмотря на жесткий прессинг в отношении официальных советских лиц и вообще всех, живущих на территории полпредства РСФСР, вести разведывательную и пропагандистскую работу среди итальянцев было можно. Что большевики и делали в прямом соответствии с наставлениями Ильича: «Надо учить, учить и учить их (итальянцев. — А. К.) работать, как работали большевики. Учить непременно статьями, непременно в печати. Найти для сего итальянца и через него действовать. Положение прекрасное, рабочие хорошие, а побить жулика... не умеют. Научите их Христа ради»^[249]. Учили вплоть до 1925 года, когда Политбюро ЦК ВКП(б) признало такую работу нецелесообразной; итальянский премьер-министр заявил о том, что «до настоящего момента итальянскому правительству не в чем упрекнуть русских дипломатических представителей в Италии, а также торговых агентов. <...> До сих пор их поведение было безупречным»^[250]. Как раз в это время Елена Феррари и прибыла в Рим для продолжения службы.

Резидентура Разведупра в Италии, созданная в 1920–1921 годах, базировалась в столице, но имела агентов в Милане, Неаполе, Генуе и в некоторых других городах. Ее шефы (прежде всего выпускник химического факультета Неаполитанского университета и бывший левый эсер Яков Моисеевич Фишман, прошедший путь от изготовителя бомбы, убившей 6 июля 1918 года германского посла Мирбаха в Москве, до доктора технических наук и генерал-майора технических войск) сумели достичь действительно заметных результатов и в создании агентурной сети, и в похищении новейших образцов вооружения и боевой техники итальянского производства. Правда, в результате провала операции по перегону в Советскую Россию через Турцию двух аэропланов системы Капрони товарищу Фишману и некоторым его агентам пришлось бежать на родину

социализма, но все же к моменту приезда в Рим «Ирэн» руководство Разведупра констатировало: «...нам были доступны самые секретные документы, касающиеся всех заказов и состояния научно-опытных работ в воздушном флоте. Рано получались исчерпывающие сведения о самолетном составе и различные статистические данные».

И снова богема: один из агентов Фишмана — Николай Николаевич Зедделер (Зедлер, Герберт), родственник великого Василия Дмитриевича Поленова, был настоящим, большим художником, некоторые из работ которого и сегодня хранятся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Он окончил Мюнхенскую королевскую академию художеств, дружил со многими известными художниками и выставлялся сам — и как художник, и как гравер, работающий в стиле японских мастеров. Осев в Италии, он внезапно стал чернорабочим, членом местной коммунистической партии и агентом советской разведки. Другой его знаменитый коллега — Роберто Бартини, бежав в СССР после провала Фишмана, стал крупным советским авиаконструктором (в 1938 году был арестован, но выжил, как и сам Фишман).

С 1925 года, то есть со времени прибытия в Рим Феррари, для прикрытия сотрудников Разведупра стали использоваться официальные должности в полпредстве, консульстве, торговом представительстве СССР и других официальных советских организациях^[251].

Секретарем торгпредства в Риме служил ровесник «Ирэн» немец из Мюнхена Карл Петермайер (Петермейер) — коммунист с незаконченным высшим образованием, известный среди друзей как Пэт. Мы почти ничего не знаем об этом человеке, хотя, по отзывам их общей знакомой — сотрудницы резидентуры Разведупра «Шарлотты», отношения между Еленой и Карлом перешли из служебных в личные настолько, что их стали считать семейной парой^[252]. Вскоре у них появились местные, симпатизирующие красным, знакомые — весьма вероятно, что по рекомендации Руджеро Вазари. Двое из них стали «крестными отцами» очередного творческого детища Феррари: сборника стихов под названием «Принкипо» («Prinkipo»).

Сицилиец Умберто Барбаро был моложе Люси на два с небольшим года, в 1925-м ему исполнилось только 23. Работал в Риме журналистом, исповедуя «левые футуристические» взгляды и изучая русский и немецкий языки. Даже переводил на итальянский Михаила Булгакова. Страстный поклонник Эйзенштейна (он и слегка похож был на него внешне) и Пудовкина, в будущем он посвятит свою жизнь кино, станет одним из

основоположников неореализма в этом искусстве. После его смерти имя Умберто Барбаро присвоят специальной премии в области кинокритики и теории кино, назовут им кинематографическую библиотеку в Риме, но пока что Барбаро выступал в роли переводчика и наставника в итальянском языке разведчицы и красавицы Феррари, напоминавшей, в свою очередь, итальянку.

Второй ее учитель менее известен, хотя личностью Виничио (Виничо) Паладини был весьма примечательной. Ровесник Барбаро, он родился в Москве, его матерью стала русская женщина, а отцом итальянский коммерсант, и есть версия, что именно под влиянием своей матушки он заинтересовался русским искусством^[253]. Любви ко всему русскому, вне зависимости от смены социального строя, он оставался верен всю жизнь, в отличие от Руджеро Вазари, в середине 1930-х отдавшего свои симпатии фашистам и нацистам. С 1921 года, уже живя в Италии, Виничио Паладини сблизился с футуристами, опубликовал три статьи в печатном органе молодых итальянских коммунистов («Интеллектуальный бунт», «Коммунистическое искусство», «Обращение к интеллектуалам»), отстаивая идеи сближения итальянских художников-авангардистов с левыми политическими силами, — отвратительная рекомендация для сотрудничества с ним агента иностранной разведки. Ко времени знакомства с этим самым агентом Паладини успел написать и пару книг: «Искусство в Советской России» и «Искусство авангарда и футуризм», вышедших в Риме в 1924 году, и несколько живописных работ, одна из которых называлась «Пролетарий Третьего интернационала». Паладини стал автором со вкусом выполненных обложки и иллюстраций к книжечке Феррари, хотя вряд ли его работы можно назвать шедевром изобразительного искусства.

Все рисунки подчеркивали экзотическую, турецкую атмосферу стихов, вошедших в сборник. Да и само название — «Принкипо», должно было отсылать образованного европейского читателя туда, на пряный Восток.

Принкипо, что по-гречески означает «принц», — это остров, ныне называющийся Бююкада (то есть просто «Большой остров», но уже по-турецки) — крупнейший среди Принцевых островов в Мраморном море недалеко от Константинополя-Стамбула. Настолько недалеко, что можно предположить: во время турецкой командировки один из опорных пунктов Особой группы Региструпра находился именно там, на Принкипо, или же там бывала сама Елена. Остров совсем небольшой, тихий. Там и сегодня запрещен автомобильный транспорт, а 100 лет назад нечего было и запрещать. Константинополь-Стамбул рядом, но так же близко было и

азиатское побережье Турции, контролируемое в ту пору кемалистами: идеальное место с точки зрения нанесения ударов в районе Босфора — что для средневековых пиратов, что для чужеземных военных разведчиков. К тому же в те годы он был почти поровну заселен греками и турками — благодатнейшая почва для изучения сразу нескольких языков, которыми так увлекалась Елена Константиновна. Интересно высказался по этому поводу другой, чуть более поздний житель Принкипо (цитируемая запись из дневника относится к 1933 году), которому довелось прожить на острове не один год и само имя которого сыграло зловещую роль в судьбе Елены Феррари — Лев Давидович Троцкий: «Мы объясняемся с Хараламбосом на новом языке, постепенно сложившемся (так в тексте. — А. К.) из турецких, греческих, русских и французских слов, сильно измененных и редко употребляемых нами по прямому назначению. Фразы мы строим так, как двух-и трехлетние дети. Впрочем, наиболее частые операции я твердо называю по-турецки. Случайные свидетели заключили отсюда, что я свободно владею турецким языком, и газеты сообщили даже, что я перевожу американских писателей на турецкий язык. Явное преувеличение!»^[254]

Стихи из сборника «Принкипо» переводились с русского на итальянский. Русский оригинал до сих пор не обнаружен, а он не просто существовал — его видел Горький. Помните, как Алексей Максимович делал замечание Феррари, сравнивая ее вставки турецких и греческих слов в русский текст с песнопениями хлыстов? В вышедшем в 1925 году сборнике все они на месте: и лимонли, каймакли дондурма, и многое другое, что так не понравилось мэтру. Правда, некоторые слова Феррари вынесла в специальный словарик, но был ли в этом смысл — вопрос остается открытым. Равно как и сама идея издания такого сборника на итальянском языке.

На какую аудиторию рассчитывала Елена Феррари, выпуская свои стихи в фашистской Италии, где она числилась советским работником, а служила и вовсе шпионкой? Для чего надо было так стараться привлечь к себе внимание, вынося в тот же словарик объяснение аббревиатуры: «S.F.S.R. — Socialistica. Federazione. Soviettistiche. Repubbliche», написанной в одном из стихотворений одним словом «Esseffesserre» («Эсэфэсэрэ») и в контексте стихотворения означающей имя животного? Может быть, «Ирэн» надеялась легализоваться в итальянской богеме как «пропагандистка из советского посольства» и тем самым получить карт-бланш на общение с местными коммунистами и левыми, дабы спокойно подыскивать в их среде кандидатуры для вербовки? Тогда это обычный,

накатанный, излюбленный путь советской разведки в предвоенные годы. Тот самый путь, что обеспечил основную причину едва ли не всех успехов и всех провалов довоенных шпионских сетей в Европе и Азии. А может быть, всё проще? «Ирэн» жаждала тайной службы — острой, опасной, но уже привычной (сама писала в анкете, что видит в разведывательной деятельности свое призвание)^[255], но одновременно и страстно желала творить. А разве можно объяснить автору, поэту, юной поэтессе (Феррари «уже» 25 лет), если ей очень хочется издать свою книгу, что, каким бы ты ни был поэтом, но если ты еще и шпион, то лучше не привлекать к себе такого пристального внимания?

Да ведь не одна она — Елена Феррари — такая, не она первая, и не ей быть последней. Пером, а не шпагой (точнее, не кинжалом) прославились Редьярд Киплинг и Сомерсет Моэм, которые занимались тайным ремеслом на службе британской короне практически одновременно (чуть раньше) с «Ирэн». Остались в истории литературы Роман Ким и Дмитрий Быстролетов, что работали на ОГПУ — НКВД тогда же (или чуть позже). Не зря же 1920–1930-е годы, даже первую половину 1940-х называют «эпохой великих нелегалов». В то время разведка везде, не только в нашей стране, становилась на ноги, утрясалась, устаканивалась как служба — с уставами, порядками, правилами — писаными и только еще превращалась из романтического приключения в работу. Мировая война, вступление в эпоху жестких, неджентльменских противостояний постепенно делали разведку частью общей системы, а ее служащих — разведчиков — винтиками, несложными по конструкции и легкозаменяемыми, по мысли начальства, комплектующими деталями (начальство заменялось еще легче). И чем проще были устроены эти «детали», тем успешнее должен был функционировать механизм в целом. Во времена Феррари этот процесс уже начался, но пока еще сохранялись зазоры для свободы творчества, люфты в работе системы, лакуны, которые и дали истории имена тех великих разведчиков, кто сумел превзойти систему и подняться над ней, тех, кто сумел сохранить и дать развиваться собственной индивидуальности, добившись успеха и на службе. Хотела ли стать великой Феррари? Вопрос риторический.

Итальянский сборник — возможно, лучшее из известных нам произведений Ольги Ревзиной^[256]. Если когда-нибудь опубликуют его русскоязычный первоисточник, мы наверняка увидим в нем многое из биографии автора. Речь идет не только о буквальной географической привязке, но и о поэтическом слежке с жизненного опыта и взглядов Елены

Константиновны (или Ольги Федоровны?). Найдутся тут и недовольство социальной несправедливостью, и, как следствие, вера в светлое коммунистическое будущее, и сложные отношения автора с Богом (в «Эрифилли» есть стихотворение «Молитва», боги — Христос, Будда, Аллах — упоминаются и здесь не раз, но истинная вера — только в коммунизм), и вытщенные из подсознания воспоминания о светлых идеалах анархизма (команда корабля в стихотворении «Viaggio notturno» напоминает одновременно и матросов-анархистов, и пиратов из приключенческих книг, прочитанных в детстве), ведущих к кисельным берегам свободного будущего, и много чего еще — если внимательно читать.

В «Принкипо» вошли всего четыре стихотворные части: «John», «Madama», «Fez» и «Viaggio notturno». Все стихи на турецкую тему, все про любовь, экзотику, русских «мадам» и дондурму — на первый взгляд, для первого прочтения. Начальная часть посвящена несчастной любви юной прелестницы Фазилет, на которую, как принято в таких историях, положил глаз старый, толстый, но богатый Садреддин, к островному полицейскому (англичанину?) Джону. «Madama» — короткая, но очень атмосферная, пахнущая турецкой ночью и мороженым зарисовка о русской «мадама», бог весть какими судьбами занесенной на Принкипо. Третья часть — «Fez» («Феска») рассказывает о тяжелой доле бедного турецкого рыбака, пытающегося прокормить семью, но гибнущего в море и оставляющего семье на память о себе лишь феску. Четвертая часть сборника — «Viaggio notturno», или «Ночное путешествие» (вероятно, так она называлась в русском авторском варианте) — заметно отличается от предыдущих трех. Стихотворение начинается с повествования о некоем корабле, куда-то идущем по Северному морю из Ревеля (!). В какой-то момент команда сбрасывает за борт капитана и по-анархистски мечтает увести корабль с курса, дабы обрести некие благословенные берега. Там, на «неведомых дорожках», команду встречают люди-обезьяны — «вдвоем на одном жирафе» (похоже, гумилевский жираф вдохновлял многих его современников), совершенно киплингские тигр, слон, медведь, змея и «армия макак». Заканчивается этот психоделический разгул и вовсе не вероятно:

Христос, Будда и Аллах
Обратят взоры с небес на землю,
И благословят оттуда
Зверя Эсэфэсэрэ.

В предисловии к сборнику, автор которого укрылся за инициалами *E. U.* и питал явную симпатию и к поэтессе, и к ее творчеству, говорится о неудовлетворенности обыденностью жизни и неизбежности обновления человеческих отношений в результате войн и революций — привычная риторика тех лет, и мысли, которые сама Елена Феррари, судя по всему, искренне разделяла. Скорее всего, впрочем, что *E. U.* вообще не человек. Точнее, не один человек. Возможно, это: *E.* — *Elena Ferrari*, а *U.* — *Umberto Barbaro*. Так или нет, но современная литература, по мнению загадочного *E. U.*, способна силой воображения перевернуть, трансформировать и раскрыть самые окаменелые формы языка и несколько закостенелые взгляды на жизнь, характерные в том числе для восточной души. Пример — «Принкипо». Главная аудитория сборника: молодежь. Она видит радость жизни в любых ее воплощениях, молодежь ищет борьбы и не боится касаться голыми руками самых сакральных проявлений бытия и духа. И новые, молодежные в понимании тех лет, то есть во многом революционные, стихи должны быть такими: как революция и война смешивает всё и вся, так и в новой поэзии ритм, слово, наблюдение, рифма должны слиться в едином порыве. И пусть все может быть сломано с точки зрения классического построения стиха, но должно грохотать главное: искренность и экспрессия.

Елена Феррари, считал автор предисловия, относилась как раз к таким новым авторам — способным перевернуть сознание молодежи и изменить ее взгляд на мир. Вновь и вновь *E. U.* обращает внимание итальянского читателя на энергию и заряд жизненной силы, которыми веет от стихов Феррари: ее поэзия непроста, в переложении на итальянский язык в значительной степени теряются гармония стиха, сложность ритма и рифмы, но даже трудности перевода не могут скрыть того, что автор раскрывается читателю не до конца, а как бы возвышается над ним, предлагая и тому расти вместе с собой. И, если наше предположение о том, кто скрывался за инициалами *E. U.* верно, то перед нами настоящая авторская декларация поэтессы Елены Феррари.

Увы, обратный перевод этого, отсылающего к горьковской «Песне о Буревестнике» отрывка может исказить картину, но все же попробуем представить себе, как звучали бы стихи из «Принкипо» в оригинале:

Ночью пробуждается лютая месса —
Трупы поют со дна.

Кадило на черном небе —
Страждущий желтый лебедь —
Луна.
Море — бурли!
Море — гори!
Волны — Ангелы огня.
Грохочите — колокола!
Облака —
Горы.
Облака —
Бездны.
Лютует море.
Всё суровее волны
Взмывают над тучами.

Именно искренность и экспрессия, да пожалуй, еще явный, хотя так и не развитый в достаточной степени литературный дар — это то, что отличает цикл восточных песен Елены Феррари от множества других, модных на рубеже XIX–XX веков и явно намозоливших читателям и критикам глаза «стихов о Востоке», процесс сочинения которых с использованием конструктивистских идей Виктора Шкловского так издевательски спародировали Илья Ильф и Евгений Петров в бессмертном «Золотом теленке».

Впрочем, есть еще кое-что. Помимо плохо поддающегося из-за пресловутых трудностей перевода литературному анализу «Принкипо», присутствует в этих стихах и как минимум одна интересная деталь политического порядка. В стихотворении под названием «Madama» появляется Кемаль. Но не первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль, друживший когда-то с Советами, а... осел. Обыкновенный маленький серый ослик, которых и сейчас на Бююкаде немало, поскольку они по-прежнему являются здесь основной тягловой силой. Кемаль у Елены Феррари переносил две корзины с мороженым (тем самым каймакли и лимонли) и был любим своим хозяином — подростком в красной феске по имени Шюкри. Кемаль по-турецки значит «совершенство», и это, в общем-то, смешное, но вполне приемлемое имя для ослика, в глазах большинства людей являющего собой внешнее опровержение совершенства. Примерно так его и должен был бы назвать юный продавец мороженого, чьи мысли и желания еще полны оптимизма и

здорового юмора по отношению и к самому себе, и к окружающему миру. Если бы не одно «но». Кемаль в те годы — это прежде всего *тот* Кемаль — Мустафа, будущий Ататюрк, то есть «Отец турок». Смелая аналогия, не правда ли?

Почему поэтесса назвала своего четвероногого героя именно так? Ведь мы понимаем, что по-русски назвать кого-то ослом — значит сделать не самый лучший комплимент, да и по-турецки в этом нет ничего хорошего. Снова дадим простор фантазии. Елена Феррари работала в Турции в самый острый для молодой Турецкой Республики момент. В силу своей ведомственной принадлежности и характера выполняемого Особой группой задания она знала о подковерной политической борьбе в Турции значительно больше, чем многие другие и турецкие, и советские, и итальянские граждане. Будучи в курсе того, какие огромные усилия предпринимала Москва для того, чтобы помочь Кемалю прийти к власти (пусть и в своих собственных целях), зная о недвусмысленных реверансах Кемалья в сторону Ленина, большевистского правительства и даже в сторону полулегальных советских военных миссий, которые наводнили тогда Малую Азию, не только Феррари, но очень многие ее коллеги вправе были рассчитывать, что Турция выступит как один из главных и, как ни смешно звучит это слово, когда речь идет о политике, — верных союзников СССР в борьбе против великих держав. Ведь именно усилиями Советской России Кемалю только что удалось одержать победу не только над внутренним режимом султаната, но и над его внешней опорой — странами бывшей Антанты. Но ко времени издания «Принкипо» обстановка в Малой Азии заметно изменилась. Еще четыре года назад красные разведчики сообщали в Москву о корыстном отношении кемалистских властей к помощи из России, неискренности их обещаний, о плохом отношении к русским вообще, а к представителям большевиков особенно. Со временем националистический и антибольшевистский крен в политике Анкары становился все более явным. В 1925 году Кемаль запретил созданную при содействии Москвы компартию Турции, физически уничтожив ее верхушку, и сделал первые шаги в сторону Запада — к налаживанию отношений со вчерашними противниками в лице Англии и Франции. Стихи Елена Феррари писала много раньше — года два назад, а значит, уже тогда хорошо понимала, что происходит, и не зря ела свой шпионский хлеб.

«Принкипо» — маленький, едва по объему и формату отличающийся от брошюрки сборничек. Для Елены Феррари он был книгой. Настоящей. Да еще и с аннотацией вышедших и готовящихся к печати произведений автора. Среди первых числится известный нам сборник «Эрифилли», от

которого, собственно, и отпочковался «Принкипо», и некий сборник поэзии, изданный в 1921 году в Константинополе. Никаких следов его исследователи, литературоведы пока не обнаружили. Среди вторых — новелла о Гражданской войне «Fuogi passo», назначенная к выходу в Москве в 1925 году, но, видимо, так и не опубликованная, а также написанный сразу на итальянском (вероятно, с участием все тех же друзей-коммунистов) и предназначенный для издания в Риме роман. Но о нем Феррари расскажет Горькому позже, когда вернется в Москву. Вернется на этот раз надолго.

Глава тринадцатая

Рокировка

*При свете ламп — зеленом свете —
Обычно на исходе дня
В шестиколонном кабинете
Вы принимаете меня.
Затянут пол сукном червонным,
И, точно пушки на скале,
Четыре грозных телефона
Блестят на письменном столе...*

Вера Инбер^[21]

Феррари отправила Горькому сборник «Принкипо», уже вернувшись в Москву, — приложением к письму от 3 июня 1926 года. В нем Елена Константиновна гордо сообщала мастеру, что теперь ее итальянский язык настолько хорош, что она смогла начать писать на нем — сразу, не переводя с русского — «международно-авантюрный, с большой личной интригой» роман под названием «Партия Макмаккаки», тот самый, анонсированный по-итальянски и в сборнике «Принкипо»: «Стержнем романа является такой трюк: героиня знает, что это только роман, остальные же персонажи живут всерьез... Я хочу вложить туда все, что знаю и видела, там есть вводные места совсем на другие темы и это должно быть очень человеческой вещью». Горький по-итальянски не читал, а потому, чтобы дать возможность оценить новинку, Елена Константиновна обещала сделать перевод на родной язык.

Прошло четыре года после их интенсивного эпистолярного общения, но за это время Феррари так и не удалось найти своего места в литературе, несмотря на два или три вышедших сборника и знакомства с маститыми авторами. Они, эти авторы, по-прежнему относились к ней как к «какой-то поэтессе», а сама Елена Константиновна все никак не могла понять — может она вообще писать или нет? И должна ли? «Работаю много, но без

уверенности, что иду по верному пути, и вообще, чем больше пишу, тем меньше знаю, как надо писать», — сообщала она Горькому. Возможно, Феррари как автор не успела осознать важного: сомнение в своих силах дает возможность роста. Если бы ей было отпущено больше времени на литературную работу, если бы она, как и призывал ее Горький, увлеклась ею всерьез и отринула бы всё остальное, возможно, мы получили бы замечательного писателя и поэта. Но Елена Константиновна оказалась не готова заняться делом писательским с той же решимостью, с какой писала в анкете Разведупра о своей любви к шпионскому делу. А теперь и вовсе литература и Горький отдалялись от нее все больше. Московская пишущая «тусовка», начинающая свой путь от литературных кафе к Союзу советских писателей, который возглавит все тот же Горький (а кому еще?), ее не приняла, и Елена Константиновна страдала от непризнания, как страдает любой ищущий и не получающий любви человек. «О Вас знаю то, что здесь знают все, т. е. очень немного, — с горечью писала она мэтру. — А хотела бы знать — очень».

Неизвестно, ответил ли Алексей Максимович Елене Константиновне, но, получив ее книгу, хранить дома не стал. Несмотря на инскрипт автора:

«Дорогому Алексею Максимовичу Горькому уже знакомые вещи.

Елена Феррари. Рим — Москва. 1926».

Горький передал полученный сборник в Пушкинский Дом, ставший позже Институтом русской литературы (ИРЛИ), где тот находится и поныне.

В большой дом в московском Кривоколенном переулке, что стал для нее теперь родным, Елена Феррари вернулась в конце 1925 года. Думала продолжить службу в Разведупре. Судя по некоторым данным, попыталась вступить в партию — как член партии, тоже коммунистической, но иностранной — германской. Карл Петермайер должен был ее поддержать, подтвердив ее членство в КПГ, но у немецких коммунистов в это время случился очередной внутренний конфликт, и на нежной дружбе «Ирэн» и «Пэта» была поставлена если не точка, то многоточие^[257].

В Москве Елене ожидаемо не понравилось. Ей показалось, что жизнь в советской столице выглядит несколько двусмысленно, если не сказать — лицемерно. Обращаясь к Горькому, она охарактеризовала это ощущение красиво: «...развилась центробежная сила — люди, от усталости, что ли, стремятся улизнуть каждый в себя, но это невозможно, жизнь тянет их кнаружи (!) и вот — качание вроде маятника». И тут же оговорилась — искренне ли, на всякий случай ли, неизвестно: «Впрочем в Европе почти то

же».

Работы тут тоже оказалось не меньше, чем в Европе. Чтобы представить себе, чем занимался Разведупр в это время, а точнее, 3-й информационно-статистический отдел, сотрудницей которого стала Елена Феррари в Москве, посмотрим на цифры. Перед нами «Отчет о работе Информационно-статистического отдела Разведупра Штаба РККА за 1924–1925 операционный год (с 1/X-24 г. по 30/IX-25 г.)»:

«...В центре внимания стояли следующие основные задачи:

1) изучение военной мощи и боевой готовности наших ближайших западных противников, которые с точки зрения современной политической конъюнктуры представляют наибольшую опасность для мирного существования нашего Союза;

2) внимательное и тщательное наблюдение за достижениями военной техники и промышленности в передовых капиталистических странах;

3) освещение новых форм организации, методов подготовки и новых идей в области боевого использования вооруженных сил в передовых в военном отношении государствах;

4) ориентировка в международном политическом и экономическом положении высшего командования С.С.С.Р. и анализ основных военно-политических проблем международного характера под углом зрения военной опасности для Советского Союза и

5) анализ и оценки с военной точки зрения национально-освободительных движений в странах Востока. <...>

3. Общие итоги работы в цифрах. Итоговые цифровые данные о работе Отдела за истекший год дают следующую картину размеров этой работы по важнейшим ее отраслям:

а) через агентурный аппарат Разведупра получено — **9851** (здесь и далее в документе выделено мной. — А. К.) агентурных материалов, с общим количеством — **84 148** листов и **3703** книг и журналов; кроме того получались материалы непосредственно Информ. — Стат. Отделом от НКВД, ОГПУ и некоторых других органов — в количестве **1986** материалов, так что в общей сумме **количество всех полученных Отделом материалов выражается цифрой** (так в документе. — А. К.) **11 837**.

б) Кроме того многие книги и журналы приобретались Отделом непосредственно на рынке, так что общее количество литературы, поступившей в библиотеку Отдела, составляет — 4275 книг и 9929 номеров журналов.

в) **Отделом получалось и обрабатывалось 110 ежедневных**

иностранных газет и 247 журналов по 25-ти странам, на 24 различных языках.

г) Отделом было **дано 10 000 оценок** на поступившие материалы, а также 3156 заданий агентуре.

д) В течение минувшего года **выпущено из печати 27 периодических изданий**, с общим количеством 162,7 печатных листов и 36 изданий неперидических, с общим количеством 265,5 печатных листов, а всего 63 книги, с общим количеством 429,2 печатных листов — 36 621 экземпляров.

е) В течение года Отделом разослано было 25 076 экз. изданий Разведупра по 123 различным адресам.

ж) Кроме того к началу нового операционного года находилось **в печати 11 трудов**, с общим количеством 103 печатных листа, и 9 книг — в портфеле редакции или же заканчивающихся составлением.

з) Отделом за истекший год составлено и разослано 295 докладов и справок различным учреждениям военного ведомства и некоторым гражданским органам, не считая большого количества мелких и устных справок (по имеющимся данным, одних лишь зарегистрированных посетителей с 8-го декабря 1924 г. по 1/X-25 г. прошло 1081 человек). Разослано центральным военным управлениям и научным военнотехническим учреждениям 359 материалов (наиболее крупных). Кроме перечисленных работ Отделу приходилось выполнять большое количество различных переводов — по заданиям Председателя и отдельных членов РВС СССР и по собственной инициативе.

Вся эта громадная работа выполнена при наличии штата 59 человек, из коих только 30 человек непосредственно работают над поступающими материалами... (сравним с 250 сотрудниками Берлинского разведцентра! — А. К.). Насколько велика нагрузка этого аппарата, совершенно ясно из вышеприведенных цифр об итогах проделанной работы. Достигнутые значительные результаты в значительной мере нужно отнести к добросовестному и сознательному отношению к работе всего состава Отдела, что считаю своим долгом отметить в настоящем официальном отчете...»^[258]

Так что работа в Москве Елену Константиновну ждала адова. Но прежде, после возвращения из длительной зарубежной командировки, полагался отпуск, и она отправилась в военный санаторий в Ялте^[259]. Разведупр в это время как раз вступил в стадию очередной реформы. Отныне центральный орган военной разведки СССР стал называться IV Управлением Штаба РККА. Снова были пересмотрены штаты, бюджет,

отчасти — задачи. Как часто бывает, в ходе реформы стало ясно, что дел и забот — и в добывании информации, и в аналитической работе — у разведчиков станет больше, а вот количество сотрудников практически не увеличится. И ни во 2-м агентурном, ни в 3-м информационно-статистическом отделах места для Елены Феррари не нашлось. В июле 1926 года она была уволена из армии.

По версии Владимира Лоты, вернувшегося агента «Ирэн» уволили по состоянию здоровья, подорванному в результате «противоборства с контрразведывательными органами Германии, Италии, Турции и Франции»^[260]. Что это значит?

В нашем распоряжении имеется копия «Автобиографической записки» Елены Константиновны, составленной 27 мая 1935 года. В ней содержится запись о состоянии здоровья нашей героини: «Весной 1920 поступила в распоряжение [разведывательных органов] Республики, работала по июль 1926 с перерывом около полтора года (так в документе. — А. К.) по болезни (занимаясь в это время литературой)»^[261]. И снова возникает вопрос: где в биографии Ольги Ревзиной спрятались эти полтора года? До Турции (с весны 1920-го по осень 1921-го)? В Турции? В Европе? Как раз во время работы в Германии, и тогда наша версия о ее знакомстве с Горьким на почве «общего туберкулеза» верна? Но тогда как быть с ее одновременными (но не подтвержденными документально) победами на разведывательном фронте в Берлине и Париже? И как больна — настолько, что наступил перерыв, или все-таки успешно работала?

В любом случае возвращение в Москву вряд ли было радостным. В Италии, несмотря на противостояние с полицией (или благодаря ему?), «Ирэн» чувствовала себя важным человеком, сотрудником резидентуры и советской миссии, писателем и поэтессой. Ее согревало жаркое солнце, делая золото белым на темном загаре рук, будоражил душу чужой красивый язык, появлялись новые знакомства, выходила книга и писалась другая — это была *жизнь*. Неудивительно поэтому, что после возвращения оттуда в Москву, где все было не так и все иначе, где «люди... стремятся улизнуть каждый в себя», у Елены Константиновны действительно могли обостриться все ее хронические недуги — от туберкулеза до нервных заболеваний. В сочетании со странной и неприятной для сотрудницы Разведупра историей с неподтвержденным вступлением Феррари в компартию Германии, это вполне могло заставить шефов разведки — Яна Карловича Берзина и Станислава Ричардовича Будкевича задуматься о целесообразности оставления Елены Константиновны на службе, несмотря

на все ее заслуги. И тогда увольнение «по здоровью» сразу после пребывания в санатории выглядит логично: врачи разведчицу обследовали, выявили заболевания, предложили начальству сделать выводы. Оно и сделало: в июле 1926 года Елена Феррари стала свободным человеком.

И тут снова, казалось бы, самое время вернуться к литературе, к стихам, к тусовке, в конце концов, но... по какой-то причине этого опять не произошло. Елена Константиновна продолжала изредка печататься в отнюдь не самых престижных и популярных с литературной точки зрения изданиях типа «Красной звезды» или «Красной нивы», но дальше этого не сделала ни шагу. Обещанная Горькому повесть так и не была опубликована. Стихи, проза, книги — все осталось в замыслах. Свободное время, видимо, полностью оказалось посвящено общению с друзьями, которых осталось совсем немного (да много, судя по всему, никогда и не было). Среди московских знакомых преобладали бывшие коллеги по службе, общение с которыми по понятным причинам было несколько стеснено. Оставались еще старые, проверенные Гражданской войной ветераны: Георгий Голубовский, Игорь Саблин да всегда бывший ближе всех брат — Владимир Воля.

По семейной легенде Голубовских, общение ставшего инженером Жоржа с Люсей тогда возобновилось с новой силой. Они вновь стали близки настолько, что считались семьей. Но весной 1927 года и здесь все изменилось. 2 мая Люся уехала в отпуск в Одессу^[262]. Если верить все тому же фамильному преданию, Георгий позже отправился за ней следом, но, приехав, застал ее с мужчиной. Раздавленный увиденным, он отправился обратно, а по пути, не находя себе места, не в силах оставаться в замкнутом пространстве вагона, сошел на случайной станции. Там, гуляя по местному парку культуры и отдыха, познакомился с девушкой по имени Мария. При знакомстве выяснилось, что она происходит из обедневшего рода дворян Новгородской губернии Нарышкиных, бежавших после революции подальше в глубинку. Жорж пригласил ее в Москву, и девушка, к необыкновенному его удивлению, приехала, а через некоторое время вышла за него замуж. Эту историю спустя 93 года мне рассказала их дочь Елена. По ее словам, позже Жорж и Люся снова стали друзьями, но это произошло не сразу.

Товарищ по кавказским и турецким приключениям Игорь Саблин вернулся в Москву уже давно и стал журналистом и редактором. К 1925 году возглавил издательство «Недра», в котором одновременно руководил иностранным отделом. Ко времени приезда в Москву Люси пошел на повышение: до мая 1927 года работал политредактором Агитационного

бюро Народного комиссариата финансов СССР, много писал для московских газет и журналов как автор и рецензент (не он ли способствовал устройству стихов Люси?). Еще в 1924 году в журнале «Смена» вышла подготовленная им вместе с Марком Михайловичем Пратусевичем приключенческая повесть «Дело Эрбе и К^о», основные события которой разворачиваются во время Гражданской войны в районе Батума и в которой он выплеснул на бумагу свои воспоминания о боевой юности. В те же 1920-е годы были опубликованы переводы Саблина романов пацифиста Джона Бересфорда «Революция» и шахтера-депутата Джеймса Уэлша «Морлоки» и другие работы. Летом 1922 года Игорь Владимирович женился на Марине Семеновне Богуславской (дальней родственнице или просто однофамилице Ксении Богуславской? — неизвестно). Общая с Феррари тяга Саблина ко всему иностранному, необычному, экзотическому проявилась в семейной жизни этого всегда романтически настроенного журналиста. В 1923 году у него родились девочки-близняшки, которым дали имена Ингрит и Майя, а родившуюся в 1927 году третью дочку нарекли Индианой^[263]. Интересно, будь у Елены Феррари дети, как бы назвала их она?

Главный плюс от возвращения в Москву для нее — возможность снова встретиться и общаться с любимым братом Володей. «Вследствие климатических условий» он вернулся из Узбекистана, где, женившись, работал заместителем наркома социального обеспечения и продовольствия республики, еще осенью 1923-го^[264]. В том же 1923 году у него родился сын. Вернувшись из Узбекистана, Владимир нашел работу в Москве и поступил на учебу в вечернюю совпартшколу при Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, находившуюся тогда на площади Ногина^[22] — совсем недалеко от его дома. Или... от их общего?

Очередная загадка в стиле Елены Феррари: во всех документах начиная с 1924 года ее домашний адрес указан следующим образом: Кривоколенный переулок, дом 5, квартира 25. Адрес Владимира Воли как минимум с того же года: улица Мясницкая, дом 22/2, квартира 25. Однако Кривоколенный, 5, и Мясницкая, 22/2, — это один и тот же дом, точнее, выражаясь современным языком, жилой комплекс, бывший доходный дом Сытова — Ускова, который состоит из нескольких корпусов, выходящих разными фасадами и на Кривоколенный, и на Мясницкую, и еще на Банковский переулок. Чтобы разобраться, как в 1925 году был организован жилищный учет в этом муравейнике, нужны специалисты. Мы пока можем констатировать: даже если Люся и Володя не жили в одной квартире, то все

равно не дальше, чем в разных подъездах одного и того же дома. Эта удивительно крепко сплоченная семья снова была вместе, как до войны, как до революции. Только теперь не в Екатеринославе, а в Москве. И работали они уже не в маленькой типографии, а значительно в более серьезных организациях. Люся Ревзина — Елена Феррари — в Главконцесскоме.

НАША СПРАВКА

Главный концессионный комитет при Совете народных комиссаров СССР (ГКК; Главконцесском) — специальное ведомство для привлечения и допущения иностранного капитала и промышленности к торговой и иной хозяйственной деятельности на территории СССР, организации предоставления концессий иностранным физическим и юридическим лицам для торговой и производственной деятельности и осуществления контроля за ними. Фактически управляло процессом аренды иностранными компаниями природных ресурсов Советского Союза. Образовано постановлением Совета народных комиссаров СССР 21 августа 1923 года, упразднено 14 декабря 1937 года.

При Совнаркомах союзных республик и при отдельных Народных комиссариатах СССР образовывались концессионные комиссии, действующие на основании распоряжений Главконцесскома. При торговых представительствах СССР за границей учреждались концессионные комиссии, подчинявшиеся Главконцесскому (например, в 1923 году были основаны концессионные комиссии при торговых представительствах в Берлине и Лондоне).

Комитет обладал монопольным правом на привлечение иностранных инвестиций в СССР. Ни одно ведомство не могло заключать с ними договоров без ведома Главконцесскома.

Эта совершенно забытая ныне организация, в 1920–1930-х годах игравшая, безусловно, исключительно важную роль в народном хозяйстве СССР, не была на слуху до тех пор, пока в мае 1925 года руководить ею родина не назначила большого политика — Льва Давидовича Троцкого.

Противостояние создателя Красной армии, одного из главных героев Октябрьской революции и Гражданской войны с правящей тройкой Зиновьев — Каменев — Сталин достигло к этому времени своего апогея. В

1925 году непобедимый, казалось бы, председатель Реввоенсовета Республики и нарком по военным и морским делам Лев Троцкий в одночасье потерял всю свою власть, лишился всех рычагов влияния на политику. Оставшись (формально и ненадолго) членом политбюро, ЦК и президиума Высшего совета по народному хозяйству (ВСНХ), он оказался пока что во «внутренней ссылке» — во главе мало кому известного Главконцесскома. Далеким от Москвы Днепрострой, председателем комиссии по постройке которого тоже был Троцкий, был куда больше на слуху, чем значительно более важный для страны Концессионный комитет, располагавшийся в самом центре столицы. Но Троцкий никогда не был просто функционером. Везде, где бы ни оказывался Лев Давидович, немедленно начиналась политика, и даже придя на службу в Главконцесском, он этого отнюдь не скрывал: «Свою новую работу я пытался связывать не только с текущими задачами хозяйства, но и с основными проблемами социализма. В борьбе против тупоумного национального подхода к хозяйственным вопросам („независимость“ путем самодовлеющей изолированности) я выдвинул проблему разработки системы сравнительных коэффициентов нашего хозяйства и мирового... По самому существу своему проблема сравнительных коэффициентов, вытекавшая из признания господства мировых производительных сил над национальными, означала поход против реакционной теории социализма в отдельной стране»^[265].

Опала и одновременное формирование «внесистемной оппозиции» не помешали Троцкому взяться за дело предоставления концессий так же рьяно, как за любую задачу до этого. Он «переформатировал» структуру комитета, пересмотрел штаты и укрепил организацию своими людьми — либо по разным причинам преданными ему лично, либо просто родственниками. В секретариат Троцкого вошли 20 сотрудников (IV Управление могло только тихо завидовать такому размаху), в числе которых числились один помощник секретаря, один личный секретарь, два библиотекаря, 12 сотрудников для поручений, два курьера и референт. Всего же к тому времени, когда сотрудницей Главконцесскома стала Елена Феррари, штат этой организации насчитывал 117 штатных и пять внештатных сотрудников. В руководство комитета, помимо самого Льва Давидовича, вошли заместитель наркома иностранных дел Максим Максимович Литвинов^[23], замнаркома внешней и внутренней торговли Борис Спиридонович Стомоняков, зампред ВСНХ Георгий Леонидович Пятаков, несколько членов коллегий ведущих наркоматов и

государственных организаций СССР, среди них знакомый нам по итальянскому периоду эмиграции Горького Яков Ганецкий из коллегии Наркомторга СССР — личность удивительная во всех отношениях.

НАША СПРАВКА

Яков (Якуб) Станиславович Ганецкий (Фюрстенберг) (1879–1937) — польский и еврейский революционер, советский государственный деятель.

Родился в Варшаве в семье богатого торговца и промышленника. К революционной деятельности причастен с гимназических лет, за что был исключен из 6-го класса. В 1896 году вступил в ряды марксистской партии под названием Социал-демократия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ).

Учился в Берлинском, Гейдельбергском и Цюрихском университетах. Один из организаторов и член Главного правления СДКПиЛ с 1902 года, соратник Феликса Дзержинского, вместе с которым участвовал в работе II съезда РСДРП и последующих.

Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Из ссылок бежал. Организовывал освобождение из тюрем известных социал-демократов, в том числе Владимира Ленина.

Летом 1912 года устроил переезд Ленина из Франции в Австро-Венгрию, став его доверенным лицом и помощником. Накануне Первой мировой войны жил вместе с Лениным, а когда после начала войны тот был арестован по подозрению в шпионаже, способствовал освобождению его из тюрьмы и переезду в Швейцарию.

В том же году стал исполнительным директором созданной Александром Львовичем Парвусом^{24} экспортно-импортной фирмы «Фабиан Клингслянд». Совладельцем фирмы был старший брат Ганецкого Генрих, а ее представителем в Петербурге двоюродная сестра Ганецких. Одновременно Парвус назначил Ганецкого директором созданной им Торговой и экспортной компании, которая поставляла в Россию остродефицитные в годы войны товары, а вырученные деньги направляла на финансирование революционных организаций в России. Все вместе они поддерживали связь с революционными

подпольными организациями (в каталогах товаров агентами Парвуса передавалась информация, написанная невидимыми чернилами, в том числе указания Ленина), координируя их действия и превращая разрозненные выступления в единое движение.

Через неделю после победы Октябрьской революции Ганецкий приехал в Россию и был назначен заместителем наркома финансов и управляющим Народным банком РСФСР. Входил в состав советской делегации на переговорах в Брест-Литовске в 1918 году.

В дальнейшем являлся членом правления Центросоюза и членом коллегий Наркомфина, Внешторга и Наркомата иностранных дел СССР (направлен туда Дзержинским для налаживания торговли с другими странами, где имел большие связи в кругах социал-демократических парламентариев). Один из руководителей и член коллегии Наркомата внешней торговли СССР. В 1930–1935 годах состоял членом Президиума ВСНХ РСФСР.

18 июля 1937 года арестован НКВД по подозрению в шпионаже в пользу Польши и Германии и 26 ноября расстрелян. В 1954 году посмертно реабилитирован.

Это был тот самый Яков Ганецкий, что совсем недавно посетил Италию и побывал в гостях у Горького, пытаясь (и, видимо, безуспешно) склонить того к возвращению на родину. Как раз когда Люся Ревзина переходила на работу в Главконцесском — 23 июня 1926 года, ее учитель в очередной раз написал Ганецкому из Сорренто и просил банального — денег: «...занятый работой над романом, я не могу писать больше ничего, и поэтому заработок мой значительно сократился. Работа моя, поглощая все мое время, требует покоя, что недостижимо при постоянной тревожной мысли остаться без денег, прервать работу. Все это заставило меня просить Вас и А. И. Рыкова...

<...> Я повторяю: мне нужно обеспечить себя деньгами на год, чтоб не заботиться о них — и я Вас убедительно прошу помочь мне в этом. Вы знаете, что я не обременяю Сов[етскую] власть личными просьбами. Это случилось впервые. К Вам я обращаюсь не как к „вельможе“, а как к человеку мне симпатичному и уважаемому мною. Будьте добры, Яков Станиславович, помогите мне спокойно работать над книгой, на которую я возлагаю большие надежды и которая, вероятно, будет очень полезна».

Переписка велась через советское консульство в Неаполе и полпредство в Риме, но когда деньги не приходили (а их все не было и не было, и жить «Буревестнику» становилось совершенно невозможно), Горький напрямую телеграфировал Ганецкому в Москву с просьбой ускорить дело, а заодно делился с ним сокровенными мыслями^[266]. Яков Станиславович, бывший когда-то «кошельком» не только революции, но и лично Ленина, умел располагать к себе самых опытных, недоверчивых, «прожженных» персонажей. Алексей Максимович, в свою очередь, тоже не считал большевиков совсем чужими и чем дольше жил в отрыве от них, тем больше питал на них надежды, особенно если среди них находились люди близкого ему образа мыслей. Когда-то он сам помогал большевикам добывать деньги и теперь, оказавшись в кризисной ситуации, вполне естественно ожидал, что они помогут ему. Ждал и верил. Ганецкому доверял настолько, что, когда в июле 1926 года внезапно умер Дзержинский, именно Якову Станиславовичу, тоже поляку и революционеру, Горький отправил свое очередное письмо: «Совершенно ошеломлен кончиной Феликса Эдмундовича. Впервые я его видел в [19]9 или [19]10 годах и уже тогда сразу же он вызвал у меня незабываемое впечатление душевной чистоты и твердости. В [19]18—[19]21 годах я узнал его довольно близко, несколько раз беседовал с ним на очень щекотливые темы, часто обременял различными хлопотами... Он заставил меня и любить, и уважать его. И мне так понятно трагическое письмо Екат. Павловны, которая пишет мне о нем: „Нет больше прекрасного человека, бесконечно дорогого каждому, кто знал его“. Очень тревожно мне за всех вас, дорогие товарищи. Живя здесь, лучше понимаешь то, что вы делаете, и глубже ценишь каждого из вас...»

Но Ганецкий и в эту минуту оставался Ганецким — «кошельком», а потому заканчивалось послание ожидаемо: «Ну, уж, кстати, еще о „делах“: тов. Бройдо прислал мне 8 июня 1542 дол. и 28 июля — 1542, значит: 3084. Это меня не устраивает. Деньги уже разошлись на уплату долгов. Я хотел бы устроиться так, чтобы не отвлекаться на посторонние „заработки“ для того, чтобы свободно и без забот работать над романом... Вот почему я и прошу дать мне большую сумму, т[ысяч] семь, что ли в счет тех денег, которые я должен получить в июне [19]27. А то мне приходится „зарабатывать“ для того, чтобы работать... Нет, как неожиданна и несвоевременна и бессмысленна смерть Ф. Э. Чорт знает что!..»^[267]

По мнению эмиграции, бывших белых и всех, кто не мог принять советскую власть, Ганецкий Горького тогда «подставил»: 11 августа две

главные советские газеты — «Правда» и «Известия» — воспроизвели первую часть этого письма под заголовком: «Максим Горький о тов. Дзержинском». После такого панегирика в честь главы «кровавой Чеки» жить на Западе, как раньше, стало решительно невозможно, и Горькому пришлось энергично «смаывать удочки».

Знал ли Ганецкий Елену Феррари? Знал. Они могли встречаться еще в Риме, когда она служила в резидентуре, а он приезжал по своим финансовым делам в полпредство СССР. Вряд ли она имела отношение к его связям с писателем — иначе не писала бы Горькому сама, безнадежно дожидаясь ответа, да и не нужна она была ни тому, ни другому. Зато доверенным человеком Якова Станиславовича в Германии и Италии являлся Карл Петермайер — тот самый, «гражданский муж» нашей Елены Константиновны. Логично предположить, что они — Ганецкий и Феррари, несмотря на разницу в возрасте, общественном положении, на разницу абсолютно во всем, не могли не быть знакомы друг с другом, не могли не говорить на единственную тему, которая могла бы их объединить, — о Горьком. А потом, когда в судьбе Феррари настало время внезапных перемен, не исключено, что именно Ганецкий помог ей как старой знакомой найти новую работу. В пользу этого довода говорит еще одно малозаметное, в общем-то, обстоятельство: Елена Константиновна получила в Главконцесском скромную должность референта (фактически — переводчика и делопроизводителя) в информационном (под)отделе. Ее непосредственным начальником стала жена Якова Станиславовича Гиза Адольфовна Ганецкая^[268], а среди коллег-референтов того же отдела числилась некая Софья Юльевна Животовская — вполне возможно, дальняя родственница главы Главконцесскома (девичья фамилия матери Троцкого — Животовская). Снова, как и прежде в разведке, Елена Константиновна оказалась на вторых, если не на третьих ролях, а знала и видела, наверное, многое из того, что предназначалось только для ушей и глаз тех, кто играл первую скрипку.

Хотела ли сама Елена Феррари выбраться наверх из забитого справками, сметами, отчетами и разнообразнейшей перепиской болота Главконцесскома? Вряд ли в этом приходится сомневаться. Слишком уж не был похож мир, в который она окунулась во второй половине 1926 года, на то, что окружало нашу героиню до сих пор. И весьма сомнительно, чтобы эти отличия пришлись ей по душе. Конечно, уже долгое время — около десяти лет — Ольга Ревзина скиталась по свету, как тот корабль, о котором она писала в «Принкипо», в поисках лучшей доли и острова с жирафами, а просто и честно говоря — спокойствия и причала в тихой бухте. И у нее

действительно было слабое здоровье — все это верно, но... Во-первых, ей исполнилось только 26 лет — не самый подходящий возраст для выбора последней стоянки, и, как бы ни была она больна, до сих пор она не просто работала. В ее жизни непрерывной чередой сменялись путешествия, приключения, творчество, наконец. От этого тоже можно устать и можно захотеть отдыха, но ненадолго — на месяц, на два, на полгода, а не для последнего приюта. Во-вторых, даже с точки зрения выбора места своеобразного отпуска после разведывательной работы Главконцесском выглядел несколько странно. При чрезвычайно высокой общей загруженности бумажной работой тут еще и страсти должны были кипеть нешуточные — как и везде, где появлялся Лев Давидович.

Обстановка вокруг Троцкого становилась все тревожнее и мрачнее с каждым днем. Он и его бывший единомышленник по системной оппозиции и к тому же муж его родной сестры Лев Борисович Каменев (Розенфельд) в октябре того же 1926 года не по своей воле вынуждены были выйти из состава Политбюро ЦК ВКП(б). Каменева отправили полпредом в Италию. Троцкий пока оставался в Москве, и следующий год прошел относительно спокойно, если только так можно говорить, учитывая, что летом и осенью в стране начались рабочие сходки и маевки по образу и подобию тех, что проходили когда-то в царской России — их организаторы-троцкисты были еще живы и многое помнили. Появились нелегальные типографии для печати листовок — как десять лет назад, по испытанной схеме, однажды уже приведшей к смене государственного строя. Но Советский Союз не был Российской империей, а Сталин — Николаем II. «Вождь» не собирался терпеть несогласных бесконечно, даже если об их заслугах в разгроме Временного правительства и в Гражданской войне слагали хвалебные песни народ. Во время празднований десятой годовщины Октябрьской революции организованные оппозицией демонстрации столкнулись с атаками официальных демонстрантов. Дошло до того, что машина Троцкого была обстреляна в центре Москвы, и, хотя никто не пострадал, безрадостная картина острого политического противостояния проявлялась все резче и острее. В беспорядках тут же обвинили оппозиционеров, и ЦК немедленно потребовал прекратить «смычки» — нелегальные собрания троцкистов на частных квартирах. Через неделю, 16 ноября, Троцкий и третий член оппозиционной «тройки», тоже в прошлом ближайший соратник Ленина, а совсем недавно глава «штаба мировой революции» — Коминтерна, Григорий Зиновьев были исключены из партии большевиков («уход» Зиновьева предсказал не так давно Ходасевич при расставании с Горьким). На следующий день застрелился один из основных сторонников Троцкого,

его заместитель в Главконцесскоме Адольф Абрамович Иоффе. Медленно, но неуклонно начались репрессии — чистки, увольнения, аресты. Наконец, взяли и самого Троцкого. Пока только для того, чтобы выслать его из Москвы. 18 января 1928 года его под конвоем отправили в Алма-Ату. Сторонников мятежного лидера рангом ниже отправляли в места, значительно более удаленные от столицы. Елене Константиновне пока везло.

В это же самое время в солнечной, хотя и фашистской Италии шла совсем другая жизнь: в конце 1926 года появились листовки, рекламирующие манифест итальянских имажинистов — газету «La ruota dentata» («Зубчатое колесо»). Еще до своего отъезда в их подготовке принимала участие Елена Феррари^[269]. А в начале 1927 года вышел первый и, как потом оказалось, единственный номер газеты, в котором, помимо произведений таких известных фигур авангардизма, как Виничо Паладини и Умберто Барбаро, были опубликованы и ее произведения, в том числе стихотворение «Золото кажется белым...» («L'oro si discolora»). Кроме нее из русских футуристов в этом же номере было представлено и стихотворение Маяковского «Военно-морская любовь» («Amore navale-militare»), причем указывалось, что его перевел Умберто Барбаро (Феррари была упомянута без переводчика)^[270]. Есть мнение, что Елена Константиновна имела отношение не только к подборке текстов, но и к финансированию этого проекта^[271]. И, наконец, 27 мая впервые за последние семь лет все из той же Италии на родину приехал Максим Горький.

Остановившись ненадолго в Москве, он отправился вскоре в турне по Советскому Союзу и за лето побывал в Курске, Харькове, Ростове-на-Дону, Тбилиси, Ереване, Владикавказе, Царицыне, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Крыму. Восторгался увиденными «потемкинскими деревнями», поражал встречающих «богатырской формой» и «крепким рукопожатием» (они не читали его писем Ганецкому, в которых он жаловался на совсем ослабшее здоровье), словом, он был прежний «Буревестник», который, как надеялся преданный ему народ, выбирал себе место для «гнездовья» на родине.

Искала ли наша героиня встречи с Горьким или ее совсем замело бухгалтерской пылью Главконцесскома? И если да, то что она хотела, что могла сказать ему при встрече? Показать публикации в журнале «Пионер»? И что мог сказать ей в ответ он? В любом случае, наверное, она хотела его увидеть — кажется, она все-таки считала его своим учителем, любила и

уважала. Скорее всего, она хотела этой встречи и боялась ее — потому что говорить больше было не о чем. Литература так и не стала ее работой, биография взяла верх над мечтой. И даже романтическая — шпионская — часть жизни, и та осталась за кормой так и не доплывшего до жирафов корабля ее грез. В прошлом растворялись яркие впечатления и острые ощущения, дарованные жарким Принкипо, мусорным Константинополем, эмигрантским муравейником Берлина, тревожным Парижем и перченой Италией — все ушло, жизнь кончилась.

Еще одна загадка: по большому счету Елена Феррари могла писать, основываясь на воспоминаниях, как это делало большинство других советских авторов. Не захотела? Может быть, в эмигрантском Серебряном веке, при всей его дури, нищете и позерстве, живо было веселое озорство или эдакая inferнальная депрессивность, которые она на себя примеряла-примеряла, да так и не смогла решить: брать или не брать? А советской писательницей (поэтессой) — по примеру тех же Светлова, Багрицкого, Сельвинского и многих других — тоже становиться почему-то не захотела: почему? Слишком часто, гораздо чаще, чем хотелось бы, в случае с Еленой Феррари приходится делать всякого рода не подтвержденные ничем предположения: мало сохранилось документов, воспоминаний, очень мало сохранилось свидетельств о ней как о личности, но тем интереснее будет, если со временем мы узнаем новые, еще неизвестные нам подробности о ее жизни. А пока...

Горький покружил, покружил над Россией, да и вернулся в Италию. Потом приехал еще раз, но теперь уже по городам и весям его не пустили. Упаковали на пароход «Глеб Бокий» и отправили смотреть Соловецкий концлагерь, восторгаться методикой «перевоспитания преступного элемента». Классик послушно ахал и радовался — об этом написано немало. Соловки и другие острова постепенно выступающего на поверхность после отхлынувшего девятого вала революции архипелага с восторгом встречали Горького, других писателей, не забывая принимать новых колонистов. Трудно отделаться от ощущения, что сама Елена Константиновна чудом избежала встречи с мэтром в северных землях: круг ее общения — и на работе, и среди старых друзей — стал объектом пристального внимания ОГПУ, которое продолжало «вычищать» троцкистов по всей стране.

Даже если квартира в Кривоколенном, 5, и не использовалась, по старой привычке, для «смычки» сторонников Троцкого, оставаться вне волнений в партийной верхушке Елена Феррари не могла в силу своего положения — и как работница Главконцесскома, и как бывшая анархистка,

среди знакомых которой до сих пор оставались люди, не согласные с генеральной линией партии большевиков. Заметный удар по ближайшему окружению Елены Константиновны был нанесен в мае 1928 года (по другим данным, это произошло еще раньше): взяли отца троих детей, журналиста и прирожденного оппозиционера Игоря Саблина. Он был арестован ОГПУ «по подозрению в попытке создания антисоветского анархического кружка» и вскоре осужден на три года ссылки с последующим поселением в Казахстане на тот же срок. Лишь в 1934-м вернется герой Гражданской войны в Москву и тихо устроится литературным и техническим редактором издательства «Физкультура и туризм» — ненадолго, чтобы вскоре снова быть арестованным. И все же Саблину — одному из очень немногих героев нашей истории — повезет пережить Большой террор и дожить до старости, проведя в общей сложности в сталинских лагерях около четверти века — поистине такое дано не каждому^[272].

18 января 1929 года настала очередь главного оппозиционера: Лев Троцкий был приговорен Особым совещанием при коллегии ОГПУ к высылке за пределы СССР. 12 февраля на пароходе «Ильич», носившем когда-то имя Николая II, Троцкий отплыл из Одессы и в сопровождении сотрудников ОГПУ был доставлен в Константинополь, повторив отчасти маршрут армии Врангеля, выбитой когда-то из Крыма Красной армией, к созданию которой он приложил невероятные усилия. Троцкий даже успел пожить три месяца в бывшем российском императорском посольстве на берегу Босфора — совсем недалеко от того места, где всего восемь лет назад стояла на своей последней стоянке яхта «Лукулл». Покинув посольство, он отправился в другое, хорошо знакомое его бывшей сотруднице место: на остров Принкипо, где для проживания высланного из «социалистического рая» вождя был арендован особняк. Следующие четыре года он проведет там, ловя рыбу, изучая языки, воочию наблюдая «мадама», Фазилет, Джона и, возможно, даже лично познакомится с ослом Кемалем. Как и в случае с Еленой Феррари, Принкипо оставит в сердце Троцкого неизгладимый след, а в творчестве отзовется книгой. Как раз здесь Лев Давидович закончит и отправит в печать свой фундаментальный труд «История русской революции».

В 1933 году его выгонят и с Принкипо — Троцкий отправится во Францию, а из Италии в это же время окончательно вернется в Москву Горький. Все поменялись местами, все ехали навстречу друг другу, но никто ни с кем не встретился. Теперь уже и Феррари стало некогда: в 1930-м она окончательно рассталась и с Главконцесескомом, и с мечтой стать

ПОЭТОМ.

Люся Ревзина вернулась в разведку.

Глава четырнадцатая

«Люси́» и «Ольга» для «Фантомаса» и «Жиголо»

*До Эйфелевой — рукою подать!
Подавай и лезь.
Но каждый из нас — такое
Зрел, зрит, говорю, и днесь,
Что скушным и некрасивым
Нам кажется ваш Париж.
«Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?»*

*Марина Цветаева «Лучина».
Париж. Июнь 1931 года*

К марту 1930 года Елена Феррари уволилась сначала из Главконцесскома, затем из Фотокинокомитета, где проработала около месяца, и с 1 апреля поступила в распоряжение начальника IV Управления Штаба РККА. На первый взгляд следующие два года ее жизни выглядят для исследователей почти полностью белым пятном. Но только на первый взгляд.

Именно в это время была поставлена точка в ее прижизненной литературной судьбе. В рабочем архиве серии «Литературное наследство» Института мировой литературы имени все того же А. М. Горького сохранился двухстраничный документ под названием «Список лиц, выбывших из числа членов ВССП по перерегистрации, утвержденной 19 августа 1931 года». Под номером 96, между Андреем Васильевичем Успенским и Анастасией Ивановной Цветаевой, числится она — «Феррари Е. К.». ВССП — это созданный в 1929 году Всероссийский союз советских писателей, одна из многих писательских организаций, существовавших параллельно со знаменитой РАПП (Российской ассоциацией пролетарских писателей). ВССП был призван заменить ВСП — Всероссийский союз

писателей, куда входили, помимо прочих, и Шкловский, и Ходасевич и который воспринимался как своеобразный профсоюз литераторов-«попутчиков», способных «перевоспитаться» и передать полезные навыки уже насквозь советской литмолодежи.

Понятно, что в 1920-е годы Елена Константиновна как-то тянулась к большой литературе — может быть, даже вопреки своей дружбе с футуристами, потому что с каждым годом ускорялся дрейф советских писательских организаций в сторону формализации профессии и принятия соцреализма как единственно верного метода отображения действительности на бумаге. Но то, что она вступила в ВССП (а это не могло произойти раньше 1929 года), показывает, что еще в конце десятилетия она надеялась вернуться в литературу — литературу уже абсолютно советскую, не предусматривавшую метаний — ни шага влево, ни шага вправо. Движение к приемлемым для власти (и власти необходимым) формам завершилось созданием в 1934 году Союза советских писателей под руководством Максима Горького, и на непростом пути к нему необходимо было время от времени проводить «чистки» — писателей становилось и многовато, и не все были властью поняты. Некоторых исключали за несоответствие формальным признакам, как, например, Анастасию Ивановну Цветаеву — за неорганизацию творческих вечеров. Некоторые потом были восстановлены, но даже те, кто не вернулся, продолжали издаваться — чистка не была фатальной. Не повлияла она и на карьеру Елены Феррари, она лишь поставила точку в ее литературной деятельности. Эпоха романтики, молодости, стихов окончательно ушла в прошлое. Настало время разведки.

С 1930 года наша героиня работала в Париже, хотя в популярной версии ее биографии местом командировки по неизвестной причине указана Италия^[273]. Однако в представлении на награждение Елены Феррари орденом Красного Знамени сказано вполне четко и недвусмысленно: «С половины 1930 г. и по настоящее время (видимо, не позже февраля 1933 года. — А. К.) она находится на нелегальной агентурной работе во Франции, в ответственной роли помощницы руководителя нашей разведки в этой стране и весьма умело и добросовестно выполняет свою работу, способствуя нашей осведомленности о состоянии, силах и намерениях одного из наших основных противников — капиталистической Франции»^[274]. То, что она работала в Париже, подтверждают и другие источники, которым можно (и следует) доверять. Более того, именно когда наша героиня находилась во

Франции, в 1930–1932 годах, произошло сразу несколько важнейших событий, повлиявших не только на ее судьбу, но даже на память о ней.

В 1927 году в парижской резидентуре IV Управления случился очередной провал. Когда Елена Константиновна только засела в Москве за подготовку справок о масштабах добычи нефти на Сахалине японскими концессионерами, тогдашний глава разведсети во Франции Стефан Узданский уже развернул бурную активность по вербовке и привлечению к работе в пользу советской военной разведки французских коммунистов. Причем Узданский и его помощник Гродницкий сделали своим доверенным лицом в этой работе члена ЦК и политбюро ФКП, секретаря профсоюза кораблестроителей и металлургов Жана Креме. Тот, в свою очередь, отнесся к работе на разведку как к очередному этапу профсоюзной деятельности, привлекая в нее все новых и новых людей без всякой проверки и не следуя в дальнейшем элементарным правилам конспирации. Неудивительно, что французская контрразведка с легкостью отследила всю цепочку и в апреле 1927 года арестовала более ста человек, работавших на советскую разведку, во главе с самим резидентом. Наручников удалось избежать только самому Креме, но удар по сети был нанесен сильнейший^[275].

Новым резидентом был прислан Павел Владимирович Стучевский, который постарался учесть ошибки своего предшественника. Поначалу он максимально дистанцировался от французских коммунистов и членов профсоюзов, за которыми внимательно наблюдала местная полиция, но затем пришлось все вернуть на круги своя. Центр, одной рукой запрещавший всякие контакты с левыми, другой непрерывно требовал все новых сведений, получить которые можно было только от тех же левых, и в 1929 году Стучевский пошел на создание так называемой «сети рабкоров», то есть «рабочих корреспондентов» — формально газеты местных коммунистов «Юманите», а де-факто — советской военной разведки. Бывший рабочий из департамента Луара по имени Клод Лиожье, почувствовавший вкус к литературной работе и даже написавший роман «Сталь» (ох уж эта тяга коммунистов к черной металлургии!), занялся сбором информации, которую присылали в «Юманите» рабочие со всей Франции, рассказывающие о конфликтах между хозяевами и работниками, изменениях штатов, производственных заданий, оборудовании заводов и т. д. Используя специальный вопросник, подготовленный еще улизнувшим из рук полиции Креме, Лиожье выбирал из этой горы информации всё, что могло заинтересовать советскую разведку, и передавал сотруднику

резидентуры по кличке «Фантомас» — Исайте Биру^[276].

Провал этого очередного грандиозного мероприятия был лишь вопросом времени и удачливости разведчиков, в том числе Бира.

«Фантомас», согласно некоторым источникам, родился в Палестине, но считал себя поляком. По сведениям историка Дэвида Даллина, Бир был «лишен польского гражданства за уклонение от военной службы и приехал во Францию, чтобы изучать инженерное дело в Тулузе. Потом, начав свою разведывательную карьеру, он работал сначала на химическом, а потом на металлургическом заводе. В 1929 году, когда он стал главой группы советских агентов, ему исполнилось всего 25 лет. Молодой возраст членов группы (Бир был самым старшим среди них) представляется одной из интересных особенностей этой группы.

Бир жил в скромной комнате гостиницы, не получал почты и почти не принимал посетителей. Строго соблюдая инструкции, он назначал свои многочисленные встречи в парках и кафе. Его прозвали „Фантомасом“ из-за способности уходить от слежки и неожиданно появляться. Полиция не без доли восхищения не раз докладывала, как „Фантомас“ хитро менял автобусы, чтобы уйти от наблюдения, и как он ускользал через проходные дворы. Он никогда не появлялся в посольстве. Его связной была молодая девушка, которая приходила к нему только после одиннадцати часов вечера.

„Люси“ — под этим именем ее знали — предпринимала все меры предосторожности и никогда не попадала в поле зрения полиции. А в отеле ее ночные визиты принимали за любовные дела»^[277].

«Молодой девушкой по имени Люси», умевшей грамотно уходить от слежки и никогда не попадавшей в поле зрения полиции, была она — тридцатилетняя Люся Ревзина, Ольга Голубовская, Елена Феррари.

В докладе «О работе Парижской резидентуры по данным на 1.IV-1931 г.» сообщалась детальная информация о помощнике резидента, связанном с «Фантомасом»:

«1. Люси: имеет большой стаж разведывательной работы, в наших органах работает, кажется, с 1920. Работала нелегально в Турции и Германии, а также в нашем представительстве в Риме. Хорошо знает немецкий, французский и итальянский языки, более слабо — английский. Имеет большие лингвистические способности и быстро усваивает языки вообще. Хорошая и энергичная работница. Состояние здоровья слабое (аппендицит, слабые легкие и т. д.). Живет по австрийскому паспорту (настоящий). Легализована как студентка в Сорбонне.

Люси: 603, 605, 609, 645, 657, 658, 660 (номера агентов, которых курировала Феррари. — А. К.), сербские партсвязи, отправка почты, фотография (пригодилась екатеринославская школа и „тренировка“ на Горьком. — А. К.), связи на границе в Метце, склад...»^[278]

Помимо того, что мы уже о Феррари помним (например, о ее энергии и незаурядных лингвистических способностях), из этой характеристики мы узнаём, что она жила в Париже в значительно более опасных условиях, чем в Риме, где находилась «под крышей» советского представительства, и даже в Германии, где полиции в то время было не особенно интересно разбираться с гигантской русской диаспорой — хватало внутренних проблем. Поступившая в Сорбонну гражданка Австрии, чье имя по паспорту нам по-прежнему неизвестно (вряд ли она и здесь фигурировала как Феррари, хотя всякое возможно), рисковала в случае провала тремя-пятью годами тюрьмы — французские законы в отношении шпионов были не слишком суровы. Но все равно: тюрьма есть тюрьма, и попасть туда не хочет никто. А обязанности у «Люси» были весьма опасными. Помимо связей с «Фантомасом», что само по себе было хождением по острию ножа, и с сербскими коммунистами, которых тоже немало осело во Франции, здесь и работа с фотолабораторией (то есть масса улик, которые в случае внезапного обыска трудно было бы уничтожить), и курьерская служба.

Технические возможности того времени не позволяли использовать для связи с Москвой радиостанцию, а значит, все документы приходилось передавать лично, переведя данные на бумагу или в микрофильмы. Курьер — судя по всему, часто это была сама Елена Феррари — с крайне опасным грузом, спрятанным на себе или в личных вещах, отправлялся поездом в Мец (Метц, Metz) на франко-германской границе, где встречался с другим курьером — из по-прежнему огромной (более двухсот человек) берлинской резидентуры. Тот отвозил передачу на автомобиле на 60–70 километров вглубь Германии, где передавал следующему, и т. д.^[279] Дополнительную опасность представляло и «окно» на границе — сам небольшой городок Мец. Интерес к нему проявляла не только советская, но и другие разведки, в том числе и французская. Здесь был расположен один из трех ее разведывательных центров, ориентированный на работу против Германии^[280], и Мец — родина великого французского поэта Поля Верлена (знала ли об этом автор «Эрифилли» и «Принкипо», читала ли?) был наполнен «рыцарями плаща и кинжала», как средневековая Франция когда-то рыцарями настоящими.

Работа, сопряженная с постоянным стрессом и риском попасться,

истощала сотрудника резидентуры — и физически, и психологически. А если вспомнить, что к этому добавлялись ночные визиты к «Фантомасу», а здоровье у нашей героини всегда оставляло желать лучшего, неудивительно, что на личной связи у Феррари состояло всего семь человек — невероятно мало в масштабах ее большой, аморфной и малоэффективной организации. О том, что гнездо советской разведки таковым и являлось, свидетельствовала профессиональная статистика: «Резидентура в Париже представляла собой громоздкую структуру с большим числом людей и разветвленным агентурным аппаратом. С 1931 г. по 1933 г. резидентурой руководили пять резидентов, сменяя один другого („Винтер“, „Мария“, „Марк“, „Катя“, „Ами“). При этом первые трое имели двух помощников, последние двое — по одному. Как следствие — чрезмерная перегруженность резидента и его помощников (помощника): 18–15 (так в документе. — А. К.) связей на каждого. В 1931 году резидентура насчитывала от 63 до 66 человек; в 1933-м — от 41 до 50.

В агентурной сети парижской нелегальной резидентуры из общего числа агентов (в 1932 г. до первого провала было 45 агентов-источников, в 1933 — около 20) ценных агентов было не более семи человек»^[281].

Елена Константиновна завершила командировку во Францию в начале весны 1932 года. В соответствии с одной из версий, это случилось, когда из шкафа памяти белогвардейской эмиграции на Феррари вывалился поросший ракушками остов яхты «Лукулл». «Операцией, по воспоминанию Феррари», руководил наш старый знакомый Николай Николаевич Чебышёв. Он же — в единственном числе — стал ее исполнителем.

17 октября 1931 года на четвертой полосе эмигрантской газеты «Возрождение» появился очерк Чебышёва под названием «Гибель „Лукулла“», посвященный десятилетию трагических событий на рейде Константинополя. Как и следовало ожидать, заметка прошла еще более незаметно, чем новости о самом событии десять лет назад. И подавно не вспомнили бы о ней сегодня и мы, если бы 2 марта 1932 года в одном из парижских баров не состоялась встреча Чебышёва с бывшим другом Горького поэтом Владиславом Ходасевичем, отраженная в дневнике последнего с пометкой «о Феррари». Спустя почти полгода (!), 25 июля, в день начала суда над террористом Павлом Горгуловым, убившим президента Франции (Чебышёв освещал процесс как журналист, а потом в числе немногих был допущен на казнь), Николай Николаевич вдруг, ни с того ни с сего, вернулся к теме «Лукулла», опубликовав в «Возрождении» на второй и третьей полосах тот самый текст, который вывел нашу героиню в бессмертие:

«Кстати, о гибели „Лукулла“, протараненного 15 октября 1921 г. на Босфоре итальянским пароходом „Адриа“ в таком месте, где „Адрии“ не полагалось совсем проходить. Имелись основания предполагать, что это сделано умышленно и на пользу большевиков. Только они одни были заинтересованы в несчастье с Врангелем, который в момент потопления яхты, благодаря лишь счастливой случайности, на ней не оказался.

Но все исчерпывалось по вопросу о прикосновенности большевиков к потоплению „Лукулла“ этими предположениями до последнего времени. Над такими делами, однако, встает фатум, вдруг, откуда ни возьмись, пронесутся Ивиковы журавли, небесные обличители. И вот, уже здесь, в Париже, когда по случаю десятилетия крушения упомянули яхту главнокомандующего, шалость рока, точно набежавшая волна, прибила что-то, обломок чужого воспоминанья, улику против „советчиков“.

Один мой собрат по перу, человек очень известный, серьезный, не бросающий на ветер слов, умеющий и говорить, и внимательно слушать, — назовем его Ф. (позже, в книге Николая Чебышёва — „Х.“. — А. К.) — прочитал мой очерк „Гибель ‘Лукулла’“ и поспешил меня осведомить. Вот вкратце то, что он рассказал: Ф. в 1922 г. жил в Берлине. В литературных кружках Берлина он встречался с дамой Еленой Феррари, 22–23 лет, поэтессой. Феррари еще носила фамилию Голубевой. Маленькая брюнетка, не то еврейского, не то итальянского типа, правильные черты, хорошенькая. Всегда была одета в черное.

Портрет этот подходил бы ко многим женщинам, хорошеньким брюнеткам. Но у Елены Феррари была одна характерная примета: у ней недоставало одного пальца. Все пальцы сверкали великолепным маникюром. Только их было — девять.

С ноября 1922 г. Ф. жил в Саарове под Берлином. Там же в санатории отдыхал Максим Горький, находившийся в ту пору в полном отчуждении от большевиков.

Однажды Горький сказал Ф-у про Елену Феррари:

— Вы с ней поосторожнее. Она на большевичков работает. Служила у них в контрразведке. Темная птица. Она в Константинополе протаранила белогвардейскую яхту.

Ф., стоявший тогда вдалеке от белых фронтов, ничего не знал и не слышал про катастрофу „Лукулла“. Только прочитав мой фельетон, он невольно и вполне естественно связал это происшествие с тем, что слышал в Саарове от Горького.

По словам Ф-а, Елена Феррари, видимо, варившаяся на самой глубине котла гражданской борьбы, поздней осенью 1923 года, когда готовившееся

под сенью инфляционных тревог коммунистическое выступление в Берлине сорвалось, уехала обратно в советскую Россию, с заездом предварительно в Италию. <...>

Слова Горького я счел долгом закрепить здесь для истории, куда отошел и Врангель, и данный ему большевиками под итальянским флагом морской бой, которым, как оказывается, управляла советская футуристка с девятью пальцами!»^[282]

В истории с этой публикацией есть несколько загадок, не разрешенных до сих пор. Главных из них три (и в каждой по несколько своих, более мелких, «подзагадочек»):

Первая: почему Ходасевич молчал об услышанном девять лет и только теперь решил рассказать Чебышёву, с которым он регулярно встречался и раньше (это видно по дневнику), о якобы полученной когда-то от Горького характеристике Феррари? Может быть, он встретил ее случайно на улице (Париж был полон бывшими берлинскими соседями, и было бы странно, если бы они не сталкивались время от времени лицом к лицу) и... вдруг вспомнил?

Вторая: что в реальности слышал или не слышал о Феррари Ходасевич в доме Горького?

Третья: действительно ли у Люси Ревзиной — Ольги Голубовской — Елены Феррари не хватало одного пальца на руке, а значит, о ней ли вообще речь?

Время публикации Чебышёва — крайне непростой период в жизни Ходасевича. В 1925 году советское полпредство в Риме, где как раз тогда служила Елена Феррари, отказало ему в продлении паспорта, предложив вернуться на родину. Поэт и его жена стали эмигрантами, а участь эмигрантского поэта, как правило, горька. В этот же самый момент пережили стадию перелома его отношения с Горьким. Алексей Максимович начинал все больше склоняться к мысли о возвращении, что Ходасевич воспринимал как личное предательство по политическим мотивам: «...у меня произошел разрыв с Горьким, чисто политический. Лично мы ничем друг друга не обидели. Но я просто в один прекрасный день перестал ему отвечать на письма. Я устал от его двуличности и лжи (политической!), устал его изобличать. А делать вид, будто не замечаю, — не могу. Это значило бы — лгать самому, двуличничать самому. Он же лгал мне в глаза бесстыдно. Будучи пойман, делал вид, будто и не слышит, и лгал сызнова»^[283].

Думаем, Ходасевич не просто «устал» от «двуличности» Горького. Он

оказался недоволен тем, что тот не оправдал надежд Владислава Фелициановича, который сам себя полагал одним из трех последних великих стихотворцев России (формально — наряду с Андреем Белым и Анной Ахматовой^[284], но внутренне — наверняка лучшим, единственным) и исполнителем особой миссии в отношении Горького: «...тут и причина моего разъезда с Горьким (при неомраченных личных, чаепитийных отношениях), и того, что уже больше года мы даже не переписываемся. Он недоволен мной, я — тем, что, признаюсь, за три года не добился от него того, что почитал своей „миссией“. Я все надеялся прочно поссорить его с Москвой. Это было бы полезно в глазах иностранцев. Иногда казалось, что вот-вот — и готово. Но в последнюю минуту он всегда шел на попятный. После моего отъезда покатился тотчас по наклонной плоскости и докатился до знаменитого письма о Дзержинском. Природа взяла свое, а я был наивен, каюсь»^[285]. Теперь же, порвав с Горьким, Ходасевич почти полностью прекращает прочее литературное творчество и берется за... воспоминания о Горьком. Поистине странный ход для того, кто покидает врата темницы, остаться жить у этих врат.

И если в отношении самого «Буревестника» еще можно было бы ожидать от Ходасевича какого-то признания таланта и заслуг, то все остальные — ближний круг Горького, начиная с его сына, выглядящего порой, по Ходасевичу, не вполне психически нормальным чекистом, до дальнего, оказались достойны пера «стихотворца» лишь в уничижительном контексте. Даже само слово «большевичков», якобы употребленное Горьким в разговоре о Феррари, явно не из лексикона Алексея Максимовича, зато прекрасно «ложится на язык» язвительного до ядовитости Ходасевича.

Важный момент: Елена Константиновна, относящаяся к самому дальнему кругу, не удостоилась и упоминаний о себе, но вдруг... Да, вполне можно предположить, что Ходасевич случайно встретил ее где-то в Париже, или увидел в кафе, или услышал от кого-то о ней и, сопоставив гулявшие по Берлину 1922 года свежие тогда сплетни о «чекистском следе» в гибели врангелевской яхты, «слил» их Чебышёву. Надо иметь в виду также, что и сам Чебышёв — журналист «из адвокатов» и редактор, способный хоть куда-то пристроить работы Ходасевича, мог быть интересен Владиславу Фелициановичу с практической точки зрения. А вот для Чебышёва Ходасевич, скорее всего, ассоциировался с близким окружением пролетарского писателя, и тому еще надо было заслужить доверие бывшего врангелевского журналиста. Чем и как? Предположим,

рассказом о роли «чекистов» в драме яхты «Лукулл» (которую Чебышёв принимал близко к сердцу), где сам эпитет «большевички» из уст Ходасевича заслуживал аплодисментов.

В способности Владислава Фелициановича высокохудожественно преобразовать действительность в личных целях не раз убеждались и его современники, и читатели последующих поколений. О способностях Ходасевича, основанных на его закомплексованности, обидчивости и злопамятстве, отношениях, например, с Валерием Яковлевичем Брюсовым, в которых такое умение раскрылось во всей красе, рассказал литературовед и историк Василий Элинархович Молодяков^[286]. И это явно не единственный пример.

Что же касается Люси Голубовской, то мы помним, что в берлинский период она была довольно откровенна с Горьким и не особенно скрывала от него свои взгляды, политические убеждения и, возможно, какие-то упоминания об истинной цели нахождения в Европе. Мог знать что-то о ее работе и Максим Пешков — уровень конспирации в спецслужбах вообще был невысок: вспомним известное всем литераторам того времени хвастовство друга Есенина и Кусикова, убийцы посла Мирбаха Якова Блюмкина, обещавшего расстреливать и миловать каждого по собственному усмотрению, потому что он чекист, ему можно всё. Конечно, Люся Голубовская — не Блюмкин, но воспоминания о недавней Турции наверняка сочлились не только из ее стихов, но и из уст при общении с людьми, близкими к Горькому, да и просто с берлинскими литературными соседями. По сути своей 23-летняя шпионка была еще провинциальной романтической барышней и не очень хорошо понимала, о чем можно говорить, а о чем лучше скромно умолчать — как и многие, куда более солидные и умудренные опытом разведчики тех лет.

С другой стороны, что бы такое ни услышал Ходасевич о Феррари или что передали ему о ней другие люди, особой веры Владиславу Фелициановичу тоже не было. Чебышёв пишет о нем: «Один мой собрат по перу, человек очень известный, серьезный, не бросающий на ветер слова, умеющий и говорить, и внимательно слушать», вероятно, в надежде, что это повысит уровень доверия к рассказу. Но этого не происходит — как и десять лет назад. И если тогда, когда таран яхты стал важной и шокирующей новостью, разговоры о нем утихли через несколько недель, то теперь столь важное и шокирующее, по мнению Чебышёва, признание и вовсе не встретило никакого отклика — совсем. Во-первых, что, как ни крути, все это уже стало историей, делом давно минувших лет. Во-вторых, не потому ли, что Ходасевича узнали, репутация «Ф»-«Х» как фантазера

была прекрасно известна парижским эмигрантским кругам. И чем могли доказать свою версию причастности Елены Феррари к гибели «Лукулла» Чебышёв и Ходасевич? И кто это такая? И для чего вообще все это было написано?

Главным доказательством вины Феррари загадочным образом становится отсутствие одного пальца на ее руке. При этом, правда, не говорится, какого именно, на какой руке, что странно: Ходасевич был знаком с Люсей Ревзиной лично и уж хотя бы такую деталь должен был запомнить (многочисленные упоминания о левой руке возникли много позже). Ни по одной из сохранившихся фотографий нельзя понять, действительно ли это так, на самом ли деле пальцев было девять. На знаменитом фото, сделанном в Берлине, правой рукой Елена Константиновна опирается на лысую голову Шкловского, и, пожалуй, можно с уверенностью говорить, что на правой руке все пальцы в наличии.левой она держит плакат «К фотографу», но пальцы видно плохо. Предположим, что их четыре, не хватает большого, но на одной из самых последних ее фотографий, где она запечатлена в объятиях брата, этот большой палец левой руки виден совершенно отчетливо, как и по крайней мере часть левого мизинца. В воспоминаниях всех семей, имевших отношение к Ольге Ревзиной, — Ревзиных, Малкиных и Голубовских, не сохранилось никаких упоминаний о том, что у «тети Люси» недоставало одного пальца, фаланги или вообще имелся в наличии хоть какой-то физический недостаток. Нет указания на эту, явно очень особую, примету и ни в одном из известных нам документов разведки. Рассказы о том, что палец ей оторвало во время боев на Украине, после чего она попала в госпиталь и благодаря этому там ее заметил бывший глава Региструпра Семен Аралов, стоит списать на бурную фантазию автора этой легенды — пока не представлено убедительных ее подтверждений. Во-первых, как мы убедились по фото, все пальцы на месте. Если такая травма и была получена, то Люся, скорее всего, лишилась не пальца целиком, а одной из фаланг кисти левой руки. Действительно ли кто-то верит, что в Гражданскую войну с таким ранением можно было попасть в госпиталь? Автор этой книги, работая в юности на заводе, отрубил себе палец фрезой. После двух часов ожидания в районном травмпункте и укола новокаина студенты-медики пришили палец на место (не очень удачно, надо признать), после чего отправили раненого домой. Никакой больничной койки, никаких генералов — хотя бы от производства. И это в мирное время. Правда, Ольга Голубовская могла попасть в госпиталь с другим ранением, например с контузией, и еще и с оторванной фалангой. Но не

кажутся ли эти логические конструкции выполненными специально для того, чтобы убедить себя: пальца не было? Да и что в реальности могла дать эта информация читателям Чебышёва? Только навести на след Феррари, если снова, в очередной раз допустить, что она и Ходасевич встретились где-то в Париже и он знал места, где Елена Константиновна бывает. Но почему тогда газетный очерк, а не донос в полицию? И разве отсутствие одного пальца является доказательством того, что обладатель остальных девяти время от времени топит вражеские яхты? Уж Чебышёв, как бывший блестящий адвокат, должен был понимать нелепость этого обвинения. Или журналистский запал полностью вытеснил из его сознания здравый смысл?

Чебышёв и Ходасевич разговаривали о Феррари 2 марта 1932 года. Полный очерк появился только в июле, когда «Люси́» уже убралась из Парижа. Был ли ее отъезд связан с нависшей из-за белых журналистов угрозой? Велик соблазн ответить утвердительно. Тогда можно было бы сказать, что по результатам публикации не было принято никаких мер, потому что статья спугнула разведчицу и ловить стало некого. Но... мы знаем, что стандартный срок командировки за границу в советской военной разведке составлял два года — для Елены Феррари он истекал как раз в марте — апреле 1932-го. Кроме того, в одном из доступных нам документов (сообщении Центра в Париж от 29 марта) во вполне рутинном стиле сообщается об ожидаемом скором прибытии «Люси́» в Москву — никакого форс-мажора, никакой срочной эвакуации, ничего подобного. Да, Елена Феррари действительно в то время находилась во Франции на грани провала, но совершенно по иным причинам, а в Центре ее ждали с докладом не только по состоянию дел в парижской резидентуре, но и в связи с одной малозаметной тогда операцией, которой, вопреки ожиданиям ее участников, как раз и суждено было войти в историю.

В самом начале 1932 года Москва озадачила очередного резидента в Париже неожиданным указанием:

«...5. Просим поинтересоваться, не можете ли Вы при помощи Ваших связей найти среди журналистов, инженеров или коммерсантов — лиц, которые подошли бы для нашей работы и могли бы крепко осесть в Японии. Вопрос о посылке туда людей в настоящее время имеет для нас большое значение и поэтому этим нужно заняться серьезно...

21.1.32 г. Мальта»^[287].

Центр даже предложил — на усмотрение Парижа — свою кандидатуру из числа французских агентов: некоего № 658 — «тип международного шпика, в своей работе прикрывающегося фразами о пацифизме и борьбе с

немецким милитаризмом». «Вел» его сотрудник резидентуры Д., а курировала работу с № 658 в целом (ежемесячные встречи) — агент «Люси»^[288]. После некоторых размышлений № 658 забраковали, и вскоре этот агент погиб в случайной автокатастрофе по дороге из Женевы в Париж, а 27 января Центр повторил свою, недельной давности, настойчивую просьбу относительно подбора человека для работы в Японии.

Решение было принято чуть менее чем через месяц. 22 февраля из Москвы в Париж отправилось очередное сообщение: «Жиголо мы решили использовать на Желтых островах...»^[289]

«Жиголо» — сербский коммунист Бранко Вукелич. Его поставили на учет в парижской резидентуре как перспективного агента еще год назад, в первом квартале 1930 года. Строго говоря, изначально военная разведка положила глаз на его брата, и год спустя, в апреле 1931-го, докладывала в Москву:

«...2. 605 *Славко Вукелич*, инженер-электрик, серб, 23–25 лет, коммунист, по нашим указаниям отошел от партии... Работает идейно, это тип партийного энтузиаста, мечтающего попасть в СССР. Женат на молодой женщине 20 лет, дочери с-д русского эмигранта Коварского. Жена находится всецело под его влиянием, с семьей порвала и тоже, как и он, мечтает о возможности попасть в СССР. По профессии она фотограф (отличный вариант семейного подряда для подпольной работы. — А. К.)^{25}. <...>

605 имеет брата, тоже инженера-электрика, работающего в торговом отделе одной маленькой фабрички по различным электроприборам. Его предприятие для нас интереса не представляет. Он беспартийный, более материалистичен, чем его брат, не прочь подработать от нас. Получен... независимо от брата, в начале 1930 г. О работе брата, однако, знает. Денег от нас не получал. Хочет натурализоваться и пойти отбывать военную службу во французской армии... Обещал работать для нас после поступления в армию. До сих пор давал случайные материалы по поставкам для армии различного электрооборудования»^[290].

Из этого сообщения понятно, что Бранко, хотя и знал, что его брат связан с русскими, не стал пользоваться его протекцией и вообще относился к ремеслу разведчика более прагматично. Тем не менее он тоже, как и Славко, симпатизировал коммунистам и хотел помогать им. А уж если удастся при этом еще и заработать — почему бы и нет? Тем более что затея со службой и в югославской армии провалилась с треском: у молодого

человека было слабое зрение, Бранко носил очки, и непонятно, на что надеялся, собираясь служить во Франции или на родине в строю и с винтовкой в руках. Зато ему как нельзя лучше подходил вариант службы, описанный английским поэтом и разведчиком Редьярдом Кипплингом:

Не там, где летит эскадрон,
Не там, где ряды штыков,
Не там, где снарядов стон
Пролетает над цепью стрелков,
Не там, где раны страшны,
Где нации смерти ждут,
В честной игре войны, —
Место шпиона не тут^{26}.

Три месяца понадобилось, чтобы военные разобрались со здоровьем Бранко Вукелича и комиссовали его. Вернувшись в Париж в ноябре 1931 года, он попал в самый водоворот вербовочной работы, которую в этом городе развернули резидент IV Управления и его помощницы. Они-то и указали молодому сербу «место шпиона».

Центр настоял на более интенсивном подборе кадров для работы в Японии, и те самые «сербские партсвязи», которые курировала наша героиня, подвели Бранко Вукелича к встрече с неким представителем некоей организации. Сам Вукелич думал, что человек, который встретился с ним, соблюдая нормы конспирации, представлял запрещенный Коминтерн, и пока не догадывался, что речь пойдет о советской военной разведке. Да, Бранко был готов к «особой работе», но на кого и насколько? Всего лишь немного помочь делу коммунизма или даже государству мечты — Советскому Союзу в деле «пассивной защиты» от нападков капиталистов, пока советские трудящиеся заняты строительством «социализма в одной, отдельно взятой стране». Это выглядело благородно и не слишком опасно, принимая во внимание не чрезмерно жесткие французские законы. А в то, что ему придется уехать куда-то из Европы, и тем более надолго, Вукелич не очень верил. Спустя десять лет — десять лет, проведенных в тяжелейших условиях нелегальной работы на Японских островах, давая показания во время следствия в токийской тюрьме, он будет вспоминать об этом так:

«Я был уверен, что если можно было бы лет на десять отвести от Советского Союза угрозу войны, то в стране могли бы появиться

социалистические культура, экономика и достаточно мощная система обороны, чтобы отразить любое нападение капиталистов...

Даже если при нашей жизни и не представлялось возможным совершить мировую революцию, мы могли, по крайней мере, обратить свои надежды на страну, проводившую социалистический эксперимент и таким образом оставить социалистическую идею грядущим поколениям. И я почувствовал, что эта мысль стала для меня тем побудительным мотивом, который и заставил меня принять участие в движении».

История общения Бранко с незнакомцем (вернее — незнакомкой) «из Коминтерна» подробно описана английскими историками спецслужб Фредериком Дикином и Георгом Стори на основании показаний агента «Жиголо», где ее прямая речь приводится в изложении Вукелича. Это большой фрагмент, но есть смысл привести его здесь целиком, поскольку он имеет непосредственное отношение к нашей героине^[291]:

«Незнакомец, с которым Вукеличу надлежало встретиться, оказался женщиной лет тридцати. Она называла себя „Ольгой“ и была особой спортивного вида и вкусов (так, она хвалилась своими успехами в лыжных гонках). По ее акценту Вукелич определил, что она родом из одной из балтийских стран, возможно, из Финляндии. Он встретился с ней, узнав ее по условному знаку, который был оговорен заранее. Было это в марте 1932 года.

Судя по появившимся позднее в Париже данным, можно сделать вывод, что „Ольга“ была полькой и являлась членом аппарата СМС (секция международных связей ОМС — Отдела международных связей. — А. К.) Коминтерна — жизненно важной и закрытой секции в управленческой структуре этой организации.

В своем подходе к Вукеличу „Ольга“, похоже, использовала те же основные аргументы... указав на обязанность всех коммунистов защищать Советский Союз.

Она продолжала говорить, что „особая“ работа заключалась в сборе информации. Похоже, однако, что это заставило Вукелича насторожиться, поскольку он ответил, что у него нет опыта конспиративной деятельности и что все его знания военных дел ограничиваются четырьмя месяцами военной службы.

„Но, — парировала Ольга, — обязанности включают в себя не только все эти военные детективы в духе Филиппа Оппенгейма^[27]. Я не предлагаю вам красть секретные шифры, обольщая юных офицеров, — хотя я, возможно, и не отказалась бы упасть в объятия привлекательного

молодого французского офицера, если бы это могло помочь нашему делу. Я не ожидаю, что вы станете взломщиком сейфов. Мне бы хотелось, чтобы вы использовали свой опыт в качестве журналиста“. (Вукелич сказал ей, что он когда-то, еще будучи студентом, написал две или три статьи для югославской прессы.)

Она особо подчеркнула, что Бранко должен наблюдать за событиями и анализировать их как марксист и что, куда бы его ни отправили, там обязательно будет „какой-то опытный товарищ“, который научит его всему. „А также будут и сочувствующие нашему делу, которые помогут вам в вашей работе“.

„Но почему, — спросил Вукелич, — Коминтерн не может использовать советские посольства для сбора информации?“

„Любая страна, кроме России, может использовать посольства как для разведки, так и для пропаганды. Она также может пользоваться услугами деловых фирм, миссионеров, студентов. В нашем же случае мы вынуждены полагаться на молодых коммунистов, подобных вам, и других сочувствующих. За советскими посольствами всегда ведется наблюдение, и если посольство окажется вовлеченным в эти дела, Советский Союз становится как бы сообщником Коминтерна, тогда как у советской дипломатической службы и у Коминтерна взгляды далеко не всегда совпадают“.

Когда Вукелич взмолился, что он и как коммунист не очень опытный, „Ольга“ ответила, что на самом деле это совсем неплохо, поскольку его имя ни о чем не говорит полиции.

Так что в конце концов, хотя, возможно, и без особого энтузиазма, но Вукелич согласился работать на „организацию“. „Ольга“, сообщает он в своих показаниях, велела ему уехать из Парижа. Она дала ему задание кое-что перевести, а также три тысячи франков задатка.

На их следующей встрече, состоявшейся весной где-то месяц спустя, „Ольга“ сообщила Вукеличу, что он должен будет отправиться на задание либо в Румынию, либо в Японию. Вукелич предпочел бы Румынию. Вскоре она представила его „пожилому товарищу со светлыми волосами, по виду бизнесмену, который, вероятно, тоже был родом из стран Балтии“. Человек этот говорил мало, но внимательно наблюдал за Вукеличем, задавал ему незначительные вопросы о его прошлом и о планах на будущее. Вукелич понял, что его оценивали, и был уверен, что произвел хорошее впечатление на незнакомца.

Похоже, что Вукелич еще несколько раз встречался с „Ольгой“ „до лета“ и дважды — после: в середине лета и в начале осени. Вскоре после

встречи с пожилым незнакомцем Вукеличу сообщили — предположительно „Ольга“, — что местом назначения для него будет Япония, а не Румыния, однако „приказа на марш“ пока не поступало. „Ольга“ не возражала против того, чтобы жена Эдит и сын сопровождали Вукелича на Дальний Восток, поскольку он сказал, что Эдит была квалифицированным преподавателем датской гимнастики, очень популярной в то время в Японии, и что это могло бы дать им правдоподобный повод для поездки на Восток. Соответственно, „Ольга“ назначила встречу, по результатам которой, по словам Вукелича, „некий старший товарищ — женщина — должна была сделать вывод, подходит ли моя жена для этой цели или нет“. Эдит благополучно прошла проверку...

В октябре, на последней встрече с „Ольгой“ — „в действительности она лежала в постели после операции аппендицита, но поднялась, чтобы провести встречу“, — Вукеличу сообщили, что вопрос с его назначением в Японию окончательно решен. „Ольга“ также добавила, что завидует Вукеличу, поскольку Япония была известна своей красотой.

„Как долго, — спросил Вукелич, — мне придется пробыть там?“

„Два года. Если вы чувствуете, что вам нелегко, вы будете совершенно правы, если откажетесь. Но уж коль скоро вы примете решение поехать, вам придется добросовестно работать и вам не будет позволено уехать из страны, когда вам того захочется“.

Вукелич ответил согласием, однако признался, что его истинным желанием было бы поехать в Москву, чтобы там изучать марксизм. Его заверили, что вполне может статься, что в один прекрасный день его желание будет удовлетворено».

Очередная соблазнительная догадка: уж не была ли «Ольга», завербовавшая Вукелича, Ольгой Ревзиной — Еленой Феррари? Историк военной разведки Михаил Алексеевич Алексеев отвечает на него четко утвердительно: «Люси́» — «Ольга»^[292]. И все же... попробуем еще раз посмотреть на признание «Жиголо».

Первое несоответствие, которое бросается в глаза, — финское или прибалтийское происхождение «Ольги». До сих пор Елена Феррари предпочитала маскироваться под жительницу Средиземноморья. В Париже зарегистрировалась по австрийскому паспорту. Ее яркая южная внешность вряд ли дает шанс заподозрить в ней дитя финских снегов. И лыжи — где и когда Люся Голубовская научилась на них бегать? В малоснежном Екатеринославе? Более чем сомнительно. В Турции или Берлине? В Риме? Вопросы становятся риторическими. Может быть, лыжи упомянуты просто так, для красного словца? Все равно в Париже не проверишь, кто на них

лучше ходит — она или уроженец тоже не слишком заснеженной Сербии Бранко. Может быть и такое. Да и с акцентом Бранко мог ошибиться. Он ведь был электриком, а не лингвистом.

Есть несоответствие посерьезнее: время, указанное Вукеличем. Первая встреча состоялась в марте 1932 года, что не противоречит ничему. Но потом — еще несколько свиданий, причем одно в середине лета и одно в октябре, когда стало точно известно, что Бранко должен будет отправиться в Японию. Центр окончательно остановился на его кандидатуре 5 октября 1932 года, значит, встреча состоялась через несколько дней, что соответствует его показаниям, данным в Токио, а 30 декабря семья Вукелич уже отправилась на пароходе из Марселя через Суэц и Сингапур в Иокогаму. Причем в октябре «Ольга» лежала после операции по удалению аппендицита, а мы помним, что, кроме проблем с легкими, у Феррари диагностирован и аппендицит или, во всяком случае, какое-то заболевание желудочно-кишечного тракта. Операцию именовал «аппендицитом» ее начальник (или ее врач), и о ней сообщал в Москву резидент полутора годами ранее. Так что же получается — Феррари не уехала в Москву? Или в Париже работали две «Ольги», и обе с аппендицитом?

Точно известно, что 19 апреля того же 1932 года приказом № 23 по IV Управлению Штаба РККА Елена Феррари была назначена состоящей в распоряжении с 13 апреля, а 11 мая ей было выдано соответствующее удостоверение. Неизвестно, действительно ли выдано — на руки или просто приложено к делу в ожидании скорого возвращения сотрудника? Первое кажется более естественным и логичным, иначе можно было бы выписать его по возвращении сотрудника в Москву. Значит, все-таки вернулась? 17 сентября того же года ее нахождение в распоряжении подтверждается, а значит, вряд ли она меняла свой должностной статус в течение лета^[293]. Скорее всего, документы не врут — не позже чем 13 апреля Елена Феррари уже находилась в советской столице, а Бранко Вукелич в своих показаниях японским следователям либо зачем-то (зачем?) растянул общение с ней еще на полгода, либо... в парижской резидентуре все-таки работала еще одна «Ольга».

Целый ряд иностранных авторов убеждены, что второй вариант правильный. Они даже сообщают подлинное имя этой «Ольги»^[294]: Лидия Георгиевна Шталь (*Lydia Stahl*). Переводчики не всегда верно транслитерируют ее фамилию как Сталь — очередное совпадение, снова «металлургическая» фамилия. При этом достоверность «присвоения» в этих источниках псевдонима «Ольга» Лидии Шталь никем никак не

обосновывается, равно как никем и не оспаривается — похоже, просто никто не задумывался о том, что в Париже могла оказаться не одна Ольга.

НАША СПРАВКА

Лидия Георгиевна Шталь (Чекалова) (1885—?) родилась в Ростове-на-Дону. Русская. Из служащих. Беспартийная. Окончила гимназию и юридический факультет Сорбонны (по другим данным, занималась там китайским языком и литературой^[295]). Владела французским, английским, финским, шведским и китайским языками. Будучи замужем за Б. Ф. Шталем, совладельцем крупного торгового дома «Братья Шталь», на протяжении пяти лет жила в Финляндии (где как раз могла научиться ходить на лыжах и успеть приобрести местный акцент).

С 1921 года проживала в Париже, в октябре того же года была привлечена там к сотрудничеству с советской военной разведкой. Выполняла техническую работу (фотограф и переводчик), а также привлекалась к вербовкам. Один ее источник признан ценным — не Вукелич ли?

В 1927–1932-м — сотрудница американской нелегальной резидентуры. Живя в Америке, стала бакалавром искусств Колумбийского университета. Из характеристики 1931 года: «Ценный работник. Романтична и работает искренне. Старается делать все лучше, но часто у нее не получается. Надежна. Для аппарата безусловно полезна... Знает всю канцелярию лучше, чем кто-либо». В 1932-м в характеристике снова отмечается какая-то особая, не вполне нормальная для обычного человека и абсолютно ненормальная для разведчика наивность Лидии Шталь. Так, при оформлении для нее документов на другую фамилию «она совершенно серьезно спрашивала... допустимо ли обманывать чиновника, говоря, что ее фамилия та, которая написана в бумаге», но при этом, сообщая об инциденте, резидент добавил, что «для нас она работала, работает и будет работать».

В ноябре то ли 1931-го, то ли 1932 года — источники расходятся во мнениях, а проверить их у нас нет возможности — на след Лидии Шталь вышла полиция, и было принято решение вернуть ее на работу в парижскую нелегальную резидентуру,

которую возглавлял тогда резидент «Катя» (Г. И. Килачицкий). Во французской столице владела фотостудией. В Париже за Лидией Шталь снова была обнаружена слежка, но в этом случае решение перевести ее в другое место (Китай) осуществить не успели, поскольку Шталь была задержана контрразведкой 19 декабря 1933 года, как позже выяснилось, в результате предательства. Всего французские спецслужбы арестовали несколько десятков человек. На следствии и суде она все отрицала, заявляла суду, что не имеет ничего общего со шпионской деятельностью, не признавала знакомства ни с кем из арестованных, что никак не стыкуется с ее романтично-доверчивым поведением ранее.

Приговорена к пяти годам заключения и штрафу в три тысячи франков. После освобождения в конце 1937 года она выехала в Советский Союз, где стала преподавателем иностранного языка в Разведывательном управлении, но уже в 1938 году была репрессирована. Выжила, вышла на свободу и устроилась преподавателем английского языка в Семипалатинском геолого-разведочном техникуме. Вновь репрессирована 20 июля 1949-го. Приговорена к трем годам ИТЛ. Реабилитирована 24 октября 1956 года^[296].

Была ли Лидия Шталь той «Ольгой», что вербовала Бранко Вукелича? Доподлинно это по-прежнему неизвестно. И если ее финский акцент говорит за эту версию, то возраст — против. В 1932 году Лидии Шталь исполнилось 47 лет, и вряд ли юный Вукелич принял бы ее за тридцатилетнюю. О ней же, вновь как о тридцатилетней, писал также перебежчик Вальтер Германович Кривицкий^[28], который видел ее в 1928 году, но Шталь уже и тогда было за сорок^[297]. Судя же по опубликованным фотографиям, пятью годами позже она не выглядела на 15 лет моложе и не слишком походила на спортсменку, как, впрочем, на финку или прибалтку. И вообще, ее участие в вербовке Бранко возможно только в том случае, если она прибыла в Париж в 1931-м, а не в 1932 году.

Была ли «Ольгой» — Ольга Ревзина (Голубовская), Елена Феррари? Мы знаем только, что первоначальную проверку Вукелича как кандидата для работы в Японии провела именно она — Феррари. И именно ее доклада по этому вопросу ждали в Москве в апреле 1932 года. А значит, какое-то отношение к вербовке «Жиголо» она имела — как минимум.

На сегодняшний день это самое большое из рассекреченных

достижений Люси Голубовской как сотрудника советской разведки, потому что «Жиголо» — сербский коммунист Бранко Вукелич оказался совсем уж не таким любителем материальных благ, каким он показался парижскому резиденту, а потом и Рихарду Зорге, «Рамзаю» — токийскому резиденту, с которым Вукеличу предстояло проработать вместо обещанных двух восемь долгих, тяжелейших, страшных лет.

Осенью 1941 года Вукелич был арестован японскими властями и заключен в тюрьму. Его приговорили к пожизненному заключению, которое оказалось очень коротким: на рубеже 1944–1945 годов он умер от истощения в тюрьме на северном японском острове Хоккайдо. О его смерти сообщили вдове — японке Ямадзаки Ёсико. Первая жена — датчанка Эдит, отбор которой для японской командировки, очевидно, тоже прошел с участием Елены Феррари, уехала из Японии незадолго до начала войны, забрав с собой сына Пола. Ёсико родила Бранко еще одного сына — Хироси. На момент написания этих строк оба они были живы: Пол — в Австралии, а Хироси — в Сербии. Вряд ли они знают, что их судьбы сложились именно так, а не иначе благодаря знакомству их отца со странной еврейской женщиной по имени Люси.

Глава пятнадцатая

Характеристика

*Европа
скрылась, мельчась.
Бегут
по бортам
водяные глыбы,
огромные,
как года.
Надо мною птицы,
подо мною рыбы,
а кругом —
вода.
Недели
грудью своей атлетической —
то работага,
то в стельку пьян —
вдыхает
и гремит
Атлантический
океан.*

*Владимир Маяковский
«Атлантический океан». 1925 год*

Осенью 1932 года Елена Феррари отправилась учиться на Разведывательных курсах усовершенствования комсостава при Военной академии имени М. В. Фрунзе. Красивое название не должно вводить в заблуждение. На этих курсах учились в основном новички, которых только-только набрали в Разведупр из войск и которые чаще всего совсем не понимали, что такое разведка. Но других кандидатов в шпионы у армии не было, и «приходилось использовать на агентурной работе малоопытных

сотрудников»^[298]. С Феррари и такими же, как она, ветеранами дело обстояло несколько иначе. Получив за время службы в зарубежных резидентурах солидный практический опыт, Елена Константиновна обладала специальными военными знаниями — разведка-то военная. Да и естественный отрыв разведчиков от родины, где обстановка быстро менялась и место одной осужденной оппозиции сразу же занимала другая, не мог не беспокоить их начальников.

Училась Феррари, судя по представленной на нее характеристике, неплохо. Чуть больше чем через полгода после начала занятий, 24 апреля 1933 года, начальник курсов Илья Павлович Кит-Вийтенко подписал на нее следующую характеристику:

«1. Развита хорошо, быстро воспринимает и усваивает учебный материал, правильно делает анализ и обобщения, обладает хорошей памятью, четко и ясно излагает свои мысли как словесно, так письменно и графически.

2. Политически развита вполне удовлетворительно и постоянно находится в курсе международных и внутренних событий.

3. Начала военную службу, имея только общее и весьма посредственное представление о военном деле, но в течение учебного года постоянно росла и в настоящее время по своим знаниям занимает третье место на курсе. <...>

Отлично дисциплинирована, выдержана и тактична.

...Весьма способная слушательница, показывает колоссальный рост в овладении теорией и конкретными навыками в области тактики различных родов войск. Подлежит переводу на второй курс вечерних курсов с общей оценкой „весьма удовлетворительно“ и заслуживает командирования сразу на второй курс основного факультета Военной академии им. М. В. Фрунзе»^[299].

«Отлично дисциплинирована» Люся Ревзина оказалась, даже несмотря на то, что во время учебы получила дисциплинарное взыскание за своеволие: «Исполняющему дела начальника VII сектора Феррари Елене Константиновне за уход без разрешения и предупреждения с занятий в часы служебного времени объявляю выговор»^[300]. Но... с кем не бывает? Тем более не могла Елена Феррари получить в апреле 1933 года плохую характеристику, потому что к тому времени стала одной из немногих сотрудниц советской военной разведки, награжденной самой высокой на тот момент, после ордена Ленина, наградой: орденом Красного Знамени.

Первое массовое награждение военных разведчиков произошло в 1928

году. Тогда, к десятой годовщине Красной армии, «за особые заслуги перед Родиной» орденами Красного Знамени были награждены 16 агентурных работников, в том числе пять женщин^[301]. Теперь пришла очередь нашей героини, которая сравнялась в этом смысле со своим братом Владимиром, получившим орден за турецкую экспедицию почти на десять лет раньше — в 1924 году. Начальник IV Управления подписал на Феррари представление:

«ГОЛУБОВСКАЯ Ольга Федоровна.

1. Родилась 19.X.1899 г.

2. Происходит из рабочей семьи.

3. Образование — среднее.

Происходя из рабочей семьи, т. ГОЛУБОВСКАЯ с 14-ти лет приняла участие в революционном и профессиональном движении, а затем в октябрьской революции и гражданской войне агитатором, сестрой и бойцом.

Непрерывно совершенствуясь, т. ГОЛУБОВСКАЯ основательно расширила свой умственный кругозор и знания и хорошо владеет французским, английским, немецким, турецким и итальянским языками. Знание языков и широкий умственный кругозор позволили т. ГОЛУБОВСКОЙ приспособляться к довольно тяжелым для нашего работника условиям жизни в разных капиталистических странах и с успехом применять свои знания в трудной и многосложной разведывательной работе. Свои недюжинные способности т. ГОЛУБОВСКАЯ использовала не только на самоусовершенствование, но главным образом на активное ведение разведывательной работы по разработке и использованию привлеченных в нашу агентуру представителей буржуазных слоев в разных странах.

Впервые на агентурной работе т. ГОЛУБОВСКАЯ была использована нами в 1920–1921 гг. в Турции и за полтора года своей работы показала себя интеллигентной и способной работницей. Потом в период 1921–1923 гг. она работала в Германии и Франции и затем в течение 1924–1925 гг. в Италии. С половины 1930 г. и по настоящее время она находится на нелегальной агентурной работе во Франции, в ответственной роли помощницы руководителя нашей разведки в этой стране и весьма умело и добросовестно выполняет свою работу, способствуя нашей осведомленности о состоянии, силах и

намерениях одного из наших основных противников — капиталистической Франции. За весь период своей непосредственной агентурной работы, продолжительностью около 7-ми лет, т. ГОЛУБОВСКАЯ неоднократно бывала в весьма тяжелых условиях, но всегда находила выход из опасности и возможности избежать провала.

Нахожу, что т. ГОЛУБОВСКАЯ своей умелой и столь продолжительной работой на поприще агентурной разведки, с многочисленными, но незаметными подвигами черновой подпольной работы заслужила поощрения, а поэтому считаю своим долгом представить ее к награждению орденом „Красного Знамя“ (так в документе. — А. К.).

Начальник IV Управления Штаба РККА [Подпись]
Берзин»^[302].

ГОЛУБОВСКАЯ, Ольга Федоровна.

1. Родилась 19.X.1899 г.
2. Происходит из рабочей семьи.
3. Образование - среднее.

РАСЕКРЕЧЕНО

Происходя из рабочей семьи, т. ГОЛУБОВСКАЯ с 14-ти лет приняла участие в революционном и профессиональном движении, а затем в октябрьской революции и гражданской войне агитатором, сестрой и бойцом.

Непрерывно совершенствуясь, т. ГОЛУБОВСКАЯ сознательно расширила свой умственный кругозор и знания и хорошо владеет французским, английским, немецким, турецким и итальянским языками. Знание языков и широкий общий кругозор позволяли т. ГОЛУБОВСКОЙ приспосабливаться к довольно тяжелым для нашего работника условиям жизни в разных капиталистических странах и с успехом применять свои знания в трудной и многосложной разведывательной работе. Свои недюжинные способности т. ГОЛУБОВСКАЯ использовала не только на самоусовершенствовании, но главным образом на активном ведении разведывательной работы по разработке и использованию привлеченных в нашу агентуру представителей буржуазных слоев в разных странах.

Впервые на агентурной работе т. ГОЛУБОВСКАЯ была использована нами в 1920-21 г. в Турции и за полтора года своей работы показала себя интеллигентной и способной работницей. Потом в период 1921-1923 г.г. она работала в Германии и Франции и затем в течение 1924-1925 г. в Италии. С половины 1930 г. и по настоящее время она находится на нелегальной агентурной работе во Франции, в ответственной роли помощни-

№ п/п	ДАТА			ФАКТ	ОСНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ
	Год	Мес.	Чис-ло			
1	2			3	4	5
1	1914	1916		Победа в войне		
2	1917			Работал в штабе		
3				Служил в армии		
4	1918	1919		Служил в армии		
5	1919			Служил в армии		
6				Служил в армии		
7	1920-26			Служил в армии		
8	1926	09	28	Получил орден		
9	1927	1		Получил орден		
10		12	7	Получил орден		
11		01	1	Получил орден		
12	1928	7	25	Получил орден		
13		7	2	Получил орден		
14	1929	02	1	Получил орден		
15		12	2	Получил орден		
16		02	16	Получил орден		
17		02	1	Получил орден		
18		02	1	Получил орден		

Фрагмент характеристики Е. К. Феррари 1924 года и данные о прохождении службы, включая военную, до 1930 года

Нарком обороны Климент Ворошилов с представлением согласился, и в канун профессионального праздника, 21 февраля 1933 года, было подписано постановление ЦИК СССР о награждении Ольги Федоровны Голубовской орденом Красного Знамени № 140^[303]. Необходимо заметить, что представления к награждению разведчиков и их утверждения наркомом не происходили тогда автоматически, в виде какой-то отлаженной системы: один начальник написал, второй подписал, третий, не глядя, завизировал, и готово — крутите дырочку под орден. Тремя годами позже новый глава Разведупра Семен Урицкий направил аналогичное представление к награждению орденом Красной Звезды (награды меньшей значимости, чем орден Красного Знамени) на резидента в Токио Рихарда Зорге и его радиста Макса Клаузена, но Ворошилов документ не подписал^[304] (как не подписал потом даже рапорт Урицкого с просьбой поощрить Зорге хотя бы именными часами), Урицкий настаивать не осмелился, и никто из резидентуры «Рамзая» так и не был награжден до конца войны. Поистине, большое видится на расстоянии, что не означает, конечно, что Елена

Константиновна своего ордена была недостойна.

За месяц до вручения награды, которое состоялось 7 июля^[305], Елена Феррари достигла и небольшого, но приятного продвижения в карьере. В начале лета она выдержала письменные и устные испытания по французскому языку и ей было присвоено звание «военный переводчик 1 разряда» с правом на дополнительное вознаграждение^[306]. В связи с переаттестацией на получение должностного оклада по более высокой, чем ранее, категории К-9 временно исполнявший дела заместителя начальника IV Управления Штаба РККА Василий Васильевич Давыдов 5 июня составил очередную характеристику на Елену Константиновну:

«Товарищ Феррари обладает большим практическим опытом работы в органах IV Управления Штаба РККА. Общее и политическое развитие хорошее. Владеет иностранными языками: французским, немецким, английским, турецким и итальянским. Пробелы в военных вопросах постоянно стремится пополнить знаниями до уровня сегодняшнего дня. За истекший 1932–1933 учебный год успешно окончила 1-й курс вечерних Академических курсов при IV Управлении штаба РККА. Обладает высокой сообразительностью. Быстро ориентируется в обстановке и принимает правильные решения, но при проведении их в жизнь недостаточно энергична и напориста. Как общественница — активный товарищ. Дисциплинирована, выдержанна»^[307].

Жизнь налаживалась. Впереди ожидался перевод на второй курс уже не Разведывательных курсов, а самой Военной академии имени М. В. Фрунзе. Глава военной разведки Ян Берзин поддержал апрельское предложение Кит-Вийтенко и направил письмо начальнику Военной академии Борису Шапошникову:

«Дорогой Борис Михайлович!

Очень прошу Вас принять на 2-й курс вашей академии тов. Феррари, состоящую в распоряжении IV Управления РККА. В мае с. г. она окончила первый и переведена на второй курс вечерней академии при IV Управлении Штаба РККА»^[308].

Однако учеба начиналась в сентябре, а по официальной версии ее биографии, в августе Феррари снова оказалась в Париже — для проверки

«обстоятельства вербовки серба Бранко Вукелича»^[309]. Предположение несколько странное, поскольку Вукелич уже полгода как находился в Токио, включенный в состав пока еще не начавшей работу резидентуры «Рамзая». И даже если Елена Константиновна «через французских друзей смогла проверить сведения о Бранко Вукеличе и доложила в Центр о том, что, по мнению французских товарищей, он вполне надежный человек», это радостное известие никак не могло повлиять на мнение о Вукеличе его непосредственного начальника — резидента, который прибыл в Токио в октябре. Вскоре «Рамзай» встретился с присланным ему помощником и 7 января 1934 года доложил в Центр: «Жигало, к сожалению, очень большая загвоздка. Он очень мягкий слабосильный интеллигент, без какого-либо стержня. Его единственное значение состоит в том, что мы его квартиру, которую мы ему достали... начинаем использовать как мастерскую, даже история с его братом только выдумка его боязни...» Спустя полтора года Зорге повторил свое мнение о Вукеличе: «Он очень разочаровал...»^[310] На протяжении почти всех последующих семи лет совместной работы Зорге оставался не вполне доволен «Жиголо», хотя, думается, в таком отношении значительную роль сыграло несовпадение характеров. Зорге был, как он сам себя называл, «апостолом революции» — пылким, пламенным, чрезвычайно энергичным «бойцом тайного фронта». Вукелич, действительно в чем-то «слабосильный интеллигент», оказался слишком молод, несколько легкомыслен и, возможно, не так предан коммунистической идее, как его, ставший позже легендарным, шеф. Однако за все эти годы Вукелич ни разу не нарушил мер конспирации настолько, чтобы это привлекло опасное внимание японской полиции, не подвел, не предал, а пользу принес — пусть понемногу, по чуть-чуть, но ощутимую. И, арестованный вместе со всей группой, погиб как герой.

Тогда, в 1933-м, ничего этого Елена Феррари знать не могла, как не могла знать и самого Зорге. Если она действительно поехала во Францию, то не ради проверки Вукелича и не в самое подходящее время. В декабре в Париже произошел очередной грандиозный провал — тот самый, после которого была арестована Лидия Шталь. Вошедший в историю парижский провал 1933 года нанес серьезный ущерб советской военной разведке и в целом репутации СССР не только во Франции, но и в других европейских странах, а также в США. В свою очередь, его причины и последствия стали предметом разбирательства не только в «Шоколадном домике» в Большом Знаменском переулке, но и в Кремле. Результатом стало специальное постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об агентурной работе IV

Управления» от 26 мая 1934 года.

Еще до этого в Москве случилось два памятных события. 29 марта на заседании политбюро с докладом «О кампании за границей о советском шпионаже» выступил лично Сталин, что для 1934 года было явлением исключительным, но весь 1933 год стал для военной разведки годом провалов: Австрия, Латвия, Финляндия, Франция, США, а в начале 1934-го — еще и Румыния с Маньчжурией, и с этим надо было что-то делать. На следующий же после выступления Сталина день во всех центральных советских газетах появилось опровержение «выдумок» иностранных журналистов относительно «коварных советских шпионов» в Европе, в котором впервые в истории была применена ставшая потом культовой фраза «ТАСС уполномочен заявить...»^[311].

Секретное же майское постановление политбюро указывало профессионалам:

«1. Признать, что система построения агентурной сети IV Управления, основанная на принципе объединения обслуживаемой ту или иную страну агентуры в крупные резидентуры, а также сосредоточение в одном пункте линий связи с целым рядом резидентур неправильна и влечет за собой, в случае провала отдельного агента, провал всей резидентуры. Переноска расконспирированных работников для работы в другую страну явилось грубейшим нарушением основных принципов конспирации и создавало предпосылки для провалов одновременно в ряде стран.

2. Имеющие место провалы показали недостаточно тщательный подбор агентурных работников и недостаточную их подготовку. Проверка отправляемых IV Управлением награничную работу сотрудников со стороны органов ОГПУ была недостаточна.

3. Агентурная работа IV Управления недостаточно увязана с работой Особого отдела и ИНО ОГПУ, вследствие чего возникают недоразумения между этими учреждениями и отдельными их работниками...»^[312]

В «Шоколадном домике» признавали: парижская разветвленная резидентура, в которую входило более шестидесяти агентов различных категорий, «превратилась в громоздкую, трудно управляемую нелегальную организацию с опасными „горизонтальными“ связями между различными

агентурными звеньями. Агентурная сеть при таких вербовках засорилась сомнительными лицами, балластом, в нее проникали провокаторы»^[313]. Катастрофа была неизбежна и, к сожалению, следовало ожидать ее повторения в других странах. Обстановка накалилась настолько, что уже не внутренним документом Штаба РККА, а постановлением политбюро начальнику IV Управления предписывалось выполнить в том числе, как нам сегодня кажется, банальнейшие правила работы с разведчиками: «...в кратчайший срок перестроить всю систему агентурной работы на основе создания небольших, совершенно самостоятельно работающих и не знающих друг друга групп агентов. Работу внутри групп поставить так, чтобы один источник не знал другого. Связь между Центром и каждой группой должна быть организована самостоятельно. Конспирация во всех звеньях агентурной системы должна быть максимально усилена»^[314].

Для выполнения этих требований заместителем начальника военной разведки был назначен теперь уже бывший шеф разведки политической — глава Иностранного отдела ОГПУ Артур Христианович Артузов, приведший с собой 13 лучших специалистов-чекистов. Его докладная записка на имя Сталина от 23 июня 1934 года констатировала очевидное. «К настоящему моменту: 1) нелегальная агентурная разведка IV Управления фактически перестала существовать в следующих странах: Англии, Румынии, Латвии, САСШ (Северо-Американские Соединенные Штаты. — *Прим. авт.*), Франции, Финляндии, Эстонии, Италии»^[315]. Полгода IV Управление трясло и перетряхивало. В ноябре к нему даже снова вернулось старое наименование — Разведывательное управление, но его начальник теперь был выведен из подчинения начальнику Штаба РККА и мог напрямую докладывать полученные сведения лично наркому обороны.

Как жила и чем занималась в это бурное время Елена Феррари? Увы, мы об этом не знаем почти ничего. Еще в 1933 году она получила очередную «положительную» оперативную характеристику, в которой фигурировала под очередным же псевдонимом (они менялись у разведчиков довольно часто в зависимости от самых разных обстоятельств): «ИТАЛО. Резидент с долголетней практикой и опытом работы. В совершенстве владеет немецким, английским, французским и итальянским языками. Беспартийная, но проверенная опытом работы в

подполье на протяжении десяти лет. Краснознамёнка. Активная участница гражданской войны. С большой энергией и тактом работник. В тяжелых случаях умеет сохранять спокойствие»^[316].

На рубеже 1934–1935 годов «Итало» снова недолго находилась за границей — на этот раз в Австрии, после чего отгуляла отпуск и вернулась в Москву. В августе 1935-го была назначена помощником начальника отделения 1-го (Западного) отдела управления и попросила прибавки денежного довольствия. В 1933 году на Урале умер отец Владимира и Ольги — Федор Абрамович. В какой-то момент Ольга (и, возможно, Владимир) приняла решение помогать материально детям отца от второго брака — Любви и Рафаэлю, жившим со своей матерью Капитолиной Ивановной Ревзиной в поселке Майкор. Любовь Федоровна, ее сын Павел и здравствовавший на момент написания этих строк Рафаэль Федорович Ревзин на всю жизнь сохранили в своих сердцах благодарность «тете Люсе». Еще по 100 рублей Ольга отправляла в Кисловодск Эмме Ионовне Давидович, когда-то помогавшей им с Володей в Екатеринославе^[317].

Сам Владимир Ревзин, давно привыкший к своему псевдониму — Воля, жил в Москве, но уже не рядом с сестрой, хотя работали они почти вместе. Он с 1930 года служил в IV Управлении, один раз выезжал в оперативную командировку, после чего вновь пошел (и весьма успешно) по административной линии^[318]. Владимир Федорович получил квартиру в кооперативном доме работников наркоматов иностранных дел и внешней торговли на Садовом кольце. Элитный комплекс по адресу: Долгоруковская, 5, стал адресом и старого друга по турецкой командировке — Федора Гайдарова, который тоже продолжал службу в разведке. По сведениям семейного архива Голубовских, бывший муж Люси Георгий выдал за Федора свою племянницу — дочь той самой сестры Александры, с которой начались аресты в 1919-м, и все семьи — соседей, родственников и бывших родственников снова очень сдружились.

Единственное, что в то время в глазах кадровиков слегка омрачало облик «резидента Итало», — ее беспартийность. В очередной характеристике, на этот раз образца 1935 года, этот прискорбный факт отмечался особо: «Товарищ Феррари является хорошо подготовленным самостоятельным агентурным работником с большим стажем практической работы на нелегальном положении. Владеет немецким, французским и итальянскими языками свободно. Английским — выше среднего. Общее развитие на высоком уровне. Политическое — среднее, что объясняется длительным отрывом от нашего Союза. Была членом партии ВКП(б) до

октября 1917 года.

Стремится в партию. По своей идеологии — коммунистка. В работе своей проводит партийную линию. Только многолетний ее отрыв от Союза является препятствием для приема в партию. Последний отзыв из-за рубежа тов. Феррари отчасти был вызван ее желанием вступить в партию и решением командования удовлетворить ее просьбу. Дисциплинирована. В работе аккуратна, инициативна и вдумчива»^[319].

До сих пор неясно, почему Елена Константиновна в партию так и не вступила, если даже из-за рубежа ее все равно отозвали, и она хотела, и начальство не было против, но... Феррари, сменив псевдоним с «Итало» на «Веру», снова уехала за границу. На этот раз в Америку.

В соответствии все с той же канонической легендой о «Красной Феррари», командировка в Соединенные Штаты стала таким же звездным часом для Елены Константиновны, как 15 лет назад Константинополь — для Ольги Федоровны. При этом в реальности мы знаем о ее трансатлантическом вояже значительно меньше, чем даже о турецкой операции, и снова вынуждены основываться на не самых надежных источниках. И судя по тому, что нам известно, командировка была организована как краткосрочный вояж в целях оценки пригодности некоторых американских агентов Разведупра для работы в Германии. К такому выводу подталкивают следующие (не поддающиеся, к сожалению, проверке) сведения.

Идея командировки родилась в ноябре 1935 года, а в феврале 1936-го был разработан ее план и утверждено задание. Все та же странная деталь: Феррари якобы попросила прервать поездку в середине года, чтобы вернуться в Москву и вступить в ВКП(б), и при этом попросила считать свой выезд в Америку партийным заданием^[320]. Возможно, какая-то логика в этом есть, хотя почему надо считать партийным заданием именно то, которое необходимо прервать, чтобы оно стало именно партийным, не вполне понятно. Кроме того, если после этого предусматривалось возвращение Феррари из Москвы обратно в Америку, то не может не вызывать удивления сам факт того, что в IV Управлении, традиционно боравшемся за каждую копейку, за каждый доллар (часть из которых — фальшивых — из-за постоянной нехватки даже пытались печатать в США^[321]), пошли на то, чтобы отправить своего сотрудника в Нью-Йорк, вернуть обратно, чтобы тот смог вступить в ряды партии коммунистов на родной земле, и снова проводить в Америку. А вот если предположить, что в Америке потребовалась консультация по работе в Европе, идея такой

краткосрочной, но важной командировки выглядит более здраво и обоснованно. Какова могла быть ее конкретная цель? Возможно, их действительно предполагалось несколько.

Во-первых, заменить на время резидента «Михеля», «который собирался выехать в СССР на лечение» [\[322\]](#). Резидентов, то есть руководителей разведывательных сетей Разведупра в то время в Америке было несколько. Оставив в стороне представителей разведки под крышей официальных структур, заменить которых Феррари не могла даже на время, получим в остатке троих. Общее руководство всей резидентурой осуществлял полковой комиссар Борис Яковлевич Буков (Альтман), но нам неизвестно, был ли среди его многочисленных псевдонимов «Михель». К тому же он сам приступил к выполнению обязанностей в США лишь в 1936 году, возможно, сменив Елену Феррари, а не наоборот [\[323\]](#). Еще один — специальный резидент курировал научно-техническое направление военной разведки — главное для США. Кроме того, отдельные начальники территориальных резидентур разворачивали свои сети в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Большинство из них были раскрыты в середине XX века, многие из американских агентов Разведупра дали потом показания в судах, но для нас эта информация по-прежнему недоступна, и мы не можем точно определить, кого же именно должна была сменить Елена Феррари. Больше всего под характеристики «Михеля» подходит нелегал Михаил Михеевич Михалевский, работавший в США с 1934 года. В марте 1936 года он был зачислен в запас РККА (возможно, по болезни), в июле того же года покинул Штаты, но до 1937-го еще поработал в Европе, после чего вернулся в Советский Союз, был арестован и в начале 1939 года расстрелян [\[324\]](#). Если предположить, что он действительно был болен, то временные лаги — от принятия решения о его отзыве в ноябре 1935 года до увольнения в марте 1936-го и одновременного прибытия в Америку Елены Феррари — выглядят вполне убедительно. Приняв у него дела, эмиссар из Москвы, прибывшая на Американскую землю под кличкой «Вера», могла проработать с ним до июля, в надежде на замену новым резидентом. Но так это происходило на самом деле или нет, мы не знаем.

Во-вторых, Феррари должна была «принять на руководство» агента по кличке «Робин» (неизвестно, действительно у него был такой псевдоним или это выдумка, камуфлирующая камуфляж). Под описание «Робина» подходит добрая половина, если не больше американских агентов Разведупра: «...работал в одном из правительственных учреждений США, длительное время сотрудничал с советской военной разведкой и передавал

ее представителю ценные сведения военного и политического характера»^[325]. Не исключено, что у «Робина» появилась перспектива перевода по службе в Берлин, и тогда это могло стать настоящим подарком для Москвы, которая в 1936 году вообще не рассматривала американское направление в разведке как ключевое, а вот перспектива войны с Германией становилась все более осязаемой. Нельзя исключать также, что «Робин» мог быть связан с русской эмиграцией — таких среди советских агентов в Америке тоже было немало, и тогда вывод его на контроль капитану Феррари (в РККА недавно ввели привычные нам сегодня воинские звания, и Елена Константиновна стала «старшим из младших» офицеров) выглядел вполне логично. Но это, повторимся, снова только предположение...

Точно известно лишь, что 7 февраля «Вера» на пути в Америку отправила кодированное письмо из Парижа на имя начальника своего отдела полковника Узданского:

«Дорогой друг!

Пишу наспех. Спасибо за хорошие вести. Очень приятно было узнать, что все родные здоровы и хорошо живут. Кстати, это письмо прибудет накануне твоего юбилея. Поздравляю от всей души тебя и твоих близких. Желаю всем новых успехов.

Моя сестра завтра уезжает к тебе домой, но вместо моря едет железной дорогой, так как не совсем здорова. А я-то завидовала морскому путешествию (хоть и небольшому). Это, очевидно, на любителя. Она прекрасно погостила. Мы вместе вспоминали тебя не один раз. Она велела передать самый горячий привет всем друзьям. Пиши, как идут ваши дела. Всем кланяюсь, а тебя обнимаю.

Твоя»^[326].

Что ясно из этого послания? Очевидно, Феррари благополучно прибыла в Париж и встретила с сотрудницей резидентуры, которая теперь отправляется в Москву. К чему относится поздравление? Существует версия (в рамках все той же — канонической), что это зашифрованный вариант поздравления полковника Узданского и всего личного состава Западного отдела Разведывательного управления Рабоче-крестьянской Красной армии с грядущим профессиональным праздником^[327]. Трудно поверить в таком случае, что капитан Феррари

была единственная, кто направил свой приветственный адрес из нелегальной заграничной командировки. Тогда, по идее, все советские военные разведчики, подчиняясь воинской дисциплине и принципу единообразия, должны были в те дни отправить подобные письма в Москву, максимально упростив таким образом работу полиции и контрразведывательных служб капиталистических стран. А в середине декабря подобный же поток поздравлений должен был хлынуть в Москву из резидентур Иностранного отдела НКВД — праздник есть праздник. Все это чем-то напоминает знаменитую сцену из фильма «Семнадцать мгновений весны», где 23 февраля штандартенфюрер Штирлиц печет картошку, поет про себя русские песни и пьет водку.

Существует еще один — апокрифичный вариант раскодирования первого абзаца послания «Веры»: 14 февраля, то есть через неделю после отправки письма, у полковника Узданского был день рождения. Настоящий. Ему исполнялось 38 лет^[328]. Не юбилей, конечно, но... И поздравляла его Елена именно с этим праздником.

В марте «Вера» прибыла в Нью-Йорк, а 4 апреля отправила оттуда первое донесение, избежав поздравления Центра с грядущим днем рождения Ленина. Письмо было адресовано на имя Директора — так в переписке Разведупра «шифровался» его начальник, которым на тот момент являлся комкор Семен Урицкий.

«Дорогой Директор!

Я назначена помощником Михеля и буду замещать его здесь в течение его отъезда. По плану мое пребывание здесь намечалось до трех месяцев. Летом мне разрешено было приехать для устройства моих корпоративных (служебных. — А. К.) дел. Это было условием моей поездки. Обстановка на месте складывается так, что Михель сможет уехать только в июле и не вернется ранее октября. В октябре мне ехать будет поздно из-за плохого моря, и в этом случае дело будет отложено на год, до весны, что в теперешней обстановке означало бы — на неопределенное время. Я прошу разъяснить ближайшей почтой, пришлете ли вы мне замену или же моя поездка откладывается. Напишите ясно».

В этом или в следующем письме капитан Феррари в довольно дерзкой форме разъясняет начальнику управления комкору (примерно генерал-лейтенанту) Урицкому, что он должен сделать:

«Оставление меня здесь до осени нецелесообразно. Дома так и не усвоили, что мой рабочий срок очень ограничен, и те год-два, которые мне остались, если мне удастся этот срок протянуть, надо использовать максимально, то есть, там, где нужен мой опыт и умение шевелить мозгами, а не назначать меня на такой благополучный участок, куда смело можно посылать кого-либо из ребят помоложе. Они бы здесь росли...

Если вы помните, о чем мы с вами договаривались решить вопрос о вступлении в ВКП(б) лично перед моим отъездом (так в документе. — А. К.) — дайте мне большое дело, а не случайную задачу. Смешно сказать, последний раз аналогичное назначение я получила 12 лет назад. Но если я там была действительно нужна, то сейчас, как старый резидент известного калибра, я хотела бы получить соответствующее задание. Я привыкла к большим масштабам в работе. Само собой разумеется, на работе здесь мое настроение не отразится, и я буду работать так, как вы этого хотите...

С Михелем у нас установились прекрасные отношения. Он забавный человек. Жду вашего ответа по существу письма. Очевидно, вы меня задержите здесь до осени. Я использую это время для совершенствования своего английского языка и развития других моих навыков.

Сердечный привет вам и А. Х. привет»^[329].

Безусловно, это письмо нуждается в комментариях. Не только понять, но и принять его человеку, незнакомому с реалиями работы в Разведупре до 1937 года, непросто. Наверное, в современных условиях капитана, написавшего такое письмо генералу, просто уволили бы или, во всяком случае, наказали каким-либо иным способом за непонимание воинской дисциплины и субординации. Но «сейчас — не тогда». В разведке — и политической, и военной — до репрессий 1937–1939 годов работало много иностранных коммунистов, старых большевиков и относительно молодых ветеранов Гражданской войны (начальник Феррари Стефан Узданский был всего на год старше ее). В них еще бродил дух романтической шпионской вольности и были живы представления о том, что они выбрали тайную службу по велению души, и не было сомнений, что руководство разведки должно это понимать. В этом смысле письмо Феррари Урицкому до боли напоминает некоторые послания в адрес того же Директора от «Рамзая» — Рихарда Зорге, да и не только от него. Напоминает сразу по нескольким

позициям.

Во-первых, и мы это помним по случаю Вукелича, во время вербовок агентов или направления их в командировки Москва или представляющие ее вербовщики-рекрутеры старались указывать минимальные сроки командировок, понимая, что далеко не все готовы отправиться в неизвестную страну, чтобы подвергать свою жизнь непрерывной смертельной опасности на протяжении нескольких лет. Судя по письму «Веры», ее действительно послали в Америку, пообещав вернуть в Москву к лету, чтобы принять в партию (вопрос о том, что она снова позже вернется в Нью-Йорк, в письме возникает только намеком), но по прибытии на место службы оказалось, что это невозможно выполнить физически. Могли предусмотреть это в Центре до начала командировки, а не после? Обязаны были. Обязаны, но не сделали. И Феррари, как Зорге, Клаузен, Вукелич и, думается, десятки, если не сотни других агентов неделями, месяцами, а кто-то, как токийская резидентура, и годами забрасывали Москву письмами с одним и тем же содержанием: «Вы обещали нас вернуть. Так верните!» Читая их, складывается ощущение, что в Разведупре главной задачей было отправить человека в командировку, а там... как кривая выведет. Но в любом случае форма, в которой резидент «Вера» излагает свои требования руководству, не может не удивлять. Как будто она не выполняет приказ, как военнослужащая, а, поступаясь какими-то своими, только ей и Урицкому известными правилами, скрепя сердце снисходит до заключения договора с Разведупром: «Так и быть, я съезжу, но уж вы мне позаботьтесь, чтобы...» Феррари явно видит в себе крупную величину и делает одолжение Центру «как старый резидент известного калибра». Раз Москва ее в Америку все равно отправила, а делать там особо нечего — с ее пониманием масштабов настоящей работы, то Елена Константиновна хотя бы потратит время с пользой: на изучение английского языка.

Во-вторых, хотя этого и нет в первом письме, мы знаем, что Центр и в самом деле не прикладывал достаточных усилий по легализации своих агентов. История советской военной разведки переполнена фактами из разряда «и смех, и грех», когда при подготовке документов — «сапогов», как их тогда называли, не учитывались в должной мере элементарные нормы конспирации, особенности страны пребывания или личные особенности резидентов: в паспорте одного указывали голубые глаза, а на самом деле они были карие, другому выдавались австрийские документы, а человек ни слова не знал по-немецки, одной из жен резидентов, отправлявшейся в командировку, выдали документ с описанием особых

примет: «нет левой ноги», а она пришла на пограничный контроль на своих двоих. Таковы были реалии 1930-х годов, а потому и нет ничего удивительного в бесконечных сериях провалов и Разведупра, и ИНО ОГПУ — НКВД по всему миру. В случае с американской командировкой Феррари тоже не все получилось гладко. «...в Центре Веру не обеспечили в достаточной степени надежными документами, которые позволяли бы длительное время проживать на территории США. Она выдавала себя за итальянку... *Хорошо продуманная* (курсив мой. — А. К.) в Центре легализация Феррари в Америке по документам гражданки Италии, что должно было гарантировать успех в выполнении разведывательного задания, неожиданно *оказалась наиболее слабым местом* в создании благоприятных условий для работы в США... Гражданка Италии, где у власти — диктатор Бенио Муссолини, привлекала к Феррари внимание местных органов безопасности», — писал ветеран ГРУ^[330]. Но так не бывает. Либо «хорошо продуманная», либо «слабое место», потому что «хорошо продуманное слабое место» — такое возможно только в случае происков врагов или полной некомпетентности того самого Центра.

В результате за первые четыре с половиной месяца Феррари пришлось семь раз менять квартиру (примерно раз в каждые три с половиной недели). Что ж, и правда — хорошая тренировка в английском языке и изучении города, но это время и затраченные усилия можно было бы потратить и с большей эффективностью. В конце концов «Вера» сняла себе и «комфортабельные апартаменты в одном из престижных районов города», и «виллу на океанском побережье».

В-третьих, и это тоже очень важно, Елена Константиновна упоминает о том, что «ее срок... — год-два», явно имея в виду общую продолжительность оставшейся службы, свой личный запас сил. Ольга Ревзина никогда не отличалась хорошим здоровьем. Вспомним о ее недолеченном туберкулезе и о том, что еще четыре года назад ее шеф в Париже констатировал ее проблемы с легкими и кишечником (ее болезни удивительным образом совпадали с заболеваниями Горького, включая даже подозрение на аппендицит). Теперь, и по письму это прекрасно видно, добавилась новая проблема: нервы. Письмо жесткое, желчное, и Елена Константиновна сама знала, что дело плохо, отмечая в одном из следующих посланий: «Мое зло — неврастения, которую здесь лечить нельзя. Я сама сделаю все, что можно, и продержусь до отъезда. Будьте уверены, что по вашему заданию я сделаю все, что будет в моих силах»^[331]. Совсем другой тон, другие выражения, другое настроение. Похоже, что то, первое письмо

было написано как раз во время приступа неврастения, и можно не сомневаться, что прочитавший его «А. Х.» — новый замначальника Разведупра Артур Христианович Артузов, человек резкий и в общении с сотрудниками особо не церемонившийся, вряд ли преисполнился уважением к резиденту «Вере». И, между прочим, напрасно. Даже в рамках одной разведывательной структуры ситуация с Еленой Феррари не была ни единственной, ни новой. Один из резидентов еще царской военной разведки во Франции, Владимир Николаевич Лавров, также страдал от туберкулеза, который, в период наивысшего напряжения физических и психических сил, приводил к нервным срывам. Хорошо знавший его военный агент (атташе) во Франции граф Алексей Алексеевич Игнатъев в ноябре 1913 года докладывал в Петербург: «Болезнь (чахотка) сделала его до крайности нервным и мучительно самолюбивым. Хорошо, что он остается, так как для дела трудно найти более ценного человека», и позже: «Нахожу необходимым посоветовать тебе оставить его на некоторое время в покое, не посылать запросов и т. п. Мне очень становится тяжело иметь дело с этим несчастным больным, но таким честным и хорошим человеком»^[332].

Директор — Семен Урицкий пошел по стопам графа Игнатъева и отнесся к требованиям Феррари с таким же пониманием, хотя ответ его из Москвы сегодня не может не вызывать удивления:

«Сообщите, какие конкретные планы и предложения вы могли бы выделить в порядке наиболее целесообразного использования вас? Где именно, на какой конкретной работе считаете вы наиболее эффективным применение вашего опыта по этому вопросу?..

Хорошо, если состояние вашего здоровья позволит вам там активно заниматься нашей работой. К сожалению, разговор с вашим братом меня очень огорчил на этот счет. Выдержите ли вы без основательного ремонта? Не лучше ли вам принять актуальные методы лечения? Прошу добросовестно без излишней щепетильности телеграфировать мне действительное состояние вашего здоровья. После этого уточню или изменю ваше задание»^[333].

Очевидно, что Урицкий отнесся к задорному апрельскому посланию Елены Феррари с такой выдержкой не в последнюю очередь потому, что наверняка помнил ее еще по работе в парижской резидентуре начала 1920-х, а может быть, вообще лучше других начальников понимал, что разведчики тоже люди. В ответ на требования «Веры» дать настоящее, масштабное дело он лишь попросил уточнить какое. Но снова непонятно:

неужели Москва настолько не владела ситуацией в американской резидентуре, что отправляла туда разведчика, чтобы он просто съездил, посмотрел, чем там можно позаниматься? В США действовала огромная, разветвленная сеть не с одним, а, как мы помним, несколькими резидентами — неужели они тоже сидели в раздумьях, какую пользу оказать бы отечеству? Если «брат» — начальник «Веры» Стефан Узданский, то почему Урицкий узнаёт от него о состоянии здоровья резидента только после его отправки за океан, а не до? Единственный обоснованный вариант ответа один: последние годы Феррари чувствовала себя хорошо, и теперь у нее случилось неожиданное обострение болезни — одной или нескольких. Поэтому у Центра просто не остается других вариантов, и Урицкий разрешает ей самой выбрать то, что она в силах осуществить.

Еще в одном из ранних, весенних, писем в адрес Елены Феррари глава Разведупра успокаивал и ободрял ее (он вообще, судя по его посланиям в адрес других разведчиков, был неплохим психологом), наверняка специально используя псевдоним, под которым знал ее во время работы во Франции:

«Дорогая Ирэн!

Вы знаете, как я вас ценю... и очень заинтересован в том, чтобы вы развернулись там по-настоящему и сделали все, на что вы способны. Для этого [необходимы] два условия: хорошая крыша и здоровье. Об этом старайтесь не забывать.

Дальнейший план — принимаю любое ваше обоснованное предложение и даю вам карт-бланш. Работайте! Этим и измеряется мое отношение к вам. *Хотел бы, чтобы так ко мне относились мои начальники* (курсив мой. — А. К.). Делайте все с расчетом вернуться сюда к концу лета для оформления корпоративных дел. Учтите данную в этом письме ориентировку для всей вашей последующей деятельности — нас очень сильно занимает возможность получения полноценных технических материалов.

В конечном счете, я уверен, что сделаете по-хозяйски все, что сможете.

Жму руку. Ваш Директор»^[334].

По-отечески относящийся к Елене Константиновне Семен Петрович

Урицкий стал когда-то, в эпоху и разведывательного и полицейского хаоса, резидентом-неудачником, основную часть дальнейшей карьеры строил в линейных и учебных частях Красной армии, а теперь фактически выполнял функции замполита Разведупра при настоящем профессионале из НКВД — Артузове. Который к тому же был направлен в Разведупр Сталиным, Сталину отчитывался и на Сталина же ссылался, как только в отношениях с Урицким возникала какая-то сложность^[335]. Неудивительно, что Урицкого не очень-то уважали ветераны разведывательной работы вроде Феррари, а он, чувствуя себя в собственном учреждении временщиком, стремился сгладить углы. Вот и получается, что единственное, что мог сделать Директор, это посоветовать беречь здоровье, искать интересные темы самой да больше внимания уделять научно-технической разведке, на которую была нацелена почти вся обширная резидентура Разведупра в США да и в мире в целом.

Очередное совпадение, но обоснованное сложением иных факторов: в том же 1936 году похожая ситуация складывалась с женой одного из руководителей Коминтерна Айно Куусинен. Она была направлена в Японию с аналогичными — широкими, но расплывчатыми полномочиями, а единственная конкретная задача, которая была поставлена перед ней Артузовым, по своему содержанию напоминала отрывок из плохого шпионского романа:

«...По плану — пом. Резидента — вербовщик к Рамзаю. Задача — завербовать одного-двух источников из чиновников или офицеров военного министерства или генштаба для освещения вопросов подготовки мобилизации и т. п.

Держит связь — с Рамзаем.

Легализация — шведская писательница...»^[336]

Как будто подходящих для вербовки офицеров японского Генштаба можно было выбирать, как хлеб в бакалейной лавке...

Даже легализация женщины-разведчика в Японии под прикрытием шведской писательницы напоминает привычную «крышу» нашей героини. Правда, в Нью-Йорке Елена Константиновна сменила любовь к литературе на тягу к изобразительному искусству. Она записалась в школу живописи, где

«делала заметные успехи... стала старостой учебной группы» и, если верить и дальше канонической версии, влюбила

в себя брата однокурсницы — офицера Военно-морских сил США, который был не прочь поделиться военной тайной с подругой сестры — красавицей с итальянским паспортом и слабыми легкими^[337].

По неподтвержденным данным, в итоге Елена Константиновна вернулась к вербовочной работе. Она возобновила связь с «Робином», с которым встретила несколько раз лично и убедила отправиться в Германию, — история, по внешним признакам полностью совпадающая с историей вербовки Бранко Вукелича в 1932 году во Франции. Разница только в том, что мы до сих пор не знаем, кем был этот самый «Робин». Равно как не знаем, кем был агент «Разборчивый», которого привлекла к работе «Вера» и которого тоже отправили в Европу, а также пара «Внучка» и «Симпатик» и — отдельно — агент «Нан», подготовленные (все трое за такой-то срок?) Феррари для шпионажа в пользу СССР на территории Германии, да еще агент «Сын», который должен был отправиться в Токио, «как только завершит работу над своей новой книгой» (Москва в это время пыталась всячески усилить свои позиции в Японии в связи с резким ростом военной напряженности на Дальнем Востоке). Кроме того, «Вера» проинспектировала деятельность сотрудника американской резидентуры «Гризы», своей помощницы «Джульетты», кандидатов на вербовку «Труса» и «Боя» и всеми осталась довольна^[338]. Ни один из этих псевдонимов в других источниках не встречается, а суть их деятельности и легальная профессиональная принадлежность неизвестны.

Темп вербовочной работы «Веры», которая еще буквально вчера сетовала на то, что ей тут, в Америке, нечем заняться, а через пару месяцев прислала список желающих стать советскими шпионами американцев, естественным образом встревожил Москву: не слишком ли неосмотрительно девушка берет быка за рога? Феррари ответила в присущей ей манере, давая понять Урицкому, кто из них двоих настоящий разведчик:

«Я совсем не считаю темп моей вербовочной работы быстрым. Я узнала об этих людях все, что должна была узнать. Поэтому уверена, что они будут работать с нами...

О нагрузке. Пока я не могу считать ее большой, но надеюсь действительно заработать в полную мощь.

О конспирации. Я одна знаю всех, кто мне помогает. К каждому знакомому у меня есть дело. Например, бывая у

Кудряшки, я помогаю ей делать эскизы моделей одежды для богатых клиентов. Я уже становлюсь художником. И это реально. Более того, Кудряшка находится на государственной службе. У нее много буржуазных родственников и друзей. Она очень респектабельна, и она мне помогает...

За мою карьеру я не завербовала ни одного провокатора, не имела в своих организациях ни одного провала, хотя мне не один раз приходилось ликвидировать последствия чужих провалов»^[339].

Неправильно ставить диагноз в отсутствии пациента, но врачей наверняка навело бы на мысль о неврастении такое скорое и внезапное чередование всплесков апатии, астении и бурной активности, какое случилось у Елены Феррари в 1936 году в Америке. Да и не врачам ясно было видно, что со здоровьем у нее дело плохо, и сама Елена Константиновна, пусть и не полностью, это сознавала. Отсюда ее необъяснимые на первый взгляд крайности в планах: то на английский язык сил хватит и не больше, то масштаба не хватает, развернуться негде — она просто горела на работе и, похоже, уже догорала.

«Вера» не раз позволяла себе поучать Директора в постановке вербовочной и шире — разведывательной — службы (жаль, что нам неизвестна ее переписка с Вице-Директором — Артузовым, там могла быть кардинально противоположная ситуация). В августе она, видимо выведя в конце концов Урицкого из себя, объясняла ему:

«Я боюсь, что злоупотребляю вашим приглашением писать вам личные письма, ибо вы недовольны моей „критикой“. Конечно, я виновата сама, если не сумела быть убедительной. Но заниматься общими проблемами у меня не было ни времени, ни намерения. Все, о чем я вам писала, — это повседневные практические вопросы и нужды, и я серьезно рассчитывала на вашу помощь (а он, получается, не помог. — А. К.). Ибо даже маленькая неточность в работе Центра бьет резидента очень сильно, что я на собственной шкуре давно испытала. И когда я вам, например, еще перед отъездом говорила, что аппарат плохо знает людей, то для меня это было не общей проблемой, а практической опасностью, ибо я по опыту знала, что завтра в результате этого я или другой резидент может получить удар по своей работе...

Никогда не занималась критиканством. Наоборот, когда писала вам о наших болячках, знала, что лично я от подобных писем только теряю, ибо вам такие письма, конечно, неприятны. Все же считаю своим долгом писать вам, ибо молчать было бы оппортунизмом. Ни одного утверждения не делала, которое не могла бы подтвердить рядом примеров практических и легко проверяемых...

Если вы считаете, что оперативно организация наша пострадает от перерыва работы сейчас в связи с моим отъездом, то прошу разрешить мне продолжить работу и дожидаться сменщика, сколько бы мне ждать ни пришлось. Ваше обещание, конечно, вы выполните, разрешив мне ехать домой. Но я согласна не ехать и продолжать работу...»^[340]

Неизвестно, какие в реальности существовали у Центра планы в отношении работы Феррари в Америке, но явно растущее напряжение в отношениях между ними, непонимание, чем именно она там занимается (и снова — зачем отправляли?) и каким образом строит свою работу, привели Москву к решению завершить командировку «Веры». К тому же здоровье Елены Константиновны действительно не становилось лучше. Один из курьеров докладывал в Центр:

«Очень беспокоюсь о здоровье Веры. Бывают дни, когда она не может встать с кровати. Выглядит она плохо. Хотя бывают дни, когда она чувствует себя хорошо. Работа здесь может ее подкосить»^[341].

Среди последних отправленных ею из Нью-Йорка сообщений значатся сведения об очередной незапланированной вербовке:

«Не ругайте меня за нового знакомого японца Ревизора. Он очень интересный тип, который может быть нам полезен. Мне кажется, что Валет и Дама тоже могут представить (так в тексте. — А. К.) для нас значительный интерес. Они тоже интересная комбинация. Но над ее решением мне надо поработать еще месяца два-три. Это практически реальный срок. Не надо ни больше, ни меньше. По „желтой группе“ (очевидно, кандидаты для работы „на островах“ — в Японии. — А. К.) вам, конечно, виднее. Мне очень нравится Муж. Он тоже готов».

Развивать предложения Елены Феррари Урицкий не стал. «Вера» была отозвана в Москву и прибыла в советскую столицу в конце ноября того же года. Получается, что всей ее такой бурной и нервной деятельности в Соединенных Штатах и было-то всего полгода...

Глава шестнадцатая

Естественно, смерть

*Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.*

Анна Ахматова «Реквием». 1961 год

За тот короткий период, что Елена Феррари наводила порядок в североамериканской резидентуре, на ее родине произошли чрезвычайно важные события.

18 июня 1936 года умер Алексей Максимович Горький — человек, которого она явно хотела бы считать своим учителем в литературе и общении с которым, судя по всему, стало одним из главных событий в жизни «Красной Феррари».

Другой важный для ее судьбы персонаж — бывший узник Принкипо Лев Троцкий — жил в изгнании в Норвегии. В начале августа 1936 года он закончил работу над книгой «Преданная революция», в которой он назвал происходящее в Советском Союзе «сталинским термидором», а самого «вождя народов» обвинял в бонапартизме.

6 августа 1936 года на дом Троцкого был совершен налет. До этого всю первую половину года в Москве шло следствие по делу так называемого «Анτισоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра». К концу лета все было готово для показательного суда, ставшего позже известным как «Процесс шестнадцати», но еще до его открытия 16 августа организованные Кремлем акции против Троцкого прокатились по Европе. Суд закончился 24 августа. Все 16 обвиняемых были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны на следующий день. Две недели спустя руководство военной разведки отреагировало на эти события рассылкой специального циркуляра, оформленного как личное письмо начальника Разведупра Урицкого на имя каждого из резидентов. Известно, что такое письмо получила и «Вера», находившаяся в Америке, но

наиболее полный образец послания опубликован в составе переписки Центра и токийской резидентуры Зорге. Его и процитируем:

«Дорогой Рамзай,

в порядке политической информации, о которой Вы меня просили, посылаю Вам это письмо.

Только на днях закончился процесс троцкистско-зиновьевской террористической банды, скатившейся до последней стадии падения — до роли агентов гестапо. Процесс показал, что в борьбе двух миров — мира капитализма и мира социализма — нет и не может быть „золотой середины“. Существуют два враждебных друг другу полюса: на одном всё честное, всё благородное, все, кому дорого дело освобождения трудящихся, — и на другом — самое подлое и гнусное отребье старого мира, злейшие враги социализма. Шайка негодяев, пойманная с поличным, уничтожена; приговор был встречен нашей 170-миллионной страной как справедливое возмездие, как выявление воли всего народа...

Логическая неизбежность для врагов партии, в конечном счете, скатиться до открытой белогвардейщины со всеми ее прелестями пророчески предсказана т. Сталиным за несколько лет до их позорной смерти; их пример должен служить предостережением каждому, отходящему от генеральной линии нашей партии, не изжившему своих разногласий с партией, и показать, что логика борьбы против партии приводит с неизбежностью в стан злейших врагов трудящихся, в стан самого разнузданного фашизма.

Процесс выявил необходимость повышения бдительности и осторожности. *Быть бдительным — значит изучать идеи людей и при этом изучать на работе и в быту* (курсив мой. — А. К.). Благодушие, разболтанность, расхлябанность, излишняя доверчивость, вера на слово — враждебны духу нашей партии. Всегда надо помнить золотые слова нашего любимого вождя: „Не убаюкивать надо партию, а развивать в ней бдительность, не усыплять ее, а держать в состоянии боевой готовности. Не разоружать, а вооружать“.

Особенно важно это для наших товарищей за рубежом, находящихся на ответственной работе и во враждебном окружении: постоянная бдительность, осторожность и

конспиративность, соединенные с непрерывной проверкой людей на деле, обеспечат успех работы и обезопасят нашу организацию от проникновения в нее подлых последышей троцкистской банды. Процесс показал, наконец, что наша страна и партия едины и сплочены, как никогда в одно общее стремление построения социалистического общества вокруг нашего горячо любимого вождя и учителя»^[342].

Странностей для современного читателя в письме много. Прежде всего, оформление в виде ответа на запрос о политической обстановке. Но любой вопрос заграничного резидента о состоянии дел в Москве при желании можно было воспринять именно так — как повод, чтобы поделиться более чем важными новостями. Личное обращение Урицкого тоже не должно ввести в заблуждение — оно напоминает вписанные от руки в типографский бланк имя и отчество приглашенного на какое-нибудь светское мероприятие: текст един для всех, но иллюзия избранности сохраняется. Основная часть письма — типичный пример самой что ни на есть официальной политической информации с вдохновенным призывом в финале к взаимному шпионству и доносительству — на работе и в быту, везде.

Насколько эти заклинания и, соответственно, реакция на них были формальны? В какой степени все это действительно мотивировало советских людей, в том числе советских разведчиков? Человек везде и всегда всего лишь человек. Вот и персонажи нашей истории тоже были самыми обыкновенными представителями цивилизации на очередном из труднейших этапов ее существования. Каждый видел и читал в подобном письме именно то, что хотел. Каждый «колебался вместе с генеральной линией» сам — ровно настолько, насколько считал это нужным и правильным, прислушиваясь к голосу совести или к своей внутренней пустоте.

Сообщение на имя Зорге было отправлено 31 августа 1936 года — через две недели после расстрела «шестнадцати». По данным Владимира Лоты, аналогичная бумага в адрес Феррари ушла на месяц раньше, еще до начала процесса, что чрезвычайно странно. Но возможно, имеет место простая опечатка и Елена Константиновна отвечала Урицкому не 9 августа, а 9 сентября — тогда все встает на свои места.

«Дорогой Семен Петрович!

Прежде всего, спасибо за письмо с информацией о

троцкистских бандитах, которое, согласно указанию, возвращаю (курсив мой. — А. К.).

Мы здесь с не меньшим возмущением следили за судом и, если могли бы, то отсюда присоединили бы свои голоса к резолюции рабочих, требующих физического уничтожения предателей и шпионов. Как Вы пишете, в ответ на это мы должны удвоить бдительность и нашу организацию держать в чистоте не только от явных врагов, но и от оппортунистов, лодырей и очковтирателей-карьеристов, которые в нашем деле могут принести больше вреда, чем явный враг»^[343].

Фраза «...если могли бы, то отсюда присоединили бы свои голоса к резолюции рабочих, требующих физического уничтожения...» выглядит плохо, звучит отвратительно, но это примета времени, эпохи, и опять же, это только фраза. Тогда такие словесные конструкции писали и произносили автоматически. Понятно, что каждый должен был так или иначе поддержать, присоединиться, осудить. Не каждый смог не на словах, а на деле добавить свою охапку хвороста в разгорающийся костер. Но в близком окружении Елены Феррари такой человек нашелся. Агентесса под псевдонимом «Шарлотта», судя по ее реакции, получила такое же письмо от Урицкого и в сентябре ответила пространным доносом:

«В связи с процессом троцкистско-зиновьевской шайки террористов, агентов гестапо, а также в связи с получением Вашего письма, я сочла своим долгом корпорантки (обычно под этим термином военные разведчики имели в виду коллег, но в данном случае „Шарлотта“ указывает таким образом и на принадлежность к партии большевиков. — А. К.) в ответ на Ваш призыв к бдительности (курсив мой. — А. К.) посмотреть не только на то, с чем я связана в настоящее время, но и солидно покопаться в своей памяти.

Результатом этого, как Вам уже известно, явилась моя телеграмма относительно Зевса-Абдуллы, которого я достаточно долго и хорошо знаю, так как в течение полутора лет была с ним связана по работе. Так как в телеграмме многого не скажешь, а здесь требуется более тщательное изложение этого дела, то я считаю необходимым более подробно остановиться как на самой личности Абдуллы, так и на его работе. <...>

Считая, что совпадение в данном случае совершенно исключено, и зная троцкистское прошлое Абдуллы, я и сочла своим долгом немедленно телеграфно об этом сообщить...

Продолжая „раскопки“ в своей памяти, я считаю своим долгом сообщить еще ряд фактов, которые в связи с настоящими событиями приобретают совершенно другое освещение. Я должна оговориться в данном случае, что никаких категорических утверждений я в этом случае не делаю. Изложенные мною факты должны быть известны нашему руководству, но я считаю своим долгом еще раз о них напомнить и подвергнуть их тщательной проверке. Речь идет о нашей старой работнице Ирэн. Я знаю ее с 1925 года, когда мы с ней работали в Италии, и я невольно явилась свидетельницей целого ряда событий в ее жизни...

Я знаю, что Ирэн в 1918 году вышла из рядов нашей корпорации, вступила в анархистскую группу под влиянием своего бывшего мужа Георгия Голубовского и его близкого друга Игоря Саблина. В 1920 году группа этих людей была направлена на работу за рубеж.

В 1921 году Голубовский и другие товарищи были отозваны в деревню (в Центр. — А. К.), а Ирэн осталась за рубежом. На мой вопрос, почему она не вернулась, она мне говорила, что ей захотелось стать знаменитой, и поэтому она, якобы с разрешения Старика (Ян Берзин — в то время начальник IV Управления. — А. К.), осталась за рубежом. Она жила в среде эмигрантской литературной богемы, печаталась в белогвардейских изданиях, снималась в кино и т. п. О том, как она вернулась в деревню, мне достоверно не известно.

В 1925 году в Италии она сошлась с тогдашним секретарем торгпредства Карлом Петермайером. И Ирэн, и сам Петермайер неоднократно говорили мне о близости последнего к Рут Фишер и Маслоу, в то время стоявшими во главе КПП...

В конце 1925 года мы обе очутились в Москве. Она заявила секретарю нашей [партийной] организации (тогда это был Александр Матвеевич), что она является полноправным членом КПП. Документы ее привезет в ближайшее время ее муж Пэт. На основании этого ей было разрешено посещать собрания нашей организации (корпорации). Но прошло полгода, и о документах ни слуху, ни духу. К этому времени Рут Фишер была разоблачена

и устранена от руководства КПП. А личный друг Ирэн Петермайер поспешил от нее отмежеваться и даже боялся упоминать о своей былой дружбе...

Работая у нас в тогдашнем III отделе, Ирэн постоянно ходила к Бронку, ведавшему тогда зарубежной работой, с просьбой послать ее на работу в страну колбасников (Германию. — А. К.). На мой вопрос, почему она этого добивается, она ответила, что, если она будет работать там по нашей линии, с ней может поехать и Карл на работу по корпорантской линии... Вскоре после этого Ирэн была внезапно уволена Бронком из нашего учреждения.

На работу она устроилась в Главконцесском, тогда возглавляемый Троцким. Устроиться на работу ей помогли Ганецкие, покровительствовавшие ей и ее мужу, и тогда, если не ошибаюсь, бывшие троцкистами. Эта дружба весьма тесная сохранилась и до настоящего времени.

Должна сказать, что к этому времени (1926 г.) моя дружба с Ирэн весьма охладилась. Я перестала у нее бывать по той причине, что мне надоело обывательское антисоветское нытье ее супруга Пэт, который не стеснялся в моем присутствии выражать свое мнение о „варварской стране“. Кроме того, меня удивляла бывавшая у нее публика: Игорь Саблин, писатель Сергеев и другие с их постоянными антипартийными и антисоветскими разговорчиками. На неоднократные мои замечания ей, она либерально извиняла их, говоря, что, мол, писатель — это не то, что мы все, ему, мол, позволительны всякие вольности...

За последние годы мы с Ирэн почти не встречались, так как она обычно бывала за рубежом, в то время как я была в деревне, и наоборот. Я только случайно узнала от наших общих знакомых, что ее друг Игорь Саблин был выслан на Соловки, затем ему разрешили вернуться в Москву, и он по возвращению своему был у Ирэн...

Еще раз оговорюсь, что эти факты давно известны нашему руководству, и я не могу определенно сказать, где здесь просто „грехи молодости“ (как я до сих пор рассматривала все эти дикие истории в жизни Ирэн), а нечто худшее. Но имея [в виду] ее постоянную склонность к романтической болтовне о ее теперешней работе, из которой большинство — чистейший вымысел (еще недавно один ВАТ (военный атташе. — А. К.) по приезде сюда рассказывал совершенно невероятные легенды о

ней), и что хуже, ту серию провалов, которая все больше и больше накапливается вокруг нее (парижский провал, происшедший (так в тексте. — А. К.) вскоре после ее отъезда оттуда, провал Марии (Скоковской. — А. К.), которая была ее большой приятельницей и которая мне говорила, что Ирэн является ее доверенным лицом и единственной опорой в работе; провал Мацейлика в Вене во время пребывания там Ирэн и, как говорил мне Рудольф, какой-то новый провал там, где она теперь находится), — все это заставляет меня очень строго отнестись к изложенным мною событиям и сообщить их вам для новой, более тщательной проверки в свете последних событий, которые многому нас научили о тактике нашего врага.

Жму вашу руку и шлю наилучшие пожелания.

Шарлотта»^[344].

К сожалению, мы не знаем, кто скрывался под именем «Шарлотты». К сожалению — не потому что кому-то хотелось бы отомстить ее потомкам за донос или, наоборот, восславить истинную сталинистку. К сожалению — потому что не можем проследить дальнейшую судьбу этого человека. Выжила она или нет? Ведь вовремя донести на подругу и коллегу, чтобы избежать пули самой, вовсе не означало победить. Это была игра в прятки со смертью, и очень редко шанс выиграть хоть как-то зависел от игрока. К тому же всего на нескольких страницах доноса — половина жизни Елены Феррари, известная изнутри, из круга ее друзей, и было бы и важно, и интересно узнать, от кого именно исходила такая информация. Сразу несколько сотрудниц Разведупра, находившиеся в заграникомандировках, могли написать это письмо, возбужденные «личным» призывом Урицкого о бдительности в отношении троцкистов. А Елена Константиновна, надо это признать, как минимум у некоторых сотрудников Разведупра ассоциировалась с троцкистами. Теперь самому Урицкому и его заму Артузову, назначенному из НКВД как раз для того, чтобы ликвидировать в военной разведке все возможности предательства, нелояльности и просто плохой работы, приходилось реагировать.

Директорская резолюция оказалась кратка: «На счет провалов (так в документе. — А. К.) — это сплошные неточности. Они нам хорошо известны». Очевидно, что после каждого скандала с арестами зарубежной агентуры устраивались разбирательства и, по возможности,

устанавливались их причины, в том числе прорабатывалась возможность предательства. А остальное Урицкий осторожно комментировать не стал. Принадлежность Феррари к троцкистской оппозиции или случайная дружба с кем-то из ее представителей ему самому известны вряд ли были, а устраивать следствие по этому поводу у него не было ни желания, ни возможностей.

Вице-директор — Артур Христианович Артузов взял сию тяжкую ношу на себя и «расписал» приказание начальнику Западного отдела Отто Оттовичу Штейнбрюку, разделив в доносе «Шарлотты» дело «Абдуллы» и Феррари:

- «1. Об Абдулле составить выписку и сообщить в НКВД.
2. Об Ирэн. Расследуйте всё сообщение и представьте мне письменные выводы»^[345].

Видимо, то, что «телеграфно» сообщила «Шарлотта» относительно «Зевса-Абдуллы» (в военной разведке было несколько агентов с такими кличками, и, не имея на руках полного текста письма, мы не можем предположить, о ком именно шла речь), было важно в свете «Процесса шестнадцати». В случае с Феррари такой спешки не было, и начальство не торопилось, предполагая, что события будут развиваться своим чередом. Так и произошло.

В соответствии с известной версией, Елена Константиновна, вернувшись в ноябре в Москву, поселилась на конспиративной даче Разведупра в Серебряном Бору. Там она подготовила отчет о своей полугодовой командировке, высоко оцененный начальством. 14 декабря 1936 года совершенно секретным приказом по личному составу Разведупра РККА помощница Феррари в Америке «тов. Джульетта» была награждена именными часами, а батальонный комиссар Михалевский (похоже, что «Михелем» был все-таки именно он) и капитан Феррари получили «благодарность от лица службы» за проявленное «действительно большевистское отношение к делу» «при выполнении одного из важных и сложных заданий».

Интересно, что о своей помощнице «Вера» в докладе позаботилась особо и в своем неповторимом, может быть несколько свысока, тоне:

«Мотивируя свою телеграмму о необходимости наградить Джульетту, должна сказать, что она проявила исключительную энергию, пронырливость, изобретательность и неутомимость.

После благополучного завершения операции она сейчас вдребезги разбита. Вы не представляете, сколько у нее в последнее время было работы, связанной с бесконечными разъездами между четырьмя городами. <...>

...безусловно заслуживает награды, не ордена, не грамоты ВЦИК, чего-то там поменьше, возможно. Ценный подарок или благодарность... Это ей честно заслужено и будет для нее стимулом и одобрением продолжать работу в том же духе»^[346].

В приказе о награждении оказалось учли пожелание Феррари относительно «Джульетты» (она была не только награждена, но и отозвана из Америки). Было особо отмечено, что «успеху выполнения сложной и тяжелой задачи содействовали знание обстановки, смелая разумная инициатива и энергия»^[347]. Навет «Шарлотты» награждению не помешал, а значит, и Урицкий, и Артузов, проанализировав изложенные в нем сведения, не сочли их ни подозрительными, ни порочащими честь Елены Феррари, ни опасными для себя, раз решились на награждение такого сотрудника.

Более того, в январе наступившего 1937 года Елена Константиновна была принята в «Шоколадном домике» Урицким. По итогам встречи заместитель начальника 1-го отдела полковник Узданский суммировал результаты поездки:

«1. Агентов Сына, Внучку и Симпатика под руководством Веры направить на работу в Европу.

2. Агента Перу передать на руководство в другой отдел. Остальные незавершенные разработки ликвидировать...

Однако эта группа имеет чрезвычайно богатые возможности к дальнейшему развитию. Помимо уже почти готовых Сына, Боя, Внучки, Симпатика и Нана там имеются: Инженер — сотрудник завода по производству подводных лодок; Табата — журналистка; Гурон — крупный специалист по неорганической химии; Христос — немец, который через год возвращается в Германию; Монки — немец, сын большого политика, едет в Японию.

Эти и другие зацепки дают возможность развернуть там широкую вербовочную работу, имея в перспективе столь заманчивые фигуры, как Монки, Инженер и Перу»^[348].

Сама Елена Феррари от разработок по этим людям была отстранена по

медицинским показаниям. Она прошла обследование в военном госпитале^[29] и 5 февраля вернулась на службу с рекомендацией военно-врачебной комиссии:

«...в настоящее время не может выполнять сложно-ответственные работы в напряженных условиях. Может работать в спокойной обстановке, желательно — при периодическом наблюдении невропатолога, а потому лучше всего в одном из крупных медицинских центров Союза...

В ближайшее время нуждается в санаторном лечении (Архангельское) в течение одного месяца»^[349].

Елена Константиновна отправилась на отдых в санаторий, но это было уже бесполезно. Началась агония спецслужб образца «до 1937 года», и спасти ветеранов разведки не могли никакие врачи. 11 января был освобожден от должности заместителя начальника Разведупра Артур Артузов, назначенный... научным сотрудником в архивный отдел НКВД. 13 мая он был арестован, а 21 августа расстрелян. В тот же день пулю в затылок непосредственному шефу Феррари начальнику Западного отдела Отто Штейнбрюку, уволенному вместе с Артузовым 11 января, но арестованному в апреле. 3 июня новым начальником Разведупра был назначен бывший начальник IV Управления Ян Берзин, вернувшийся таким образом на свое место. Но еще 21 мая в «Шоколадный домик» приехал Сталин и выступил со знаменитым заявлением «Разведуправление со своим аппаратом попало в руки немцев»^[350]. Военная разведка получила указание на почти полный роспуск агентурной сети. Начались развал и массовые аресты разведчиков. На Лубянку отправились почти все знакомые и друзья Елены Феррари, ее начальники. 14 июня взяли полковника Стефана Узданского. 1 ноября был арестован Семен Урицкий. 1 августа уволен, а 27 ноября арестован Ян Берзин.

Брали, конечно, не только сотрудников Разведупра. 27 июня был арестован бывший возлюбленный Елены Феррари Карл Петермайер. 18 июля из элитной квартиры в Доме на набережной забрали бывшего кассира Ленина и Горького Якуба Ганецкого. Он никак не мог поверить в случившееся, «написал „кричащее“ письмо наркому внутренних дел Ежову — тщетно. Роковую для Ганецкого роль сыграл найденный в делах отчет о его поездке в Польшу 20 сентября 1933 года. Ездил он по поручению Сталина за архивом Ленина, но, чтобы заполучить его, ему пришлось неоднократно встречаться с офицерами 2-го разведывательного отдела

польского генерального штаба. Это самовольство „засекли“. Когда пришло время, НКВД расценил, естественно, этот поступок как „шпионскую связь“. А „германским шпионом“ он являлся, как заявил ему следователь, еще с времен империалистической войны...»^[351]. Показания на Ганецкого дал и «Пэт»: «...А здесь еще его сотрудник Петермейер на очной ставке доложил, что когда он ездил в Берлин, то по поручению Ганецкого получал для него марки у некоего господина Сеньора...»^[352]

Круги сужались. Елена Феррари прощалась с городом, наверняка предполагая, что скоро придется попрощаться с жизнью. Она побывала в недавно открытом Архиве А. М. Горького и передала в дар три фотокарточки — снимки писателя, сделанные ею когда-то в Германии и Италии. Эти снимки до сих пор бережно сохраняются в Музее-квартире А. М. Горького на Малой Никитской. Гуляла по Москве. Встречалась с братом Владимиром — одно из лучших их совместных фото относится, вероятно, именно к этому периоду. Встречалась и с бывшим мужем — Жоржем Голубовским. Он давно работал инженером, по-прежнему жил с той девушкой Марией, с которой познакомился когда-то по пути от Люси в Москву, у них росла дочь Леночка. Автору этих строк Елена Георгиевна Голубовская рассказывала, что в раннем детстве ходила с «тетей Люсей» в зоопарк и та покупала ей «много-много мороженого».

За Еленой Феррари пришли осенью. Ордер на арест был подписан 1 ноября 1937 года. Сотрудники 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР Антропов и Чуркин в присутствии дворника В. Р. Мысина провели обыск в ее квартире в Кривоколенном переулке. Изъяли орден Красного Знамени № 140 с орденской книжкой № 021 587, пропуск в Разведупр и удостоверение сотрудника Разведывательного управления РККА^[353]. Что было дальше, непонятно. Первый протокол допроса датирован 27 ноября^[354]. Что происходило с Люсей Ревзиной в эти почти четыре недели в тюрьме, нам неизвестно. И... наверное, этого лучше не знать.

В протоколе общие сведения: где родилась, когда, в какой семье. Знакомая нам уже история с ее дореволюционным арестом и арестом чекистами в 1919-м по делу о взрыве бомбы в Леонтьевском переулке. И опять обрыв. Следующий документ — «Постановление об избрании меры пресечения» — датирован 24 декабря: «ФЕРРАРИ Елена Константиновна достаточно изобличается в том, что она на протяжении ряда лет занималась антисоветской троцкистской деятельностью, а также шпионажем против СССР... Привлечь по ст. 58, п. 6, 10, 11»^[355].

Перечисленные пункты 58-й статьи, в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР 1922 года в редакциях 1926 года и более поздних означали:

58.6 — шпионаж, то есть передача, похищение или собирание с целью передачи информации, являющихся государственной тайной, или экономических сведений, которые не являются государственной тайной, но которые не подлежат оглашению по прямому запрещению законом или распоряжению руководителей ведомств, учреждений и предприятий. Наказание: расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнание из пределов Союза ССР навсегда, с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества.

58.10 — пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой — лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.

58.11 — всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе контрреволюционных преступлений, приравнивается к совершению таковых и преследуется уголовным кодексом по соответствующим статьям.

Каким образом и почему «была установлена вина» Ольги Ревзиной — Елены Феррари по этим статьям обвинения, неизвестно. Сыграл ли здесь свою роль донос «Шарлотты»? На этот вопрос тоже нет ответа. Но есть особенности ведения следствия в те годы. Статья 93 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1923 года разрешала использовать материалы, полученные негласным путем (сводки наружного наблюдения, донесения нештатной агентуры, доносы, подобные тому, что отправила в Центр «Шарлотта»), не только в оперативных целях, но и в дознании, на предварительном следствии и в суде. Называлось это «предварительной негласной проверкой»^[356]. Материалы, полученные при ее проведении, подшивались в так называемые агентурные дела, дела-формуляры и литерные дела^[357]. Кроме того, в соответствии со статьей 109 того же кодекса, следователь имел право вообще не производить предварительное следствие или ограничиться производством отдельных следственных действий, если признавал имевшиеся у него материалы агентурного дела

«достаточно полными и дело достаточно разьясненным»^[358]. А приказ ОГПУ от 17 июля 1931 года «Об упрощении формальностей по следствию в органах ОГПУ» вообще позволял игнорировать чекистам такие нормы, как, например, составление постановлений о приобщении к делу вещественных доказательств. Сама же «чекистская», то есть оперативная работа объединялась со следственной. В связи с этим «всякий чекист должен был проявить себя на следственной работе, и его квалификация оценивалась по тому, насколько эффективно оперработник мог „работать“ с арестованными. Между тем собственно следовательская специализация в течение многих лет была отменена. Зато чекист, который занимался как работой с осведомлением (так в документе. — А. К.), так и допросами, мог влиять и на своего агента, требуя от него нужных сведений на арестованного, и на самого подследственного, вымогая необходимые признания изнурительными ночными допросами и прямыми избиениями...»^[359].

Что означает вся эта запутанная, но смертельно опасная бюрократия на практике? Чекист-оперативник и следователь, ведущий дело, как правило, был один и тот же человек, но самих дел на арестованного могло быть несколько. Причем до наших дней дошли только дела следственные. Остальные, судя по всему, были уничтожены в период между смертью Сталина и началом первой волны реабилитации — в 1954–1956 годах. Мы имеем доступ к следственным делам, к тем, в которые подшивались итоговые материалы этих, с позволения сказать, «следствий». Отсюда и чудовищные, у иных — до нескольких месяцев — временные лакуны между протоколами допросов. Они не означают, что допросы не проводились — проводились, но не допросы, а пытки, и в следственные дела подшивались лишь протоколы финальных показаний. Да и с последними очень часто далеко не все ясно.

Невозможно объяснить, какие страшные тайны разведок хранят документы почти столетней давности, но многие из них и поныне засекречены. В следственном деле Елены Феррари запечатаны в конверты десятки страниц. Что в них? Нам это неизвестно. Можно только догадываться по опубликованным косвенным данным. Дочь бывшего анархиста, ставшего резидентом военной разведки в Шанхае Александра Петровича (Израиля Хайкелевича) Улановского, Майя Улановская в годы эмиграции вспомнила такой эпизод: «...сотрудница Управления Люся Феррари дала на отца показания, будто он завербован австрийской разведкой. Н. Л. (знакомый Улановской, сотрудник НКВД. — А. К.) пришел

в кабинет к ее следователю и повел допрос таким образом, что Люся отказалась от своих показаний»^[360]. И вне зависимости от того, было что-то сказано Еленой Феррари в адрес своих коллег-разведчиков, в будущем сам факт знакомства с ней, то есть, по сути, факт самого ее существования становился строкой обвинения. Так было с разведчиком в Японии Дмитрием Дмитриевичем Киселевым (Моцным): «Давал рекомендацию для вступления в члены ВКП(б) арестованной органами НКВД Феррари»^[361]. Но Киселеву-Моцному еще невероятно повезло: его потом просто уволили из армии, и он благополучно дожил до 1962 года. В случае, например, с чекисткой Верой Яковлевной Сыркиной фамилия нашей героини — уже расстрелянной — фигурирует в новом расстрельном приговоре: «В течение ряда лет состояла в близкой связи с врагами народа: Уманским П. В., Феррари Е. К., Чапским-Шустером, Ильк Б. К., Шпигельглазом, Кариным Ф. Я., Томчиным Ю. Я. (осуждены к ВМН) ...»^[362]. То, что факт знакомства со многими людьми становится чреват приговором, многие осознали с началом 1937 года. Отец Георгия Голубовского Григорий Виссарионович был еще жив и, несмотря на преклонный возраст (а может быть, наоборот, благодаря ему), видел действительность яснее любых разведчиков. Летом он настоял на том, чтобы его сын развелся с женой. Георгий успел — его арестовали только 2 февраля 1938 года по обвинению в «латышском заговоре» — начальник его отдела на заводе, на беду себе и коллегам, оказался латышом^[363], но семья не пострадала.

Показания на него подписала и его Люся. 6 января 1938 года на допросе она «показала»:

«...ГОЛУБОВСКИЙ, будучи до 1917 года в Америке, примыкал к анархо-синдикалистам... В последующем ГОЛУБОВСКИЙ не только не порывал связи с анархистами, но, продолжая общаться с ними, укреплял свои антисоветские взгляды. До 1927 года высказывал упорное желание выехать из СССР».

Елена Константиновна «созналась» в том, что ее первый муж Георгий получал через второго — Карла Петермайера деньги в иностранной валюте, был недоволен политикой партии и правительства в области индустриализации, отказывался «благодарить за счастливую жизнь товарища СТАЛИНА» и даже заявил, что советская милиция берет взятки.

Семейная встреча Люси и Жоржа летом, когда она водила Лену Голубовскую в зоопарк, теперь истолковывалась следователем как важное свидетельское показание:

«В 1937 году, летом, у меня в квартире ГОЛУБОВСКИЙ заявил: „Если генеральная линия партии победна и признана как правильная, так почему же боятся опубликовать и давать возможность читать труды Троцкого? Значит, не все благополучно“»^[364].

5 апреля 1938 года Георгия Голубовского расстреляли на Бутовском полигоне.

После его реабилитации в 1956 году дочери Елене выдали Справку о смерти, в которой, в соответствии с регламентом, разработанным по указанию тогдашнего председателя КГБ при Совете министров СССР И. А. Серова № 108сс от 18 августа 1955 года^[365], было указано, что ее отец скончался в 1942 году от общего заражения крови. Только в мае 1994 года в семье появилась новая справка с официально иной причиной: расстрел.

4 февраля 1938 года следователь вынес постановление о продлении сроков следствия:

«ФЕРРАРИ Е. К., будучи арестована 4 отделом ГУГБ НКВД, показаний о своей причастности к шпионско-террористической троцкистской организации *не дала* (курсив мой. — А. К.), но изобличается показаниями арестованных XI отделом ГУГБ НКВД агентом французской разведки ТАБАЧНИКОМ и шпионом троцкистом ПАЛЕВСКИМ...»^[366]

Показания инженера лаборатории Московской телефонной сети, ровесника Феррари, Моисея Израилевича Табачника в деле подшиты, но... упоминаний о Феррари в них нет. Возможно, они остались в том — другом деле и меньше чем через 20 лет перестали существовать. Единственное, что могло объединять инженера Табачника и разведчицу Феррари, кроме национальности, это тот факт, что Моисей Израилевич какое-то время жил во Франции и являлся членом Французской компартии. Был членом знаменитой «сети рабкоров»^[367]? Весьма вероятно.

Примерно такая же ситуация с Абрамом Израилевичем Палевским — старшим инженером отдела оборудования Главогнеупора Наркомата тяжелой промышленности СССР и тоже бывшим французским

коммунистом. Он был обвинен в принадлежности к «студенческой троцкистской группе» вместе с Рафаловичем, Пижарником, Каном, Тугенрайхом и Борисом и их связи с французской контрразведкой. Но и в его показаниях, имеющих в деле Феррари, упоминания самой Феррари опять-таки отсутствуют, за исключением одной фразы:

«РАФАЛОВИЧ обратился за помощью к своей знакомой ФЕРРАРИ, работавшей в Разведупре. Через нее достал французский паспорт на чужое имя и в октябре тоже выехал во Францию через Ленинград на пароходе»^[368].

Бывший студент Политехнического института французского Гренобля (в 1926–1927 годах) Захар Лазаревич Рафалович — одна из самых загадочных фигур в истории Елены Феррари. Кем был этот человек, был ли он как-то связан с поэтом Сергеем Рафаловичем, к которому была близка Елена Константиновна (или, во всяком случае, так ей казалось)? Известно, что он приехал в Советский Союз в 1935 году вместе с еще двумя «французами» — Сергеем Шором и Максом Сафиром, получил паспорт и зимой 1935/36 года отправился в долгосрочную командировку в Нальчик в качестве инженера треста «Связьмонтаж». Все трое потом были названы «ядром террористического заговора», ставящего целью убийство Сталина по заданию французской разведки и якобы использовавшего Феррари в качестве связной между Москвой и Парижем^[369], но в деле самой Феррари идея с покушением на вождя развития не получила.

Что касается вопросов относительно личности Захара Рафаловича, то у нас пока нет на них ответов, как не было их и у следователя КГБ, со всей добросовестностью пытавшегося расследовать дело Елены Константиновны в 1956 году. Ему удалось лишь найти старую справку, но сведения, указанные в ней, как часто бывает, не вносят ясность, а лишь запутывают дело:

«Справка на АСД № 251 536
на РАФАЛОВИЧА Захара Лазаревича,
1906 г. р., ур. г. Лодзь.

Запрос на предмет выезда РАФАЛОВИЧА во Францию был послан в НКВД 17.02, а затем повторно 10.04 и 27.05.1937 г.

НКВД сообщил, что возражает. 29.IX. 1937 НКВД дал РАФАЛОВИЧУ выездную визу по французскому паспорту.

По сообщению ВРИД начальника 1-го отдела Разведупра РККА майора СТАРУХИНА, РАФАЛОВИЧ в 1937 г. выехал через Францию в Испанию»^[370].

Получается, что загадочный Рафалович собирался покинуть СССР вполне легально — так же, как и въехал. С третьей попытки, но он получил разрешение на выезд от НКВД. Был ли его отъезд (или бегство) плодом усилий Елены Феррари? И почему информацию о его выезде в Испанию через Францию чекисты получили не от своей пограничной службы, а от начальника Западного отдела Разведупра? Будем надеяться, что ответы на эти вопросы еще ждут нас впереди.

Следствие напирало на связь Феррари с троцкистами. Ключевыми фигурами должны были стать Ганецкий и Петермайер. С последним 27 февраля была устроена очная ставка, на которой он, обвиненный в работе на троцкистов, французскую разведку и немецкое гестапо одновременно, подтвердил «уличающие показания» в адрес бывшей невесты, «завербовав» ее «с помощью Ганецкого» для работы на разведку немецкую. Ошеломленная Елена Константиновна все отрицала^[371]. Впрочем, ее сопротивление не имело никакого значения. 11 апреля 1938 года — почти через пять с половиной месяцев после ареста, следствие было завершено. За неделю до этого, с разницей в три дня, были убиты оба бывших возлюбленных Феррари — Голубовский и Петермайер.

«При предъявлении протокола об окончании следствия по делу ФЕРРАРИ Елены Константиновны, последняя от подписи протокола отказалась»^[372].

Это тоже было не важно. Обвинительное заключение в отношении Елены Феррари было уже утверждено начальником 3-го отдела III Управления НКВД СССР старшим майором госбезопасности Александром Павловичем (Израилем Моисеевичем) Радзивилловским (ему самому до ареста оставалось пять месяцев и пара лет пыток — до расстрела) и прокурором Союза ССР Андреем Януарьевичем Вышинским:

«ФЕРРАРИ Елена Константиновна — бывшая сотрудница Разведывательного управления РККА была арестована как участница антисоветской шпионско-террористической троцкистской организации.

На следствии ФЕРРАРИ показала, что на путь троцкистской деятельности она встала впервые в 1926 г. В 1926–29 (то есть во время работы в Главконцесском. — А. К.) принимала участие в троцкистских собраниях, в печатании и распространении нелегальных, антисоветских, троцкистских документов и т. д.

С 1929 по 1937 г., будучи организационно связана с троцкистами, находившимися в СССР и за границей, и используя свои служебные командировки по линии Разведупра. Осуществляла между ними связь, производя обмен информацией об антисоветской, троцкистской работе.

В 1924–1934 гг. сообщала периодически сведения о работе Разведупра участникам антисоветской троцкистской организации и агентам германской разведки ГАНЕЦКОМУ и ПЕТЕРМЕЙЕРУ.

В 1934 г. была завербована ГАНЕЦКИМ и ПЕТЕРМЕЙЕРОМ для шпионажа против СССР, после чего до последнего времени давала и систематическую информацию о работе РУ РККА.

В 1935 г. помогла устроиться на работу в систему Наркомсвязи прибывшему из Франции с террористическими и шпионскими заданиями от Дорио троцкисту и агенту французской разведки РАФАЛОВИЧУ. В 1937 г., зная, что он троцкист, способствовала его проникновению на нелегальную работу в РУ РККА. В том же году, получив от РАФАЛОВИЧА информацию о том, что ему грозит арест как агенту французской разведки и участнику подготовки террористических актов против руководителей ЦК ВКП(б), оказала последнему содействие к выезду во Францию.

На основании изложенного обвиняется ФЕРРАРИ Елена Константиновна, 1899 года рождения, еврейка, гражданка СССР, бывший член РСДРП(б) с 1916 по 1917 г., бывшая анархистка, бывшая сотрудница Разведывательного управления РККА в том, что:

1. Входила в состав антисоветской шпионско-террористической троцкистской организации;
2. Выполняла поручения по связи между заграничными троцкистами и троцкистами, находившимися в СССР;
3. Занималась шпионажем против СССР;
4. Содействовала определению на службу, а затем выезду из СССР французскому троцкисту-террористу и агенту французской

разведки — РАФАЛОВИЧУ, то есть, в преступлениях, предусмотренных ст. 58, п. 6 и 11 и ст. 58, п. 8 УК РСФСР»^[373].

Елена Константиновна расписалась только в получении копии этого обвинительного заключения^[374]. Изучая эти две страницы, ей предстояло прожить еще два месяца.

14 июня 1938 года были приговорены и расстреляны Табачник, Палевский и сын Ганецкого военный летчик и альпинист Станислав Яковлевич (Стах Якубович).

16 июня состоялся суд над Еленой Феррари. Председательствующий закрытого судебного заседания выездной сессии Военной коллегии Верховного суда Союза ССР — диввоенюрист Иван Михеевич Зарянов. Члены — бригавоенюрист Сергей Никанорович Ждан и военюрист 1-го ранга Федор Арсеньевич Климин.

Елена Константиновна еще раз выслушала обвинительное заключение, но виновной признала себя только в том, что в 1927–1928 годах проводила троцкистскую деятельность.

От показаний, данных на предварительном следствии, Феррари отказалась, заявив, что к антисоветской организации она никогда не принадлежала, шпионажем не занималась и «никакого содействия РАФАЛОВИЧУ не оказывала и связистом не являлась»^[375].

В последнем слове подсудимая попросила лишь одного: «Тщательно расследовать материалы ее дела и вынести объективное решение».

Понимала ли Люся Ревзина, что решение вынесено заранее? Кто знает... Умерла она, так и не признав себя виновной. Через 15 минут судебного заседания Елена Феррари была приговорена к высшей мере наказания с конфискацией лично ей принадлежавшего имущества^[376] — стране позарез были нужны ее квартира и американские платья...

«Справка. Секретно.

Приговор о расстреле ФЕРРАРИ Е. К. приведен в исполнение в гор. Москве 16/VI-1938 г.

Акт о приведении приговора в исполнение хранится в Особом архиве 1-го спецотдела НКВД СССР, т. № 3, л. № 198»^[377].

Брат Люси Владимир Воля еще два месяца продолжал службу в Разведупре, исполняя обязанности начальника его 8-го отдела, в ведении которого находились вопросы военной цензуры, но уже 27 июня 1938 года состоялось собрание первичной парторганизации отдела, на котором рассматривалось его личное дело. Для начала «...коммунисты выразили сомнение в правдоподобности объяснений ВОЛЯ об обстоятельствах ареста царской охранкой в ноябре 1916 года^[30] Екатерининского комитета РСДРП в фотографии, принадлежавшей ВОЛЯ и ФЕРРАРИ...». Несколько человек, знавших Владимира Федоровича с Гражданской, вступились за сослуживца, подтвердив проявленные им мужество и героизм в боях против гайдамаков, немцев и анархистов. «Исключительно положительный отзыв» дал о своем друге и Федор Гайдаров. Но переломить настроение большинства было уже невозможно, и Воля это понял. Он покаяться и... отрекся от сестры: «Основное, в чем я виноват, это то, что я не мог разоблачить своей сестры ФЕРРАРИ, но у меня не было никаких данных к ее разоблачению. Я оказался ею обманутым, а она была для меня самым близким человеком... Я признаю себя виноватым в том, что не разглядел вражеских лиц ФЕРРАРИ и... <...> Товарищ Шугинина предупреждала меня о том, что есть у них в редакции [„Красной Звезды“] некий Лобович, который очень нехороший человек, а сестра — ФЕРРАРИ познакомилась с ним в Архангельском и собиралась выйти замуж».

Не помогло и это. Коммунисты закусили удила и отпускать Волю просто так не собирались: «...Воля не может выйти сухим из воды по делу ФЕРРАРИ, он старше ее, фактически был ее руководителем, и не может быть, чтобы он не знал, они идейно были связаны»^[378].

Владимир Воля был исключен из партии «за притупление классовой бдительности, за бытовую связь с врагами народа и антипартийное комментирование речи товарища СТАЛИНА на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года»^[379]. 26 сентября он был уволен в запас из РККА «в аттестационном порядке по служебному несоответствию». 29 мая следующего, 1939 года за ним пришли. При обыске в квартире на Каляевской изъяли так много материалов, что пришлось заполнять сразу несколько протоколов. Среди документов были сценарий Льва Рубинштейна для кинофильма «Военная тайна» (так и не будет снят), черновики писем обвиняемого с просьбами восстановить Волю в партии на имя Сталина, в Комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б) и к XVIII съезду ВКП(б), письма в адрес армейского руководства, включая Ворошилова, с ходатайством о возвращении Владимира Федоровича в

армию. Там же хранился черновик письма приемной матери Владимира и Ольги — Эммы Давидович на имя Берии с мольбой отпустить дочь. Все это время Эмма Ионовна носила передачи в Бутырскую тюрьму для уже расстрелянной Ольги [\[380\]](#).

Ломали Волю долго — месяц. Впервые он признал себя виновным в участии в антисоветской организации на допросе 30 июня, но вскоре отказался клеветать на себя и больше уже не признавался ни в чем ни на следствии, ни на суде — Владимир Воля заслуженно носил громкий псевдоним. Расстреляли его там же, где сестру, — на полигоне «Коммунарка» под Москвой 17 марта 1940 года. По неизвестным причинам он отказался подтвердить на суде, перед смертью, что первоначальное признание было выбито из него следователями, говорил лишь, что находился «в почти бессознательном состоянии». Но позже, в 1954 году, оба следователя — Лихачев и Комаров были расстреляны по делу Берии [\[381\]](#).

Спустя еще два года младший сын Владимира Федоровича Олег подал заявление о реабилитации отца и тети. В июле 1956 года с Владимира Воли были сняты все обвинения. Затем настал черед Люси.

Следователь Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР долго и кропотливо изучал сохранившиеся — следственные — дела Елены Феррари и всех, кто был упомянут в них. В следственном деле М. И. Табачника, как и ожидалось, упоминаний о Феррари не нашлось [\[382\]](#). То же самое с делом Я. С. Ганецкого: под роспись не вспомнил Якуб Станиславович о своей протее [\[383\]](#). На запрос начальника 1-го отдела Следственного управления КГБ в адрес Центрального государственного Особого архива МВД СССР «о принадлежности к разведорганам Германии и Франции ФЕРРАРИ Елены Константиновны, в период 1924–1926 и 1930–1937 гг. неоднократно выезжавшей в заграничные командировки во Францию, Швейцарию и Америку» был дан четкий и однозначный ответ: «СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО» [\[384\]](#).

Ольга Федоровна Ревзина — Елена Константиновна Феррари, Люся, «Люси́», «Ирэн», «Вера», «Итало» — стараниями своих родственников была реабилитирована 23 марта 1957 года. В справках о смерти, выданных ее племяннику Олегу Владимировичу Воле и сводному брату Рафаэлю Федоровичу Ревзину, было указано, что смерть Елены Константиновны наступила 17 августа 1939 года — «от естественных причин» [\[385\]](#).

Что может быть «естественней»...

Вместо эпилога

«Секретно
Верховный Совет Союза ССР
Хранить постоянно
Отдел по учету и регистрации награжденных

ДЕЛО № 0306/С
1941 ГОД.
ОРДЕНОНОСЦА ФЕРРАРИ Е. К.

Начато 1941 г. апреля 16 дня
Окончено 1942 г. мая 9 дня

<...>

3-е отделение ФО АХФО НКГБ препровождает при этом...

<...>

5. Феррари Е. К. Орден Красного Знамени № 140. СССР.
Серебро, вес 29,1 гр.»[\[386\]](#).

«Напомнить 1.8. 1941.
СЕКРЕТНО. Экз. № 1

Секретарю Президиума
Верховного Совета СССР
Тов. Горкину

Сообщаю, что ФЕРРАРИ Елена Константиновна, 1889 г. р.
(явная опечатка. — А. К.), урож. г. Днепропетровска, быв.
сотрудница Разведупра РККА осуждена за антисоветскую
деятельность.

Подлежит лишению ордена Красного Знамени.
Заместитель Прокурора Союза ССР
Г. Сафонов.

...Лишена 28.III. 1942 г.»[\[387\]](#).

Приложение 1

Переписка А. М. Горького с Е. К. Феррари [\[388\]](#)

1. Горький — Феррари

16 апреля 1922. Берлин

Милая Елена Константиновна,
приехав сюда, не застал здесь издателей, погрузился в трясину различных делишек и — не успел еще ничего сделать с Вашими стихами.

Великодушно простите, пришлю Вам стихи на Пасхе, а пока посылаю обещанные книжки стихов; обратите внимание на Ходасевича, а — особенно на Одоевцеву.

Как Вы живете? Хорошее воспоминание у меня о Вас. Очень милый человек Вы, — да будет Вам хорошо на земле!

Жму руку.

А. Пешков

16. IV.22.

С Праздником! [\[31\]](#)

2. Феррари — Горькому

Pansion Zimmermann Schönau i/W (Baden).

[Вероятно, вторая половина апреля 1922 г.]

Алексей Максимович, дорогой мой, ура!

Предприятие наше в Турции сорвалось, и мне сообщили о том, хотя без всяких объяснений и подробностей. Но главное — все мы свободны! Я в таком бешеном восторге, что голова идет кругом. Понимаете — свободна, без всяких жертв и работы за меня кого бы то ни было! Я слышала раз

такую фразу: «Какая вы хорошая и как вас много!» — меня хоть и совсем не много и качества подозрительного, но я просто счастлива, что принадлежу себе, и даже не знаю, что с собой делать. Сегодня солнце, против обыкновения, светит целый день — оно тоже радо за меня.

Посылаю мой рассказ в стихах. Пока писала — казалось хорошо, но кончила — и боюсь, что недостаточно хорошо, чтоб могло быть посвящено Вам. Но так или иначе — Вам. Тема его мне очень близка и поэтому очень важно — как Вы его найдете. Моя книга рассказов продвигается медленно: три — готовы, остальные еще не написаны, хотя задуманы все. Вообще задумано страшно много, я все боюсь, что чего-то не успею сделать.

Как Вы живете? Как Ваше здоровье? Останетесь ли в Берлине на все лето? Есть ли у Вас телефон и можно ли с Вами говорить?

Вчиталась в присланные Вами книжки — и Ходасевич мне очень нравится. Напрасно взвела на него поклеп. Получила 2 первых № «Новой Русской Книги» — и не знаю, лучше ли оставаться в стороне вообще от пишущей публики или стоит подойти к ним поближе. Ремизов и Пильняк вводят меня в великое сомнение: странно как-то пишут, и думают наверное тоже так — не по прямой улице, а всё норовят по переулкам да закоулкам, оттого-то и язык у них такой — и по-русски будто, а иной раз в тупик становишься. Отрывки Пильняка «Ростиславль» (в «Накануне») — то же самое ^[389]. Я думаю все-таки, что лучше не только не усложнять формы, а, наоборот, упрощать ее до того, чтоб она совсем исчезла, а осталось бы одно содержимое. Впрочем, это зависит от внутренней структуры автора. Вот, напр., почитать В. Брюсова, — и как ясно рисуется его портрет, хоть его и не знать.

Алексей Максимович, не слишком часто я Вам пишу? Желаю всего хорошего. Крепко жму руку.

3. Горький — Феррари

29 мая 1922. Сааров

[после телеграммы «Письменный ответ последует»]

Дорогая Елена Константиновна!

Очень виноват пред Вами, но — что делать? Одолели меня различные неудачи, чувствую себя скверно и очень занят, — даже вот не нашел времени написать Вам.

Напечатать Вашу книжку мне не удалось, ибо издатели сейчас новых

книг почти не принимают ввиду того, что в России установлена на книги ввозная пошлина, по 10 золотых рублей с пуда. Это действительно тяжелая пошлина, не говоря уже о ее варварском значении фактической преграды ввоза книг в духовно голодную страну.

Возвращаю Вам рукописи, — недурная и оригинальная книжка выйдет из них.

Я уезжаю завтра в какой-то городок на Балтийском море, где буду жить до 1 июля, а затем — в Россию.

Желаю Вам всего хорошего. Едва ли я встречу с Вами еще раз, — примите же спасибо от сердца моего за Ваше милое отношение ко мне!

Крепко жму руку!

А. Пешков.

29. V.22

4. Феррари — Горькому

5-VI-1922

Дорогой Алексей Максимович,

Мне бесконечно стыдно перед Вами за мой вчерашний визит. Шла я к Вам с тем, чтобы просто и сердечно рассказать о том, что я зашла в глухой тупик и скоро вообще все для меня будет кончено, только дико хочется еще увидеть Россию, хоть я и знаю, что никакого исхода она мне не даст и если мои действительно погибли, то мне туда и ехать не надо.

С утра у меня некстати отнялась рука, потом, не знаю почему, меня испугала Ваша бритая голова и разоренные комнаты, и я потерялась до последней степени. Глупо и бестактно я плела Вам какой то абсолютно ненужный вздор и не смогла ничего объяснить. Я знаю, что впечатление у Вас должно было получиться самое неприятное, т. к. Вы не могли знать о моем состоянии.

Ради Бога, не истолкуйте этого письма, что я хочу что то поправить. Результат был для меня не неожидан; просто не хочется, чтобы последнее впечатление обо мне осталось таким нелепым. Прочтите и забудьте.

С искренним уважением,

Елена Феррари

5. Горький — Феррари

2 октября, 1922, Сааров

Елена Константиновна,

простите, что не отвечал Вам до сего дня, но я перебирался из Герингсдорфа в Сааров и, вот, только что устроившись здесь, — отвечаю.

За последнее время я прочитал столько новых стихов, полученных из России, что решительно не могу оценить Ваши, — как пьяный, уже не ощущаю вкуса новой бутылки вина, хотя, м. б., это очень хорошее вино. Не думайте, что сказанным я уклоняюсь от определенного ответа, нет! Поверьте, что судьба начинающего писателя всегда — и всегда искренно — волнует меня.

Но — я за оригинальностью формы ваших стихов, порою, чувствую нечто неясное, плохо сделанное и — не знаю, так ли это?

И видя однообразие содержания их, тоже не знаю — так ли это? Может быть, именно в однообразии их сила? Ахматова — однообразна, Блок — тоже, Ходасевич — разнообразен, но это для меня крайне крупная величина, поэт-классик и большой, строгий талант.

Меня смущает в стихах Ваших «щегольство» ассонансами, нарочитая небрежность рифм и прочие приемы, в которых я чувствую искусственность и не вижу искренности.

Но — снова — так ли это?

Я — не знаю.

И вот мне хотелось бы, чтоб Вы сами ответили себе на этот вопрос.

Будьте здоровы!

Как живете?

А. Пешков

Saarow

2. X.22.

6. Феррари — Горькому

Berlin W Kleiststrasse 34

6-10-22

Милый Алексей Максимович,
спасибо Вам за письмо.

Относительно неточных или небрежных рифм. — Неужели Вас бьют по слуху и пастернаковские: форма — тормоз, сиреневый — выменивать... и постоянные ассонансы Есенина? У меня это ни в коем случае не щегольство, а единственная возможная форма, так же как и неточный ритм: паузы и затакты среди полных стоп — совершенное уподобление музыкальной фразе. Если мои рифмы звучат неискренно — значит, они плохо сделаны, но я глубоко убеждена в жизненности неточной рифмы и больших ее преимуществах перед точной: она дает новые оттенки сочетанию звуков, разнообразит его, всегда получается какое то неожиданное закругление, изгиб. Вроде открытых окон: постоянно дует. И для чтения стихов — интересная форма — то сжимает, то растягивает голос. Если действительно так писать — ошибка, — не знаю, смогу ли дальше писать стихи. Теперь же пишу много, они меня захлестывают, не дают ни о чем другом думать и даже снятся. Несомненно, моя потенциальная сила много больше уменья и потому мне трудно ее организовать.

С прозой у меня получилось тяжело. Я показывала мои вещи (новые) Шкловскому. Он сказал, что они неплохи, но еще совсем не написаны. Этот человек, несмотря на все свое добродушие, умеет так разделить тебя и уничтожить, что потом несколько дней не смотришь в зеркало — боишься там увидеть пустое место. Я не знаю, как нужно писать. Как видно на одном инстинкте далеко не уедешь, и литературному мастерству надо учиться, как учатся всякому ремеслу. Весь мой душевный и умственный багаж здесь мне не поможет, а учиться я уже вряд ли успею. Я хотела в самой простейшей, голой форме передать некоторые вещи, разгрузиться что ли, хотя бы для того, чтоб не пропал напрасно материал, но оказывается и этому то простейшему языку надо учиться. С другой стороны я боюсь слишком полагаться на Шкловского, т. к. он хоть и прав, но должно быть пересаливает, — как всякий узкопартийный человек, фанатик своего метода, — говоря, что сюжет сам по себе не существует и только форма может сделать вещь. Так или иначе, но я сильно оробела и руки на прозу у меня пока еще не поднимаются.

Стихи мои не напечатаны, и надежды мало, но, может быть, это к лучшему. Работаю над ними с мучительной радостью, и кроме них у меня ничего нет и не надо. Отвлекает только халтурная работа и мысль о том, что надо вернуться в Россию. Чувствую себя скверно, следовало бы скорей

уехать, но жаль прерывать писать.

Как ваше здоровье, Алексей Максимович? Говорят, что вы за лето мало поправились. Не собираетесь ли в Веглин?

Желаю вам всего хорошего.

Е. Ф.

Р. С. Получила открытку от *В. А.* и, так как в ней есть просьба касающаяся Вас, то пересылаю ее Вам. *В. А.* все время хворал, а последнее время был вовсе плох. Очень ухудшает его состояние забота о семье, которой он теперь не поддержка. — Будьте здоровы.

7. Горький — Феррари

10 октября 1922. Сааров.

Трудно мне согласиться с Вами, Елена Константиновна!

Я — поклонник стиха классического, стиха, который не поддается искажающим влияниям эпохи, капризам литературных настроений, деспотизму «моды» и «законам» декаданса. Ходасевич для меня неизмеримо выше Пастернака, и я уверен, что талант последнего, в конце концов, поставит его на трудный путь Ходасевича — путь Пушкина.

На мой взгляд — плохо, когда человек, поддаваясь нервозной и пошловатой суете будних дней, начинает говорить ее трепанным языком. Ему кажется, что это своеобразно и ново, но — по существу — это распыление души, это печальная уступка пестроте и дробности жизни, которая не любит и не хочет поэзии, и принимает ее охотно, лишь тогда, когда поэзия отражает — или — прикрашивает ее уродства.

Не сердитесь. Поэзия — это любовь.

Есенин — анархист, он обладает «революционным пафосом», — он талантлив. А — спросите себя: что любит Есенин? Он силен тем, что ничего не любит, ничем не дорожит. Он, как зулус, которому бы француженка сказала: ты — лучше всех мужчин на свете! Он ей поверил, — ему легко верить, — он ничего не знает. Поверил и закричал на все и начал все лягать. Лягается он очень сильно, очень талантливо, а кроме того, — что? Есть такая степень опьянения, когда человеку хочется ломать и сокрушать, ныне в таком опьянении живут многие. Ошибочно думать, что это сродственно революции по существу, это настроение соприкасается ей

лишь формально, по внешнему сходству.

Всем написанным здесь я хочу сказать, что — как мне кажется — Вы не ищете себя, не хотите дойти до ощущения личной Вашей ценности и своеобразия Вашего, а заключаете Ваше «я» в сеть кривых линий, пожалуй — чуждых Вам. А хотелось бы, чтоб каждый человек оставался самим собою во всех вихрях, — это особенно ценно во дни, когда множества людей стригутся под одну гребенку.

Жму руку.

Привет!

А. Пешков

10. X.22.

8. Феррари — Горькому

Berlin W Kleinstsr[asse] 34

14-10-22

Уважаемый Алексей Максимович,

я получила Ваше письмо. Оно подкормило червяка, который давно меня грызет. Я знаю, что роль левого искусства вообще — неблагодарная роль чернорабочего. Если — или когда — Пастернак будет писать классическим стихом, то это будет совершенно блестяще. Пикассо, создавший шедевры футуризма, возвратился к реалистической форме — но какая тонкость в понимании материала и в обращении с ним, какая оригинальность неожиданной конструкции тел — чего нет у художников не прошедших чистилища футуризма. Я очень верю Вам — у Вас в подходе к искусству исторический масштаб, но посмотрите — Репин, мастер и мэтр, на старости лет увлекается футуризмом, так велика потребность обновления формального, кроме остального. Неужели Вы думаете, что Хлебников был напрасно и что Ходасевич мог расцвести и не на почве современности? У меня здесь, как говорят хохлы, ум за разум заходит. Я говорила много с художниками-футуристами — у меня создалось такое впечатление, как будто все не то заблудились, не то стоят в тупике. Убеждены в своей правоте, но не вообще, а в данный момент и для себя. Единственная опора — инстинкт (убеждение — придумано), а искусство — любовь идет по инстинкту.

Если я стою на ложном пути, — тем хуже, — и это не имеет собственной ценности, то во всяком случае это не напрасно. Ходасевич как то сказал мне по этому поводу, что победителей не судят. Победа будет должно быть за ним, а футуристам дадут в истории литературы служебную роль — злодея в ложноклассической комедии или вроде большевиков, которые пришли, сделали свое и уйдут. Работа их останется преемникам, и те ее перекроют и отшлифуют.

Вы говорите, что я не ищу себя. Я ведь тоже иду исключительно по инстинкту, но иду осторожно и боюсь крайностей, т. к. они всегда вредят художественности. Шкловский говорил, что я левею прямо на глазах. Не знаю нужно ли и удачно ли, думаю что скорее да чем нет, но искренно — определенно да.

Мне очень хотелось бы поговорить с Вами о методах работы и посоветоваться насчет некоторых вещей. Нельзя ли мне приехать к Вам за этим на полчаса-час в ближайшее время? Всего хорошего и спасибо Вам за письма. Будьте здоровы.

Е. Ф.

9. Горький — Феррари

15 октября 1922. Сааров

Конечно — приезжайте, Елена Константиновна!

Есть поезд от Fürstenwald'a до Saarow'a, а от вокзала до меня — 10 минут.

Не смотрите на мои назойливые письма как на попытки учить Вас и вывихнуть Вам душу, — таких намерений нет у меня.

Но в даровании Вашем чувствуется мною некая острота, которую, я боюсь, Вы потеряете в поисках формы.

И мне хочется, чтоб Вы, иногда, разрешали себе наслаждение быть простой, даже наивной. В новшествах же стиха нередко видишь нечто акробатическое и вымученное.

Привет.

А. Пешков

15. X.22.

10. Феррари — Горькому

Berlin W Kleiststr[asse] 34
8-1-23

Уважаемый Алексей Максимович,

сегодня я получила письмо от С. Л. Рафаловича, который, не зная Вашего адреса, просит меня написать Вам, что в связи с тем, о чем Вы говорили с Ильей Зданевичем, он [Рафалович] очень хотел бы повидать Вас и в особенности теперь, пока у Вас пребывает Андре Жермен. Он будет Вам очень благодарен, если Вы сообщите ему (через меня), когда он мог бы к Вам приехать, начиная с конца этой недели.

Пользуюсь случаем и посылаю Вам мою последнюю вещь. Мне было очень приятно слышать, что Фазилет Вам понравилась — понравится ли Шюкри?

Желаю всего хорошего.

Е. Феррари

Р. С. Относительно стихов. У меня уже давно был соблазн вводить слова на другом языке не переводя их, как я, наконец, сделала здесь («лимонли, каймакли дондурма» — по турецки — «лимонное, сливочное мороженое», «Елла» — по гречески «иди сюда», а «гель бурья» — то же самое по турецки. Разница в счете времени — 6 часов, т. е. в полдень по турецки 6 в полночь тоже). Вообще же при стихах этого объяснения не будет. Очень хотелось бы знать, как вы это найдете?

Е. Ф.

11. Горький — Феррари

11 января 1923, Сааров

Елена Константиновна,

будьте добры сообщить С. Л. Рафаловичу, что он может приехать, когда ему угодно, — А. Жермен здесь, живет в одном доме со мною.

Стихи Ваши «Джон», «Мадам» — на мой взгляд лучше всего, что

Вами написано, но, разумеется, «каймакли», «дондурма» и прочие словечки требуют объяснений, хотите Вы этого или нет. Иначе получается нечто вроде песнопений наших хлыстов:

Саварсай пурана
Майя дива луча.

Приготовьтесь, сейчас я начну обижать Вас.

Сударыня! У Вас есть ум — острый, Вы обладаете гибким воображением, Вы имеете хороший запас впечатлений бытия и, наконец, у Вас налицо литературное дарование. Но при всем этом, мне кажется, что литература для Вас — не главное, не то, чем живет душа ваша и, вероятно, именно поэтому вы обо всем пишете в тоне гениального Кусикова, хотя Вам, конечно, известно, что каждая тема требует своей формы и что истинная красота, так же, как истинная мудрость — просты.

Надеюсь, что я смертельно поразил Вас, и больше не стану отливать жестоких пуль для убийства женщины, которая может — а потому должна — найти свою форму для своего содержания. Пока же она все еще говорит чужими словами и строит их по чужим планам. Турецкий, греческий и другие лексиконы в данном случае не могут помочь.

Ищите себя — вот завет Саровского старца, который любит литературу и относится к Вам серьезно и сердечно.

Можете ругаться и спорить, но я остаюсь при своем: Вам надо выработать иную, очень свою форму, в этой же Вы себя искажаете и можете погубить. Вы мало работаете. Поэзия для Вас — не главное.

Будьте здоровы.

А. Пешков

11. I.23.

12. Феррари — Горькому

[Berlin] W62 Kleiststr[asse] 34 12–3–23

Уважаемый Алексей Максимович,
не разрешите ли Вы мне побеседовать с Вами для газеты «Information»

[орган французских радикал-социалистов] о современной русской культуре и литературе в частности. Газету очень интересует Ваше мнение по данным вопросам, и она просила меня обратиться к Вам с этой просьбой.

Я буду Вам очень благодарна, если Вы сообщите мне, могу ли я для этого приехать и когда именно.

Посылаю Вам заодно мои сказки — цикл их еще не закончен. Как Вы их найдете?

Желаю Вам всего хорошего.

Уважающая Вас

Е. Феррари

13. Горький — Феррари

16 марта 1923. Сааров

Поздравляю Вас, Елена Константиновна, рассказы, на мой взгляд, очень удались Вам!

Более того: мне кажется, что Вы нашли тот, эпически спокойный, очень, в то же время, человечный тон, который ныне ищут многие менее успешно, чем это удалось Вам. И хорошо чувствуется под этим тоном, внутри его скрытая лирика. Хорошо.

И, конечно, очень советую Вам продолжать эти очерки, сделать их штук 15–20, целую книжку.

Позвольте только заметить, что «Вместо предисловия» — вещь совершенно лишняя: рассказы такого тона и содержания не требуют ни преди-, ни послесловий. А сама по себе вещица не так удачна и проста, каковы следующие за нею.

Еще раз: мои сердечные поздравления.

И — всего доброго.

А. Пешков

16. III.23.

14. Феррари — Горькому

[Berlin] W62 Kleiststr[asse] 34 19–3–23

Уважаемый Алексей Максимович,
меня очень обрадовало Ваше письмо. Я не была уверена в том, что именно тон моих сказок покажется Вам хорошим. Я продолжаю их писать и, если Вы позволите, буду присылать следующие. Книжки в 15–20 сказок я приготовить не успею, т. к. скоро еду в Россию, а должна сдать книжку до отъезда, но до десяти, пожалуй, догоню. Желаю вам всего хорошего.

Ваша Елена Феррари

15. Феррари — Горькому

Berlin W. Kleiststr[asse] 34 22–4–23

Дорогой Алексей Максимович,
Ваше письмо меня очень обрадовало.
Хотя с Максимом Алексеевичем я говорила только о нем (и только потому, что он сам меня на это вызвал), но думала действительно и о Вас, т. к. люди говорили, что слышали обо мне «в доме Горького».

Я очень рада что это неверно о Вас и тысячу раз прошу прощенья что думала так. Не сердитесь ради Бога — в этом не только моя вина и мне пришлось слишком дорого расплатиться за все версии обо мне.

Вы пишете, что моей биографии для Вас не существует. Мне от нее отречься не нужно. Я бы гордилась моей биографией, если бы допускала, что для меня был возможен и другой путь. Но это зависело не от меня, так, как мой рост или цвет волос. Во всяком случае я твердо знаю, что никто на моем месте не сделал бы ничего лучше и больше моего и не работал для России в революцию с большим бескорытием и любовью к ней. И мне очень больно, если Вам, чтобы хорошо относиться ко мне, нужно вычеркнуть мою биографию.

Я не знаю, о какой моей пьесе В. Ходасевич говорил Вам. Он не читал моих пьес. Я думаю, что он спутал — это, должно быть, поэма (и не белым, а простым стихом) что я ему читала зимой. Пришлю ее Вам на днях, т. к. у меня ее нет сейчас. Пока же посылаю очерк «Литейная» (это будет главой повести) и две сказки. Как Вы находите «Эльку»? Мне кажется это лучше всего что я написала, хотя все еще не так как надо. И вообще я пишу не так, сама чувствую неверный тон. Я не владею ни языком ни материалом и

кроме того не уверена, что писать надо. Вы вот думаете, что у меня нет любви к моему ремеслу. Я не знаю. Радости от него во всяком случае мало. Но на эту безрадостность, а иногда и отчаяние я ничего не променяю. Литература у меня не главное, а единственное и если я ее не «люблю», то обрекаюсь ей абсолютно.

Как Ваше здоровье? Желая Вам скорее поправиться — и не сердитесь ради Бога на меня.

Елена Феррари

16. Горький — Феррари

24 апреля 1923. Сааров

Все три вещицы — не плохи, Е. К., и, думаю, что они пойдут во 2-м [№] «Беседы». Кое-что необходимо убрать — кое-какие словечки. Очень советую: не печатайте «Литейную» отрывками, весьма вероятно, что это будет удачная вещь. Хорошо «Кресту твоему».

И особенно хорошо — если Вы не ошибаетесь — что литература для Вас «единственное». Так и надо.

О биографии. Вы меня неправильно поняли, но, впрочем, я сам виноват здесь, если не приписал к словам: «Для меня Ваша биография не существует» — так, как Вы ее рассказываете, ибо у меня есть личное впечатление. Биография только одна из деталей его. Человек говорит о себе всегда неверно, и самое важное в том, что он говорит, — это: почему именно он говорит неверно?

Одни — потому, что желают ярче раскрасить себя, другие — потому, что ищут жалости, есть и еще множество причин невольной лжи человека о себе самом. Но есть люди, которые, говоря о себе, ничего не ищут, кроме себя. К таким людям я и отношу Вас. В этом — нет комплимента, нет и обиды, это просто — мое впечатление, вызванное Вами. Понятно?

Ну — все сие не суть важно, важно же, чтоб вы работали. Думаю, что Вам пора иметь немножко веры в Ваш талант. Желая успеха от всей души.

Болен, устал. Крепко жму руку.

А. Пешков

24. IV.23.

17. Феррари — Горькому

[Berlin] W. Kleiststr[asse] 34 1–5–23

Простите, милый Алексей Максимович, что задержалась с ответом: все нездорова и вообще затирают разные неудачи. Я буду очень рада если эти мои последние вещи пойдут в «Беседе». А со «словечками» — сделайте по Вашему усмотрению. Желаю Вам всего хорошего. Как Ваше здоровье?

Е. Феррари

18. Горький — Феррари

1 мая 1923. Сааров

Елена Константиновна —
слышал, что Вы едете в Россию. Мне надо знать: будете ли Вы там печатать Ваши рассказы и какие именно?

Во 2-м № «Беседы» хотелось бы напечатать «Эльку», «Коммуну», «Кресту твоему», но мы можем напечатать это лишь в том случае, если Вы не станете вторично печатать их в русских изданиях.

Как Вы смотрите на это?

Прошу ответить.

И — доброго пути!

А. Пешков

1. V.23

19. Феррари — Горькому

[Berlin] W62 Kleist[stasse] 34 5–5–23

Уважаемый Алексей Максимович,
у меня отправлены в Москву «Анюта», «Коммуна», «Звонарь» и «Глаза». Очень жаль, что я не знала, что Вы взяли бы «Коммуну», «Эльку» и «Кресту». Я, разумеется, печатать нигде больше не буду. Через два-три

дня пришло Вам одну вещь, может быть, она сможет быть третьей вместо «Коммуны». Когда еду — еще не знаю. Жду визы из Москвы. Боюсь что это затянется дольше чем я того хотела бы.

Как Ваше здоровье?

Всего хорошего.

Елена Феррари

20. Феррари — Горькому

[Berlin] W62 Kleiststr[asse] 34 / 21–5–23

Милый Алексей Максимович,

посылаю Вам «Куклу». Если она Вам подойдет и еще не поздно — не может ли она пойти в «Беседе» вместе с теми, что Вы отобрали. Как Вы ее находите? Боюсь, что замучила вещь — слишком много переписывала. Не знаю.

Если можно, я хотела бы видеть корректуры моих вещей, когда они будут набраны.

Теперь после трех месяцев перерыва пишу снова стихи. Чувствую растроганность и неумелость — как первая любовь. Страшно хорошо.

Будьте здоровы.

Ваша Ел. Феррари

21. Горький — Феррари

31 мая 1923. Сааров

Милая Елена Константиновна,

«Кукла» — не удалась, на мой взгляд. В этом тоне хорошо писал только Ганс Андерсен и — никто, кроме него. Его искусственная наивность так хороша, что кажется лучше естественной. Но, как Вы знаете, в наши дни даже дети больше не рождаются наивными.

Всю первую страницу Вы построили на отрицаниях. Это — прием скучный, да и фонетически надоедно звучит.

Тема очень не новая. Написано не очень внимательно. Пример:

«ели и пили вино».

Вино нельзя есть, уверяю Вас! Я очень близко и давно знаком с делом употребления вина. Его всегда и всем полезно пить, но я не встречал даже среди заядлых пьяниц и обжор ни одного, который съел бы бутылку вина. Простите шутку. У меня снова разыгрался туберкулез, а это — веселая болезнь.

Рад, что Вы хорошо настроены.
Жму руку.

А. Пешков

31. V.23. S[ааров]

22. феррари — Горькому

Roma, Via Gaeta 3
11.10.1924

Дорогой Алексей Максимович!

Я в Риме и очень хотела бы приехать к Вам, повидать Вас.

Можно?

Я расскажу Вам о Туркестане и о Москве, о том, что у Шкловского родился сын и назван в честь Вас — Алексеем.

Напишите мне.

Елена Феррари

23. Феррари — Горькому

Москва 3.6.26

Дорогой Алексей Максимович,

посылаю Вам мою книжку и радуюсь случаю написать Вам. За 15 месяцев проведенных в Италии я научилась писать на том языке и результат — вот этот перевод известных Вам уже стихов и недописанный роман «Партия МакМакаки», который я писала уже не переводя, прямо по итальянски, международно-авантюрный с большой личной интригой.

Стержнем романа является такой трюк: героиня знает, что это только роман, остальные же персонажи живут всерьез. Когда переведу его на русский язык, постараюсь прислать Вам. Я хочу вложить туда всё что знаю и видела, там есть вводные места совсем на другие темы и это должно быть очень человеческой вещью.

Работаю много, но без уверенности что иду по верному пути и вообще чем больше пишу, тем меньше знаю, как надо писать.

О Вас знаю то, что здесь знают все, т. е., очень немного. А хотела бы знать — очень. В Москве развилась центробежная сила — люди, от усталости, что ли, стремятся улизнуть каждый в себя, но это невозможно, жизнь тянет их кнаружи(!) и вот — качание вроде маятника. Впрочем в Европе почти то же.

Желаю Вам всего хорошего, надеюсь еще увидеть Вас когда-нибудь. Крепко жму Вашу руку.

Москва, Кривоколенный пер., д. 5, кв. 25.

Ваша Ел. Феррари

Приложение 2

Елена Феррари. Эрифилли:

Стихотворения (Берлин: Огоньки, 1923)

[\[390\]](#)

Георгу

Эрифилли

Тихо на море. Тихо везде —
Вдали и вблизи.
Эрифилли неслышно по темной воде
Скользит.
Звезды в воде — янтари
Лиловой морскою ночью.
На мачте нашей горит
Алый цветочек.
На мачте нашей горит
Кровавый флажок, —
В зеркале моря свои фонари
Зажег.
Расцветает, как в утреннем небе,
Золотой солнечный шар.
Выплывает, как алый лебедь, —
Красный петух — пожар. —
Звезды! Свой блеск тусклый, бедный,
Спрячьте.
У нас огнем горит победа
На мачте!..

«Золото кажется белым...»

А. Б.

Золото кажется белым
На темном загаре рук.
Я не знаю, что с Вами сделаю,
Но сама — наверно, сгорю.

Я уже перепутала мысли
С душным, горячим песком,
От яблок неспелых и кислых
На зубах и словах оскомины.

Беспокойно морское лето.
Я одна. Я сама так хотела.
Обедненные грустны браслеты
На коричневом золоте тела.

«Море в отсветах лиловых...»

Море в отсветах лиловых
Устало дышать.
Губы, давно не целованные,
Ждут и дрожат.

Ветер слегка свежееет,
Тревожен покой...
Кто в выгибе теплой шеи
Приютится щекой?

«Пахнет морем и зноем...»

Пахнет морем и зноем,
Ноги стройны и бодры.
Режет глаз белизной
Полотенце на бедрах.

Поет и на море глядит,
Смеясь, окликает волну.
К загорелой этой груди
Почему мне нельзя прильнуть?

«Мне звезды на небе — глаза твои...»

Памяти моторов «Дозор» и «Евгений»

Море — битва, мачта — знамя.
Вой, реви, рычи, норд-ост. —
Не задуть тебе над нами
В черном небе белых звезд.

Море судно наше гложет,
Как собака гложет кость.
Море нам готовит ложе,
Колыбельную — норд-ост.

Смотрит сверху бог матросов —
Через бурю и норд-ост
В море нам он перебросит
Путь на небо — звездный мост!

«Мне звезды на небе — глаза твои...»

Мне звезды на небе — глаза твои.
На палубе ветрено, холодно.
Этим ветром жизнь моя надвое
Расколота.

Качается мачта соломинкой,
Плотно заперты двери губ.
В этот час в твоём белом домике
Подумай обо мне на берегу.

Белый гипс на черном дереве,
Мертвы глазные впадины,
Узлом галстука серого
Завернулось распятие.

Не могу я молиться Богу:
Говорю человечесьё имя.
Подумай обо мне немного.
Позови меня.

Свечи к образам

Я люблю в вечернем храме
Ставить свечи к образам
И к Тебе в широкой раме
Поднимать мои глаза.
Позабыть людские лица,
И дышать легко, легко,
И без слов душой молиться
В тишине Твоих икон.
Льется в сумеречном свете
Голубая благодать.
Ты душе моей ответишь,
Не сказав ни «нет» ни «да».
Робко опустив ресницы,
Я уйду в мерцанья свеч
И всю ночь мне будет сниться
Глаз Твоих немая речь.

Молитва

За запах полей унавоженных,
За эту прозрачность небес,
За мир в моем сердце тревожном —
Господи, Слава Тебе.

Что завтра несет мне с собою —
Расцвету ли заново я.
Или сердце исполнится болью —
Твоя да будет воля,
Да будет воля Твоя!

Эшелоны

Памяти Бакунинского отряда

Под горами и над уклонами,
Врезаясь в зеленую грудь,
Вереницей ползут эшелоны,
Потрясая железный путь. —

И грустят удивленные степи,
Не поняв: зачем и куда?
Зачем гудками нелепыми
Растревожили тишь поезда,

Зачем путями воздушными
Новые песни солдат
Дружным роем вслед за теплушками,
Как чайки за судном, летят?

Песен слышали степи немало,
Но еще не слышали такой:
— С Интернационалом
Воспрянет род людской...

Видно, время такое пришло
И для Тебя, моя родина,
Что черноземное тело
Всколыхнули мечты о свободе.

...Рельсы дрогнули: Кто? Откуда?
Стонут степи: зачем и куда?
Под откосами трупов груды
И разбитые поезда...

И опять в зеленое лоно,
В неведомый страшный путь,
Всё ползут и ползут эшелоны,

Как железные змеи ползут.

Полночь

Ивану Пуни

От электричества камень белит.
Блеском кривым смеются панели,
Где-то в закоулках ночи
Прячет гримасы свои одиночество.

В глубь тротуаров уходит фигура,
Усталую тень волоча за собой.
Может быть, бросит случайно окурок
Ей городская, скупая любовь.

Кафе

И. П.

В черном, кривом переулке
Визжит и зовет фокс-трот.
Проходит шумно и гулко
Веселый, ночной народ.

Не плачь. Слезам не поверят!
Пей и пляши фокс-трот.
И шлепают пьяные двери
Кафе, как неряшливый рот.

Полдень

Сергею Рафаловичу

Бежали улицы зигзагами куда-то,
Метался испуганный трамвай,
А над домами, в облаках лохматых,
Кривлялась рыжая большая голова.

Беги в толпе, зови — и разорвись от крика —
К тебе не скосят мозаичных глаз
Соборы — темные, закопченные лики, —
Не вздрогнет в панцире асфальтовом земля,

И трубы водосточные от крыши
Не склонятся с участием к тебе,
И даже брат твой не услышит,
С работы торопясь на свой обед.

На лугу

Ксении Богуславской

Кружево на платице,
Юбка коротка.
Худенькая прячется
В рукаве рука.

Беспокойна улица,
Потолком туман.
Наверху сутулятся
Черные дома.

Ждать здесь каждым вечером,
Завтра и всегда.
Что дождаться нечего
Знать — и все же ждать.

Грустно ходят лошади.
Желты фонари.
Бьют часы на площади:
Раз — два — три.

Часы вокзальные

Глядят на мир двенадцатью глазами,
Устали время стрелкой отмечать
На бесконечном, тягостном экзамене.
А рядом в фонаре горит свеча,

Вагоны мимо катятся ворчливо,
Поют рожки всё те же две-три ноты,
И люди неустанно, суетливо
Несут свои пакеты и заботы.

Часы молчат. Они не могут плакать
От одиночества. Но ждут они.
Спокойно-бледным ликом циферблата
Встречают дальних поездов огни.

Вокзал

В сером, каменном вокзале
Грязный стол был пивом залит.
Взгляд ли твой, твоя слеза ли
О печали мне сказали?

Я одна в пустом вагоне,
Ты — за рамою оконной,
И в последнюю минуту
Слов не надо почему-то.

«Куда мне девать глаза...»

Куда мне девать глаза
От Ваших внимательно-строгих?
Какими словами сказать
О радостной новой тревоге?

Я привыкла прямо смотреть,
Быть свободно-собой всегда,
Но в неясном и смутном трепете
Вам я глаз не могу отдать.

Отчего я Вам письма пишу,
Хоть и знаю, что их не отправлю,
И на Ваши редкие шутки
Мой смех слезами отравлен?

Отчего в непонятном смятении,
В пустоте вечеров одиноких,
Я слежу за большою тенью
На экране Ваших окон?

«Тенью серой, тенью тихой...»

Тенью серой, тенью тихой
В кресле Вашем посижу,
И часами будет тикать
Опустелых комнат жуть.

Мне в стекло балконной двери
Клювом зяблик постучит,
И заглянут неуверенные
И ненужные лучи.

Стены, сиротливо-строго,
Будут мне молчать о Вас,
И в поникшем сердце дрогнут
Запоздалые слова.

«Вы уедете и сразу станет пусто...»

Вы уедете и сразу станет пусто;
Сердце бедное заледенеет.
Пусть и снег лежит и ветер пусть —
Мне уж быть не может холоднее.

Не изменится ничто вокруг,
Все останется по-прежнему,
Только я — вступая в новый круг, —
Улыбаться буду реже.

«Захлопнутым мышонком сердце билось...»

Захлопнутым мышонком сердце билось.
Не смей жалеть меня, не смей ласкать.
Луна неловко и несмело торопилась
Лицо свое укрыть за облака.

Любить не надо. Мне любить не надо.
И не тебе мою рассеять боль.
И ночь и этот сад совсем не рады,
Что видят нас с тобой.

«От зеркал и стекол зайчики...»

От зеркал и стекол зайчики
Снова пляшут на обоях.
Снова теплый луч весенний
Примирит меня с тобою.

Я люблю мой путь суровый,
Одиночество и волю, —
Но весенним ясным вечером
Я прийти тебе позволю.

«Свищет и дразнит ветер...»

Свищет и дразнит ветер,
В стекла лупит дождь,
Что творится на свете —
Не поймешь.
И стону и вою радо,
Кувырком, скачком, непопадом
Расплясалось белое безумие —
Бедная моя голова! —
Мысли то падают градом,
То гуськом идут, то рядом,
И нелепо, как в пасхе изюмины,
Торчат на бумаге слова.
Не стихи, а черт знает что!
Да и поэзия нужна ль еще?
Ну и пусть колеса-турусы.
Но зачем из рамки так понимающе
Глаза спокойно грустны?
На меня и за мной глядят зачем,
Строго-внимательно,
Как внезапные звезды на синем плаще
Богоматери?

Основные даты жизни и деятельности Е. К. Феррари

1899, 19 октября — в городе Екатеринославе родилась Ольга (Люся) Федоровна Ревзина, будущая Елена Феррари.

1906–1909 — жизнь за границей, в том числе в Швейцарии, с братом Владимиром и больной матерью.

1909 — смерть матери.

1914–1916 — работа помощницей швеи в селе Софиевка и в «Фотографии Штейна» города Екатеринослава.

1914 — возможное присоединение к одной из местных групп «анархистов-коммунистов».

1916 — поступление в шестой класс гимназии.

Август — вступление в РСДРП(б).

1917, январь — член подпольного комитета РСДРП(б) Екатеринослава и задержание царской полицией как хозяйки конспиративной квартиры.

Май — технический секретарь екатеринославской большевистской газеты «Звезда».

Июнь — знакомство с будущим мужем Георгием Голубовским. Выходит из партии большевиков. Примыкает к анархистскому движению в Екатеринославе.

1918, февраль — апрель — служба в анархистском партизанском отряде имени Бакунина.

Апрель — май — выезд в Москву для сдачи экзаменов за восьмой класс гимназии и переезд в поселок Майкор Пермской губернии к отцу.

Май — ноябрь — работа с мужем в сельскохозяйственном кооперативе преподавателем русского языка.

1919, январь — июль — служба в агитационном отделе Особого партизанского отряда имени ВЦИК. Обучение и работа во Всевобуче.

Сентябрь — выезд в Москву вместе с мужем и братом, поступившими в военную академию.

25 сентября — взрыв анархистами бомбы в Леонтьевском переулке в Москве.

5–6 ноября — арест Ольги Голубовской, ее брата, мужа и сестры мужа по делу о причастности к взрыву. Освобождение Ольги и Владимира примерно через две-три недели следствия.

1920, 27 января — покинула Москву и уехала на Украину. В то же время туда возвращается и отчисленный из академии Владимир Воля.

17 февраля — муж Ольги Георгий Голубовский приговорен к концлагерю «на все время гражданской войны».

Март — июнь — служба в 13-й армии и начало работы в военной разведке (Регистрод штаба Кавказского фронта).

Май — июль (?) — возможно, обучалась в Москве на курсах Региструпра РВС Республики. Вероятно, на самом деле в это время отправилась в Закавказье и Турцию в составе Особой группы Региструпра со своим братом, В. Я. Аболтиным, И. В. Саблиным, Ф. П. Гайдаровым и др.

1921, 15 октября — гибель яхты генерала П. Н. Врангеля «Лукулл», стоявшей на рейде Константинополя. Таран, нанесенный ей итальянским пароходом «Адриа», с 1932 года считается делом рук Елены Феррари, что не подкрепляется, однако, ни одним доказательством.

Вторая половина осени — выезд из Константинополя и переезд в Берлин.

1922, февраль — возможное время знакомства (первой встречи) с А. М. Горьким. Начало их переписки.

1923, май — выход поэтического сборника «Эрифилли», его презентация в Берлине.

Осень — возвращение Елены Феррари в Москву.

1924, осень (не позже 11 октября) — начало командировки в советское полпредство в Риме.

Осень — начало зимы — командировка в Париж.

1925, февраль — март — возвращение в Рим. Публикация стихотворного сборника «Принкипо» («Principio») на итальянском языке.

Конец года — возвращение в Москву.

1926, июль — увольнение из армии.

28 июля — начало работы в Главконцесском.

1930, 11 февраля — увольнение из Главконцесскома, переход на работу в Фотокинокомитет.

1 апреля — возвращение на службу в военную разведку. Командировка во Францию.

1932, март — апрель — возвращение в Москву из парижской командировки.

25 июля — публикация в парижской эмигрантской газете «Возрождение» первого варианта версии Н. Н. Чебышёва об участии Елены Феррари в гибели яхты «Лукулл».

Осень — начало обучения на Разведывательных курсах усовершенствования комсостава при Военной академии имени М. В. Фрунзе.

1933, 21 февраля — подписано постановление ЦИК СССР о награждении группы военных разведчиков, в том числе Е. К. Феррари, орденами Красного Знамени.

Август — очередная командировка в Париж.

Декабрь — командировка в Австрию под псевдонимом «Итало».

1934, август — назначена помощником начальника 1-го (Западного) отдела IV Разведывательного управления РККА.

1936, март — ноябрь — американская командировка в качестве временного резидента под псевдонимом «Вера».

1937, 1 ноября — арест по обвинению в участии в контрреволюционной троцкистской деятельности.

1938, 16 июня — Елена Константиновна Феррари приговорена к расстрелу. Убита на полигоне «Коммунарка» под Москвой.

1942, 28 марта — Елена Феррари посмертно лишена правительственной награды — ордена Красного Знамени № 140.

1957, 23 марта — Ольга Федоровна Ревзина признана невиновной и полностью реабилитирована.

Литература

Документы

Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ЦА ФСБ РФ)

Дело Р-10307.

Дело Р-23670.

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦА МО РФ)

Ф. 23. Оп. 2804. Д. 6.

Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5.

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ)

Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61.

Ф. 5955. Оп. 1. Д. 7.

Ф. Р. 6666. Оп. 1. Дело 11–19.

Ф. 10 035. Оп. 2. Дело П-49860.

Ф. 10 035. Оп. 2. Дело П-70460.

Российский государственный военный архив (РГВА)

Ф. 4. Оп. 2. Д. 502.

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)

Ф. 2. Оп. 1. Д. 24 693.

Российский государственный архив экономики (РГАЭ)

Ф. 8346. Оп. 1. Д. 25.

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА)

Ф. 14. Оп. 459. Д. 168.

Государственный архив Донецкой области (ГА ДО)

Ф. 11. Оп. 1. Д. 465.

Архив А. М. Горького при Институте мировой литературы имени А. М. Горького РАН

Архив исследовательского центра восточной литературы при Бременском университете

Ф. FSO-0134 Kromiadi-Kruzhin.

Личные архивы

Архив Голубовской Е. Г.

Архив Малкина П. В.

Архив Нехотина В. В.

Книги и статьи

Абрамов В. Евреи в КГБ: Палачи и жертвы. М., 2005.

Агаев А. Г. Нажмудин Самурский (политический портрет). Махачкала, 1990.

Алексеев М. А. «Ваш Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Китае: 1930–1933 гг. М., 2010.

Алексеев М. А. «Верный Вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. М., 2017.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. М., 2019.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка накануне войны: 1935–1938 гг. М., 2019.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. М., 2012.

Белый А. Одна из обитателей царства теней. Л., 1924.

Берберова Н. Н. Курсив мой: Автобиография. М., 2014.

Бояджи Э. История шпионажа: В 2 т. М., 2003. Т. 1.

Варнек П. А. У берегов Кавказа в 1920 году // Гражданская война в России: Черноморский флот. М., 2002.

Величие родины в ваших славных делах! Главному разведывательному управлению Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации 100 лет: Военно-исторический очерк / Под ред. И. В. Коробова. М., 2018.

Волкогонов Д. А. Ленин: Политический портрет: В 2 кн. М., 1994. Кн. 1.

- Вольтон Т. КГБ во Франции. М., 1993.
- Воронин Л. Б. Эдуард Багрицкий. М., 2018 (Жизнь замечательных людей).
- Ганин А. В. Чапай в академии // Родина. 2008. № 4.
- Гаспарян А. С. Россия в огне Гражданской войны: Подлинная история самой страшной братоубийственной войны. М., 2016 (Тайные смыслы).
- Гейро Р. Три письма Виктора Шкловского Илье Зданевичу // Русская мысль. Париж, 1987. 25 декабря (№ 3705).
- Гопнер С. И. 1916 год в Екатеринославе // Летопись революции: Журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и Коммунистической партии (большевиков) Украины. Киев, 1923.
- Горелик А. Анархисты в Российской Революции: Издание Рабочей издательской группы в Республике Аргентина. Июнь 1922 // <http://socialist.memo.ru/books/html/gorelik.html>.
- Городченко В. Революции — век: как это было в Екатеринославе // <https://gorod.dp.ua/news/128743>.
- Горький М. Полное собрание сочинений: Письма: В 24 т. Т. 14: 1922 — май 1924. М., 2009; Т. 16: Март 1926 — июль 1927. М., 2013.
- Горький М. Сергей Есенин // Горький М. Счастье: [Сборник]. М., 2010.
- Гражданская война в России: Черноморский флот / Сост. В. Доценко. М., 2002.
- Гуль Р. Б. Дзержинский: (Начало террора). Нью-Йорк, 1974.
- Гуль Р. Б. Жизнь на фукса // <https://www.litmir.me/br/?b=55838&p=25>.
- Густерин П. В. Разведупр РККА в 1920–30-х годах // Советская разведка на Ближнем и Среднем Востоке в 1920–30-х годах. Саарбрюккен, 2014.
- Д'Амелия А. Русско-итальянский художник на итальянской сцене: Виничо Паладини // «Беспокойные музы»: К истории русско-итальянских отношений XVIII–XX веков: В 2 т. / Сост. А. Д'Амелия. Salerno, 2011.
- Даллин Д. Советский шпионаж в Европе и США: 1920–1950 годы. М., 2017 (Разведка и контрразведка).
- Дальман В. Октябрьские дни в Екатеринославе: (Мысли и воспоминания). Серпухов, 1907.
- Дворецкий Л. И. О болезни и смерти А. М. Горького // Туберкулез и болезни легких. 2019. Т. 97. № 3. С. 54–62.
- Демидов О. В. Горький и имажинисты // Нижний Новгород. 2018. № 1 (18).
- Дикин Ф., Стори Г. Дело Рихарда Зорге. М., 1996.
- Документы внешней политики СССР: В 24 т. / Гл. ред. А. А. Громыко

(т. 1–21). М., 1957–2000. Т. 2.

Документы и материалы РОВС: 1920–1923 гг. // <http://golos.ruspole.info/node/6922>.

Дубовик А. В. Мария Продан и анархисты Екатеринославщины в 1900-х гг. // <http://www.makhno.ru/forum/showthread.php?p=32762>.

Дубровина О. В. Деятельность советского полпредства по созданию положительного образа СССР в фашистской Италии в 20-е гг. XX века // Исторические исследования: Журнал исторического факультета МГУ. 2017. № 6.

Загребельный М. П. Эдуард Багрицкий. Харьков, 2012 (Знаменитые украинцы).

Закржевская А. Песни солнца и ночи. Wien; Leipzig, 1921.

Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки: В 2 т. М., 2000. Т. 1.

Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. КГБ: Приказано ликвидировать: Спецоперации советских спецслужб: 1918–1941. М., 2004.

Коростелев О. А. Несколько штрихов к истории литературы первых лет эмиграции: (Из архива С. В. Познера) // Русская эмиграция: Литература. История. Кинолетопись: Материалы международной конференции (Таллин, 12–14 сентября 2002 года) / Ред. В. Хазан, И. Белобровцева, С. Доценко. М., 2004.

Котков В. М. «Если бы не доброе сердце русского солдата»: Дочери российских полков во второй половине XIX века // Военно-исторический журнал. М., 2011. № 3.

Кочик В. Я. Разведчики и резиденты ГРУ: За пределами Отчизны. М., 2004 (Тайная война).

Красная книга ВЧК: В 2 т. / Ред. А. М. Велидов. М., 1989. Т. 1.

Краснознаменный Киевский: Очерк истории Краснознаменного Киевского военного округа (1919–1979). Киев, 1979.

Кривицкий В. Г. Я был агентом Сталина // <https://www.litmir.me/br/?b=187938&p=35>.

Кубасов А. Л. Концентрационные лагеря на Севере России во время Гражданской войны // Новый исторический вестник. 2009. № 57.

Кудрявцев С. В. Заумник в Царьграде: Итоги и дни путешествия И. М. Зданевича в Константинополь в 1920–1921 годах. М., 2016.

Лавров — годы эмиграции: Архивные материалы: В 2 т. / Отобрал, снабдил прим. и вступ. очерком Б. Сапир. Dordrecht; Boston, 1974. Т. 2.

Литературная энциклопедия Русского Зарубежья: 1918–1940: В 4 т. / Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М., 1997–2006. Т. 2: Периодика и

литературные центры. Ч. 1.

Лота В. И. Резидент «особого калибра»: Елена Феррари: Поэтесса, разведчица или террорист? М., 2020.

Лукин В. К. Операции на Черном море в 1920 г. // Гражданская война: Боевые действия на морях, речных и озерных системах: В 3 т. Л., 1925–1926. Т. 3.

Лурье В. Воспоминания // Студия. 2006. № 10.

Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ: Дела и люди. СПб.; М., 2002 (Россия в лицах).

Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. М., 1956–1960.

Махно Н. И. Азбука анархиста: Воспоминания. М., 1992.

Махров К. В. 1-я Международная художественная выставка: Дюссельдорф. 1922 // Искусство и архитектура Русского Зарубежья // <https://artz.ru/places/1804660654/1804784764.html>.

Мелешин К. Ю. Процессуальный аспект использования в доказывании сведений, полученных негласным путем политической полицией Российской империи и органами ВЧК — ОГПУ — НКВД // Политическая история России: Прошлое и современность. Исторические чтения: Вып. 15: «Гороховая, 2» / Отв. ред. А. М. Кулегин. СПб., 2017.

Молодяков В. Э. Валерий Брюсов: Биография. СПб., 2010. С. 302–303, 400.

Молодяков В. Э. По следам бездомных Аонид // <https://aonidy.livejournal.com/78565.html>.

Мочульский К. В. Кризис воображения: Статьи. Эссе. Портреты. Томск, 1999.

Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве: 1940–1941: Сборник документов / Сост. А. Р. Дюков. М., 2012 (Восточная Европа. XX век).

Никитин А. Л. Орден российских тамплиеров: Т. 1. М., 2003.

Ноздрачев А. Д., Петрицкий В. А. Первый в России Дом ученых // Вестник Российской академии наук. 1995. Т. 65. № 10.

Одоевцева И. Двор чудес: Стихи (1920–1921). Пг., 1922.

Осоргин М. А. «Как нас уехали» (фрагмент воспоминаний) // Времена. Париж, 1955.

Петровский Г. И. Воспоминания о работе на Брянском заводе в 90-х годах // Летопись революции: Журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и Коммунистической партии (большевиков) Украины. Киев, 1923.

Петророва А. Охота на генерала Врангеля // Военно-промышленный курьер. 2017. 23 декабря.

Петророва А. Покушение на генерала Врангеля // Столетие. 2008. 12 мая.

Позняков В. В. Советская разведка в Америке: 1919–1941. М., 2005.

Равич-Черкасский М. Е. 12–14-е годы в Екатеринославе // Летопись революции: Журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и Коммунистической партии (большевиков) Украины. Киев, 1923.

Райхцаум А. Л. К истории советско-турецких дружеских связей // Исторический архив. 1962. № 2.

Ратьковский И. С. Разоружение анархистов в Москве в апреле 1918 г. // Вестник СПбГУКИ. 2015. № 2 (23). Июнь.

Саблина В. В. Саблины: Годы. События. Люди. М., 2007 // http://senkov.sitecity.ru/phtml_2501163013.phtml.

Старков Б. А. Охотники на шпионов: Контрразведка Российской империи: 1903–1914. СПб., 2006.

Судоплатов П. А. Хроника тайной войны и дипломатии: 1938–1941 годы. М., 2017 (Мемуары под грифом «секретно»).

Тепляков А. Г. Машина террора: ОГПУ — НКВД Сибири в 1929–1941 гг. // <http://www.memorial.krsk.ru/Articles/2008Teplyakov/02.htm>.

Троцкий Л. Д. Дневники и письма / Под ред. Ю. Г. Фельштинского; предисл. А. А. Авторханова. М., 1994.

Троцкий Л. Д. Последний период борьбы внутри партии. https://www.marxists.org/russkij/trotsky/1929/my_life_t2/19.htm.

Улановская М. А., Улановская Н. М. История одной семьи. СПб., 2003.

Усов В. Н. Советская разведка в Китае в 20-е годы XX века. М., 2011.

Утургаури С. Н. Белые русские на Босфоре: 1919–1929. М., 2013.

Флейшман Л. С. Поэтесса-террористка: [Послесл.] // *Феррари Е.* Эрифили: Стихотворения. М., 2009.

Фукс М. В. Планы «сине-оранжевой войны» и первые шаги российско-американского военного сотрудничества на Дальнем Востоке // <http://xn-80afg3aiou.xn-p1ai/sources/history/civilwar/civilwar-x=08.php>.

Ходасевич В. М. Портреты словами: У Горького в Сорренто // <https://biography.wikireading.ru/262779>.

Ходасевич В. Ф. Камер-фурьерский журнал. М., 2002.

Ходасевич В. Ф. Путем зерна: Третья книга стихов. М., 1922 (2-е изд.).

Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1996–1997. Т. 4: Некрополь. Воспоминания. Письма.

Ходасевич В. Ф. Счастливый домик: Вторая книга стихов. Пг.; Берлин; М., 1922.

Цветков В. Ж. Гибель «Лукулла» // Родина. 1998. № 5–6.

Цфасман А. Б. «Русский Берлин» начала 1920-х годов: издательский бум // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 34.

Чебышёв Н. Н. Близкая даль: Воспоминания. Париж, 1933.

Червоное казачество: 1918–1923: Сборник материалов по истории червоного казачества / Вступ. ст. Г. И. Петровского. Харьков, 1923.

Черняк Я. З. Записи 20-х годов // Воспоминания о Борисе Пастернаке / Сост. Е. Б. Пастернак, М. И. Фрейнберг. М., 1993.

Шамбаров В. Е. Белогвардейщина. М., 2002 (История России. Современный взгляд).

Шевцов И. Б. Особое задание. М., 1965.

Шкловский В. Б. ZOO, или Письма не о любви // <http://www.marie-olshansky.ru/ct/zoo.shtml>.

Шкловский В. Б. Собрание сочинений: Т. 1: Революция / Сост., вступ. ст. И. Калинина. М., 2018.

Янгиров Р. М. К биографии В. Б. Шкловского // Тыняновский сборник: Вып. 11: Девятые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М., 2002. С. 550.

Chambers W. Winness. New York, 1952.

Chronik russischen Lebens in Deutschland: 1918–1941. Berlin, 1999.

Dallin D. J. Soviet Espionage. New Haven, 1955.

Ferrari E. Prinkipo. Roma, 1925.

Futurismo ayer y hoy. La historia, la poesia, las obras del futurismo reinterpretadas por el grupo futuristiti. <https://www.futurismo.org/artistas/vinicio-paladini>.

Gordon W. Prange. Target Tokyo; New York, 1984.

Sophocles. Tragoediae: Софокл. Драмы Пер. Ф. Ф. Зелинского, О. В. Смыки, В. Н. Ярхо; под ред. М. Л. Гаспарова, В. Н. Ярхо. М., 1990 / http://lib.ru/POEEAST/SOFOKL/sofokl3_9.txt.

Surh G. Ekaterinoslav City in 1905: Workers, Jews, and Violence', International Labor and Working-Class // History. No. 64 (Fall 2003).

Toccare le idee // <http://toccare8.rssing.com/chan-34559340/latest.php>.

Wrangel lost everything // The New York Times. 1921. 19 Oct.

Preamble & Constitution of the Industrial Workers of the World // <https://www.iww.org/culture/official/preamble.shtml>

The University of Manchester // <http://dialecticsofmodernity.manchester.ac.uk/journal/8>

Вести Николаева // <http://vsevesti.com/go/ru/article/id/1554672/issledovanie-srodni-rassledovaniju.html>

Герои страны // http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11862

К новой идеологии — к новой революции! // <http://saint-juste.narod.ru/Dalman.html>

МКОУ ДО «Центр военно-патриотического воспитания, туризма и экскурсий» города-курорта Кисловодска // <https://centurkmv.ru/zhertvy-fashizma/>

Повстанческое движение 1918–1921 гг.: [Форум] // <http://www.makhno.ru/forum/showthread.php?p=32762>

Проект «Бессмертный барак» // bessmertnybarak.ru/article/poryadok_rassmotreniya/

Проект «Открытый список» // <https://ru.openlist.wiki>

Периодика

Дни. 1922. 10 ноября; 1923. 12 мая.

Известия ВЦИК РСФСР. 1921. 27 января.

Новая русская книга. Берлин, 1922. № 9,10; 1923. № 1.

Правда. 1918. 13 апреля.

Рабочее знамя: Орган петроградских анархистов-коммунистов. 1918. № 1. 30 января. Вторник.

notes

Примечания

1

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 7.

Расстреляна нацистами в период оккупации Кисловодска. См.: <https://centurkmv.ru/zherty-fashizma/>.

3

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 7.

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2804. Д. 6. Л. 1. В дальнейшем материалы ЦА МО РФ. Ф. 23 цит. по: Лота В. И. Резидент «особого калибра»: Елена Феррари: Поэтесса, разведчица или террорист? М., 2020. Оп. 2804. Д. 6 — С. 258, 259, 271–273, 277. Оп. 2766. Д. 5 — С. 260, 261, 266, 267, 269, 274–275.

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 6.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. М., 2012. С. 200.

ЦГИА Ф. 14. Оп. 459. Д. 168. Л. 66.

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 3.

Лавров — годы эмиграции: Архивные материалы: В 2 т. / Отобрал, снабдил прим. и вступ. очерком Б. Сапир. Dordrecht; Boston, 1974. Т. 2. С. 635.

Дальман В. Октябрьские дни в Екатеринославе: (Мысли и воспоминания). Серпухов, 1907 // <http://saint-juste.narod.ru/Dalman.html>.

Государственный архив Донецкой области (ГА ДО). Ф. 11. Оп. 1. Д. 465. Л. 107 // https://berkovich-zametki.com/2015/Starina/Nomer2/Bystrjakov1.php#1.2._1905_год_—_погромы_сопротивление_. Дата обращения: 19.09.2019.

Surh G. Ekaterinoslav City in 1905: Workers, Jews, and Violence',
International Labor and Working-Class // History. No. 64 (Fall 2003). P. 146.

Петровский Г. И. Воспоминания о работе на Брянском заводе в 90-х годах // *Летопись революции: Журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и Коммунистической партии (большевиков) Украины*. Киев, 1923. С. 29–33.

Позже В. Ф. Воль будет называть другой год смерти матери — 1910-й (ЦА ФСБ. Дело Р-23670. Л. 5).

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 3–3 об.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. С. 200.

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 4-5.

ЦА ФСБ. Дело Р-23670. Л. 161.

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 9.

Дубовик А. В. Мария Продан и анархисты Екатеринославщины в 1900-х гг. // <http://www.makhno.ru/forum/showthread.php?p=32762>.

Равич-Черкасский М. Е. 12–14-е годы в Екатеринославе // Летопись революции: Журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и Коммунистической партии (большевиков) Украины. Киев, 1923. С. 102–103.

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 5.

Лота В. И. Указ. соч. С. 27.

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 23.

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 247. Д. 5 ч. 23 Б.

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 9.

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 5.

Гопнер С. И. 1916 год в Екатеринославе // Летопись революции: Журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и Коммунистической партии (большевиков) Украины. Киев, 1923. С. 144.

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-23670. Л. 160.

Лота В. И. Указ. соч. С. 27.

Городченко В. Революции — век: как это было в Екатеринославе // <https://gorod.dp.ua/news/128743>.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 17 об.

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 53.

Гуль Р. Б. Дзержинский: (Начало террора). Нью-Йорк, 1974 // <http://www.lib.ru/RUSSLIT/GUL/dzerzhinsky.txt>.

Лота В. И. Указ. соч. С. 28–29.

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 5.

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 9.

Рабочее знамя. Орган петроградских анархистов-коммунистов. 1918.
№ 1. 30 января. Вторник. С. 3.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 5.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 5 об.

Котков В. М. «Если бы не доброе сердце русского солдата»: Дочери российских полков во второй половине XIX века // Военно-исторический журнал. М., 2011. № 3. С. 3–6 (Армия и общество).

По рассказам автору дочери Георгия Григорьевича Голубовского Елены Георгиевны.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 6 об.

Preamble & Constitution of the Industrial Workers of the World // <https://www.iww.org/culture/official/preamble.shtml>.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 17 об.

Горелик А. Анархисты в Российской Революции.
<http://socialist.memo.ru/books/html/gorelik.html>.

Махно Н. И. Азбука анархиста: Воспоминания. М., 1992. С. 41–43.

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 5 об.

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 17.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 17 об.

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 9.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. С. 200.

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 5 об.

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 6 об.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Дело П-70460. Л. 5 об.

Никитин А. Л. Орден российских тамплиеров. М., 2003 (Тайная история советской России). С. 306.

Сведения получены в переписке с А. В. Дубовиком.

61

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-23670. Л. 5.

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-23670. Л. 161.

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-23670. Л. 32–33.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 17.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. С. 200.

РГВА. Ф. 4. Оп. 2. Д. 502. Л. 287.

РГВА. Ф. 4. Оп. 2. Д. 502. Л. 352.

Ратьковский И. С. Разоружение анархистов в Москве в апреле 1918 г. // Вестник СПбГУКИ. 2015. № 2 (23). Июнь. С. 24–30.

Правда. 1918. 13 апреля.

От повстанчества к регулярной армии // Краснознаменный Киевский: Очерк истории Краснознаменного Киевского военного округа (1919–1979). Киев, 1979. С. 21–24.

Цит. по: Воронин Л. Б. Эдуард Багрицкий. М., 2018 (Жизнь замечательных людей). С. 64–70.

Воронин Л. Б. Эдуард Багрицкий. М., 2018 (Жизнь замечательных людей). С. 64–70.

Воронин Л. Б. Эдуард Багрицкий. М., 2018 (Жизнь замечательных людей). С. 64–70.

Воронин Л. Б. Эдуард Багрицкий. М., 2018 (Жизнь замечательных людей). С. 64–70.

Загребельный М. П. Эдуард Багрицкий. Харьков, 2012 (Знаменитые украинцы) // <https://litlife.club/books/212573/read?page=1>.

Лота В. И. Указ. соч. С. 43.

Червоное казачество: 1918–1923: Сборник материалов по истории червоного казачества / Вступ. ст. Г. И. Петровского. Харьков, 1923.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. С. 200–201.

Лота В. И. Указ. соч. С. 44.

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 5 об.

Лота В. И. Указ. соч. С. 33–34.

ЦА МО. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 9.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 6 об.

Цит. по: Ганин А. В. Чапай в академии // Родина. 2008. № 4. С. 93–95.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 18.

Цит. по: Красная книга ВЧК: В 2 т. / Ред. А. М. Велидов. М., 1989. Т. 1.
С. 390–400.

Красная книга ВЧК: В 2 т. / Ред. А. М. Велидов. М., 1989. Т. 1. С. 390–400.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 3.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 4–5.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 7, 18.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 32.

Цит. по: Красная книга ВЧК: В 2 т. Т. 1. С. 390–400.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 23.

Цит. по: Вострышев М. И. Москва сталинская: Большая иллюстрированная летопись. М., 2011. С. 99.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 21–21 об.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 1.

Концентрационные лагеря в северных, контролируемых большевиками районах страны существовали с осени 1918 года. Условия содержания в них были установлены жесточайшие, а за малейшие провинности, отказы от тяжелых работ и проявления недисциплинированности специальной телеграммой ВЧК от 2 сентября 1918 года было предусмотрено одно наказание: расстрел. — См.: Кубасов А. Л. Концентрационные лагеря на Севере России во время Гражданской войны // Новый исторический вестник. 2009. № 57. С. 58–59.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 20–20 об.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 21.

ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 2. Д. 49 860. Л. 30.

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-23670. Л. 165.

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-23670. Л. 46–51 об.

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-23670. Л. 52–57.

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-23670. Л. 83–88.

Лота В. И. Указ. соч. С. 45.

Ганин А. В. Указ. соч. С. 97.

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 9.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. М., 2019. С. 24–27.

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2804. Д. 6. Л. 7.

110

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 47.

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2804. Д. 6. Л. 1.

Лота В. И. Указ. соч. С. 49–50.

Лота В. И. Указ. соч. С. 31.

ЦА МО РФ. Ф. 23.Оп. 2804. Д. 6. Л. 1.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 66–68.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 70–75.

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 5 об.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. С. 200.

Судоплатов П. А. Хроника тайной войны и дипломатии: 1938–1941 годы. М., 2017 (Мемуары под грифом «секретно»). С. 181.

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2804. Д. 6. Л. 7.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. С. 211–212.

Шевцов И. Б. Особое задание. М., 1965 // http://militera.lib.ru/memo/russian/shevtsov_ib/index.html.

Лукин В. К. Операции на Черном море в 1920 г. // Гражданская война: Боевые действия на морях, речных и озерных системах: В 3 т. Л., 1925–1926. Т. 3. С. 331.

<http://vsevesti.com/go/ru/article/id/1554672/issledovanie-srodni-rassledovaniju.html>.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. С. 200.

Райхцаум А. Л. К истории советско-турецких дружеских связей // Исторический архив. 1962. № 2. С. 232–235.

Соболев А. А. Гражданская война на Черном море: 1918–1920 // Гражданская война в России: Черноморский флот / Сост. В. Доценко. М., 2002. С. 237.

Варнек П. А. У берегов Кавказа в 1920 году // Гражданская война в России: Черноморский флот / Сост. В. Доценко. М., 2002. С. 407–408.

Лукин В. К. Указ. соч. С. 345.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 132.

Райхцаум А. Л. Указ. соч. С. 235.

Годовой отчет НКВД к VIII съезду Советов РСФСР (1919–1920) // Документы внешней политики СССР: В 24 т. / Гл. ред. А. А. Громыко (т. 1–21). М., 1957–2000. Т. 2. С. 804.

Письмо Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР
Председателю Великого Национального Собрания Турции Мустафе
Кемаль-паше от 3 июня 1920 г. // Документы внешней политики СССР: В
24 т. / Гл. ред. А. А. Громько (т. 1–21). М., 1957–2000. Т. 2. С. 804.

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 5 об.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 151.

Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки: В 2 т. М., 2000. Т. 1. С. 175.

Известия. 1921. 27 января.

ГА РФ. Ф. 10 035. Дело П-70460. Л. 5 об.

В уже цитировавшейся книге о советской военной разведке в предвоенный период она однозначно упоминается как член Особой группы с июня 1920 года. — См.: Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 135.

Лота В. И. Указ. соч. С. 51.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С.135–139, 143.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 127–135.

Утургаури С. Н. Белые русские на Босфоре: 1919–1929. М., 2013. С. 51–52.

Цит. по: Кудрявцев С. В. Заумник в Царьграде: Итоги и дни путешествия И. М. Зданевича в Константинополь в 1920–1921 годах. М., 2016. С. 56.

Кудрявцев С. В. Заумник в Царьграде: Итоги и дни путешествия И. М. Зданевича в Константинополь в 1920–1921 годах. М., 2016. С. 69–71.

Кудрявцев С. В. Заумник в Царьграде: Итоги и дни путешествия И. М. Зданевича в Константинополь в 1920–1921 годах. М., 2016. С. 74–75.

Подробнее о врангелевской эмиграции в Константинополь см., например: Утургаури С. Н. Указ. соч.

Чебышёв Н. Н. Близкая даль: Воспоминания. Париж, 1933. Здесь и далее цит. по: <http://www.dk1868.ru/history/chebishev.htm>.

Чебышёв Н. Н. Близкая даль: Воспоминания. Париж, 1933. Здесь и далее цит. по: <http://www.dk1868.ru/history/chebishev.htm>.

Чебышёв Н. Н. Близкая даль: Воспоминания. Париж, 1933. Здесь и далее цит. по: <http://www.dk1868.ru/history/chebishev.htm>.

Цветков В. Ж. Гибель «Лукулла» // Родина. 1998. № 5–6. С. 129.

Чебышёв Н. Н. Указ. соч.

Цит. по: Кудрявцев С. В. Указ. соч. С. 131.

Кудрявцев С. В. Указ. соч. С. 130–131.

ГА РФ. Ф. 5955. Оп. 1. Д. 7. Л. 16–17.

Чебышёв Н. Н. Указ. соч.

Чебышёв Н. Н. Указ. соч.

См., например: Гаспарян А. С. Россия в огне Гражданской войны: Подлинная история самой страшной братоубийственной войны. М., 2016. С. 248; Шамбаров В. Е. Белогвардейщина. М., 2002. С. 533; Петросова А. Охота на генерала Врангеля // Военно-промышленный курьер. 2017. 23 декабря.

Агаев А. Г. Нажмудин Самурский (политический портрет). Махачкала, 1990. С. 5.

Здесь и далее материалы французского следствия по делу «Лукулла»
цит. по: ГА РФ. Ф. Р. 6666. Оп. 1. Д. 11–19.

ГА РФ. Ф. Р. 6666. Оп. 1. Д. 18. Л. 44, 48.

ГА РФ. Ф. Р. 6666. Оп. 1. Д. 18. Л. 64–68.

ГА РФ. Ф. Р. 6666. Оп. 1. Д. 18. Л. 54.

ГА РФ. Ф. Р. 6666. Оп. 1. Д. 18. Л. 25.

ГА РФ. Ф. Р. 6666. Оп. 1. Д. 18. Л. 54–55.

ГА РФ. Ф. Р. 6666. Оп. 1. Д. 18. Л. 57.

ГА РФ. Ф. Р. 6666. Оп. 1. Д. 18. Л. 58.

Фукс М. В. Планы «сине-оранжевой войны» и первые шаги российско-американского военного сотрудничества на Дальнем Востоке // <http://xn-80afg3aiou.xn-p1ai/sources/history/civilwar/civilwar-x=08.php>.

Wrangel lost everything // The New York Times. 1921. 19 Oct.

Петросова А. Покушение на генерала Врангеля // Столетие. 2008. 12 мая.

ГА РФ. Ф. Р. 6666. Оп. 1. Д. 189. Л. 2, 11–15.

Цит. по: Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. КГБ: Приказано ликвидировать: Спецоперации советских спецслужб: 1918–1941. М., 2004 // www.litmir.me/br/?b=630353&p=20.

Ответ Бюро по связям с общественностью и средствам массовой информации СВР России № 170/13894 от 19.12.2019.

Усов В. Н. Советская разведка в Китае в 20-е годы XX века. М., 2011.
С. 384.

Цит. по: Кудрявцев С. В. Указ. соч. С. 135–137.

Осоргин М. А. «Как нас уехали» (фрагмент воспоминаний) // *Времена*. Париж, 1955. С. 180–185. — Цит. по: *Хрестоматия по истории России: 1917–1940* / Под ред. М. Е. Главатского. М., 1994. С. 265–268.

ГА РФ. Ф. 5955. Оп. 1. Д. 4. Л. 121.

ГА РФ. Ф. 5955. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.

Белый А. Одна из обитателей царства теней. Л., 1924. С. 30.

Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки: В 2 т. Т. 1. С. 176.

Густерин П. В. Разведупр РККА в 1920–30-х годах // Советская разведка на Ближнем и Среднем Востоке в 1920–30-х годах. Саарбрюккен, 2014. С. 92.

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 4.

Алексеев М. А. «Ваш Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Китае. 1930–1933 гг. М., 2010. С. 170.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 180–182.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 180–182.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 227–229.

Величие родины в ваших славных делах! Главному разведывательному управлению Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации 100 лет: Военно-исторический очерк / Под ред. И. В. Коробова. М., 2018. С. 21.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 191.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 180–182.

Величие родины в ваших славных делах!.. С. 22.

Цфасман А. Б. «Русский Берлин» начала 1920-х годов: издательский бум // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 34. С. 102–106.

Цфасман А. Б. «Русский Берлин» начала 1920-х годов: издательский бум // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 34. С. 102–106.

Ноздрачев А. Д., Петрицкий В. А. Первый в России Дом ученых // Вестник Российской академии наук. 1995. Т. 65. № 10. С. 922–930. Текст декрета см.: <http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/16859-23-dekabrya-dekret-snk-ob-uluchshenii-polozheniya-nauchnyh-spetsialistov>.

Дворецкий Л. И. О болезни и смерти А. М. Горького // Туберкулез и болезни легких. 2019. Т. 97. № 3. С. 54–62 // <https://www.tibl-journal.com/jour/article/viewFile/1253/1255>.

Берберова Н. Н. Курсив мой: Автобиография. М., 2014. С. 48.

Лота В. И. Указ. соч. С. 64.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 241.

Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки: В 2 т. М., 2000. Т. 1. С. 151–152.

Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки: В 2 т. М., 2000. Т. 1. С. 152.

Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ: Дела и люди. СПб.; М., 2002 (Россия в лицах). С. 465.

Лота В. И. Указ. соч. С. 67–68.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. М., 2017. С. 147.

Горький М. Полное собрание сочинений: Письма: В 24 т. Т. 14: 1922 — май 1924. М., 2009. С. 31.

Горький М. Полное собрание сочинений: Письма: В 24 т. Т. 14: 1922 — май 1924. М., 2009. С. 382.

Горький М. Полное собрание сочинений: Письма: В 24 т. Т. 14: 1922 — май 1924. М., 2009. С. 52–53.

207

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2804. Д. 6. Л. 1.

Гуль Р. Б. Жизнь на фукса // <https://www.litmir.me/br/?b=55838&p=25>.

Шкловский В. Б. ZOO, или Письма не о любви // <http://www.marie-olshansky.ru/ct/zoo.shtml>.

Лурье В. И. Воспоминания // Студия. 2006. № 10 // <https://magazines.gorky.media/studio/2006/10/vospominaniya-10.html>.

Янгиров Р. М. К биографии В. Б. Шкловского // Тыняновский сборник: Вып. 11: Девятые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М., 2002. С. 550.

Ходасевич В. Ф. Камер-фурьерский журнал. М., 2002. С. 26, 34.

Chronik russischen Lebens in Deutschland: 1918–1941. Berlin, 1999. S. 134.

Дни. 1922. № 11. 10 ноября. С. 5.

Гейро Р. Три письма Виктора Шкловского Илье Зданевичу // Русская мысль. Париж, 1987. 25 декабря (№ 3705). С. 7.

Новая русская книга. Берлин, 1922. № 10.

Флейшман Л. С. Поэтесса-террористка: [Послесл.] // Феррари Е. Эрифилли: Стихотворения. М., 2009. С. 62.

Молодяков В. Э. По следам бездомных Аонид // <https://aonidy.livejournal.com/78565.html>.

Ходасевич В. Ф. Камер-фурьерский журнал. С. 38.

ГА РФ. Ф. 5955. Оп. 1. Д. 4. Л. 121; Д. 8. Л. 168.

Горький М. Сергей Есенин // Горький М. Счастье: [Сборник]. М., 2010.
С. 21.

Демидов О. В. Горький и имажинисты // Нижний Новгород. 2018. № 1 (18). С. 154.

Демидов О. В. Горький и имажинисты // Нижний Новгород. 2018. № 1 (18). С. 154.

Коростелев О. А. Несколько штрихов к истории литературы первых лет эмиграции: (Из архива В. С. Познера) // Русская эмиграция: Литература. История. Кинолетопись: Материалы международной конференции (Таллин, 12–14 сентября 2002 года) / Ред. В. Хазан, И. Белобровцева, С. Доценко. М., 2004. С. 321–353.

Шкловский В. Б. Собрание сочинений: Т. 1: Революция / Сост., вступ. ст. И. Калинина. М., 2018. С. 129.

Новая русская книга. Берлин, 1922. № 9.

Литературная энциклопедия Русского Зарубежья: 1918–1940: В 4 т. / Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М., 1997–2006. Т. 2: Периодика и литературные центры. Ч. 1. С. 204.

Махров К. В. 1-я Международная художественная выставка: Дюссельдорф. 1922 // Искусство и архитектура Русского Зарубежья. — <https://artrz.ru/places/1804660654/1804784764.html>.

Дни. 1923. 12 мая. С. 5.

Sophocles. Tragoediae: Софокл. Драмы Пер. Ф. Ф. Зелинского, О. В. Смыки, В. Н. Ярхо; под ред. М. Л. Гаспарова, В. Н. Ярхо. М., 1990 (Литературные памятники) / http://lib.ru/POEEAST/SOFOKL/sofokl3_9.txt.

Флейшман Л. С. Указ. соч. С. 40–42.

Закржевская А. Песни солнца и ночи. Wien; Leipzig, 1921. (В сборнике указаны место и год написания этого стихотворения — Одесса, 1919.)

Мочульский К. В. Кризис воображения: Статьи. Эссе. Портреты. Томск, 1999. С. 344.

Коростелев О. А. Указ. соч.

235

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 29.

Янгиров Р. М. Указ. соч. С. 530–532.

Черняк Я. З. Записи 20-х годов // Воспоминания о Борисе Пастернаке / Сост. Е. Б. Пастернак, М. И. Фрейнберг. М., 1993. С. 119.

Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. М., 1956–1960. Т. 4. С. 489.

239

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 6.

240

РГВА. Ф. 4. Оп. 2. Д. 502. Л. 287.

Лота В. И. Указ. соч. С. 88.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. С. 200–201.

Горький М. Полное собрание сочинений: Письма: В 24 т. Т. 14. С. 211.

Лота В. И. Указ. соч. С. 98.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. С. 232, 241.

Лота В. И. Указ. соч. С. 100–101.

Цит. по: Дубровина О. В. Деятельность советского полпредства по созданию положительного образа СССР в фашистской Италии в 20-е гг. XX века // Исторические исследования: Журнал исторического факультета МГУ. 2017. № 6. С. 118.

Ходасевич В. М. Портреты словами: У Горького в Сорренто // <https://biography.wikireading.ru/262779>.

Ленин В. И. Письмо В. В. Воровскому. 8 сентября 1921 г. // РГАСПИ.
Ф. 2. Оп. 1. Д. 24693 — автограф.

Дубровина О. В. Указ. соч. С. 119.

Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки: В 2 т. Т. 1. С. 159–164.

Лота В. И. Указ. соч. С. 172–173.

Д'Амелия А. Русско-итальянский художник на итальянской сцене: Виничо Паладини // «Беспокойные музы»: К истории русско-итальянских отношений XVIII–XX веков: В 2 т. / Сост. А. Д'Амелия. Salerno, 2011. Т. 2. С. 230–233.

Троцкий Л. Д. Дневники и письма / Под ред. Ю. Г. Фельштинского; предисл. А. А. Авторханова. М., 1994 // <http://lib.ru/TROCKIJ/dnewniki.txt>.

255

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2804. Д. 6. Л. 6.

Ferrari E. Prinkipo. Roma, 1925.

Лота В. И. Указ. соч. С. 173.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. С. 197–198.

Лота В. И. Указ. соч. С. 173.

Лота В. И. Указ. соч. С. 105–106.

261

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 9.

262

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 29.

Саблина В. В. Саблины: Годы. События. Люди. М., 2007 // http://senkov.sitecity.ru/phtml_2501163013.phtml.

264

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 4.

Троцкий Л. Д. Последний период борьбы внутри партии // https://www.marxists.org/russkij/trotsky/1929/my_life_t2/19.htm.

Горький М. Полное собрание сочинений: Письма: В 24 т. Т. 16: Март 1926 — июль 1927. М., 2013. С. 87–88, 101.

Горький М. Полное собрание сочинений: Письма: В 24 т. Т. 16: Март 1926 — июль 1927. М., 2013. С. 106–107.

РГАЭ. Ф. 8346. Оп. 1. Д. 25. Л. 27–29.

Futurismo ayer y hoy. La historia, la poesía, las obras del futurismo reinterpretadas por el grupo futuristi // <https://www.futurismo.org/artistas/vinicio-paladini>.

<http://dialecticsofmodernity.manchester.ac.uk/journal/8>.

271

Toccare le idee // <http://toccare8.rssing.com/chan-34559340/latest.php>.

272

Проект «Открытый список» // <https://ru.openlist.wiki/>
[Саблин Игорь Владимирович](#).

Лота В. И. Указ. соч. С. 114–115.

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 27–28.

Вольтон Т. КГБ во Франции. М., 1993. С. 18–21.

Даллин Д. Советский шпионаж в Европе и США: 1920 — 1950-е годы. М., 2017 // <https://mybook.ru/author/devid-dallin/sovetskij-shpionazh-v-evrope-i-ssha-1920-1950-gody/read/?page=6>.

Даллин Д. Советский шпионаж в Европе и США: 1920 — 1950-е годы. М., 2017 // <https://mybook.ru/author/devid-dallin/sovetskij-shpionazh-v-evrope-i-ssha-1920-1950-gody/read/?page=6>.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 147.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. С. 327.

Бояджи Э. История шпионажа: В 2 т. М., 2003. Т. 1. С. 373.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 154.

Чебышёв Н. Н. Указ. соч.

Ходасевич В. Ф. Из письма М. М. Карповичу от 7 апреля 1926 г. //
Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1996–1997. Т. 4:
Некрополь. Воспоминания. Письма //
http://az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/text_1030.shtml.

Ходасевич В. Ф. Из письма В. Г. Лидину от 21 августа 1921 г. //
Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1996–1997. Т. 4:
Некрополь. Воспоминания. Письма //
http://az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/text_1030.shtml.

Ходасевич В. Ф. Из письма Ю. И. Айхенвальду от 31 июля 1926 г. //
Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1996–1997. Т. 4:
Некрополь. Воспоминания. Письма //
http://az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/text_1030.shtml.

Молодяков В. Э. Валерий Брюсов: Биография. СПб., 2010. С. 302–303, 400.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 142.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 143.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 144.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 144.

Здесь и далее цит. по: Дикин Ф., Стори Г. Дело Рихарда Зорге. М., 1996. С. 122–126.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 147.

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 1-3.

Chambers W. Winness. New York, 1952. P. 87; Dallin D. J. Soviet Espionage. New Haven, 1955. P. 60–66; Gordon W. Prange. Target Tokyo; New York, 1984. P. 530.

Позняков В. В. Советская разведка в Америке: 1919–1941. М., 2005. С. 337.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка накануне войны: 1935–1938 гг. М., 2019. С. 403–404.

Кривицкий В. Г. Я был агентом Сталина // <https://www.litmir.me/br/?b=187938&p=35>.

Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки: В 2 т. Т. 1. С. 203.

Лота В. И. Указ. соч. С. 116–117.

Лота В. И. Указ. соч. С. 115–116.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 299.

302

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 27–28.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 152.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 401.

305

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 14.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 152.

Лота В. И. Указ. соч. С. 117–118.

Лота В. И. Указ. соч. С. 117.

Лота В. И. Указ. соч. С. 118–119.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 304.

Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки: В 2 т. Т. 1. С. 193–194.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка накануне войны: 1935–1938 гг. С. 280.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка накануне войны: 1935–1938 гг. С. 279.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка накануне войны: 1935–1938 гг. С. 280–281.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка накануне войны: 1935–1938 гг. С. 281.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 152.

Лота В. И. Указ. соч. С. 130.

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Советская военная разведка: 1917–1934 гг. С. 201.

Лота В. И. Указ. соч. С. 131.

Лота В. И. Указ. соч. С. 131–132.

Позняков В. В. Указ. соч. С. 145–146.

Лота В. И. Указ. соч. С. 133.

Позняков В. В. Указ. соч. С. 288–289.

Позняков В. В. Указ. соч. С. 294.

Здесь и далее цит. по: Лота В. И. Указ. соч. С. 133.

Лота В. И. Указ. соч. С. 135.

Лота В. И. Указ. соч. С. 135.

Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ: Дела и люди. С. 479.

29. Лота В. И. Указ. соч. С. 136–139.

Лота В. И. Указ. соч. С. 142–143.

Лота В. И. Указ. соч. С. 142.

Цит. по: Старков Б. А. Охотники на шпионов: Контрразведка Российской империи: 1903–1914. СПб., 2006. С. 151.

Лота В. И. Указ. соч. С. 140.

Лота В. И. Указ. соч. С. 141–142.

Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки: В 2 т. Т. 1. С. 210–212.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 439, 474–475.

Лота В. И. Указ. соч. С. 143–144.

Лота В. И. Указ. соч. С. 145–146.

Лота В. И. Указ. соч. С. 146–147.

Лота В. И. Указ. соч. С. 149–150.

Лота В. И. Указ. соч. С. 147.

Алексеев М. А. «Верный вам Рамзай»: Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии: Кн. 1: 1933–1938 гг. С. 447.

Лота В. И. Указ. соч. С 148–149.

Лота В. И. Указ. соч. С. 170–175.

Лота В. И. Указ. соч. С. 176.

Лота В. И. Указ. соч. С. 151.

Лота В. И. Указ. соч. С. 266.

Лота В. И. Указ. соч. С. 156–157.

Лота В. И. Указ. соч. С. 158.

Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки: В 2 т. Т. 1. С. 232–233.

Волкогонов Д. А. Ленин: Политический портрет: В 2 кн. М., 1994. Кн. 1. С. 101.

Волкогонов Д. А. Ленин: Политический портрет: В 2 кн. М., 1994. Кн. 1. С. 101.

353

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 1–3.

354

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 7.

355

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 8.

Мелешин К. Ю. Процессуальный аспект использования в доказывании сведений, полученных негласным путем политической полицией Российской империи и органами ВЧК — ОГПУ — НКВД // Политическая история России: Прошлое и современность. Исторические чтения: Вып. 15: «Гороховая, 2» / Отв. ред. А. М. Кулегин. СПб., 2017. С. 33.

Приказ НКВД от 11.10.1939 № 001223. ГДА СБУ. Ф. 9. № 84-СП. Л. 142–158. — Цит. по: Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве: 1940–1941: Сборник документов / Сост. А. Р. Дюков. М., 2012 (Восточная Европа. XX век). Приложение II, документ № 1.

Мелешин К. Ю. Указ. соч. С. 34.

Тепляков А. Г. Машина террора: ОГПУ — НКВД Сибири в 1929–1941 гг. // <http://www.memorial.krsk.ru/Articles/2008Teplyakov/02.htm>.

Улановская М. А., Улановская Н. М. История одной семьи. СПб., 2003
// <https://www.rulit.me/books/istoriya-odnoj-semi-read-228033-54.html>.

Кочик В. Я. Разведчики и резиденты ГРУ: За пределами Отчизны. М., 2004 (Тайная война) // https://modernlib.net/books/kochik_valeriy/razvedchiki_i_rezidenti_gru/read/.

Абрамов В. Евреи в КГБ: Палачи и жертвы. М., 2005. С. 308.

363

ГА РФ. Дело П-70460. Л. 51.

364

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 47–49.

Бессмертный барак: Порядок рассмотрения заявлений граждан с запросами о судьбе лиц, осужденных к ВМН // https://bessmertnybarak.ru/article/poryadok_rassmotreniya/.

366

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 56.

367

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 125–126.

368

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 69, 128–129.

369

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 69, 76–78.

370

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 131.

371

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 114 об., 129, 140.

372

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 110.

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 111–112.

374

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 113.

375

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 116–166 об.

376

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 117.

377

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 118.

ЦА ФСБ. Дело Р-23670. Л. 161, 164–165, 168.

379

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 160.

380

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 1, 7–9.

381

ЦА ФСБ. Дело Р-23670. Л. 172.

382

ЦА ФСБ. Дело Р-10307. Л. 126.

383

ЦА ФСБ. Дело Р-10307. Л. 130.

384

ЦА ФСБ. Дело Р-10307. Л. 132.

385

ЦА ФСБ. Дело Р-10307. Л. 140.

386

ГА РФ. Ф. Р7523. Оп. 60. Д. 2564. Л. 1.

387

ГА РФ. Ф. Р7523. Оп. 60. Д. 2564. Л. 3–5.

Письма Феррари Горькому цит. по оригиналам: КГ-П 82–2–1 — КГ-П 82–2–13 / Архив А. М. Горького при Институте мировой литературы имени А. М. Горького РАН. Письма Горького Феррари по: Горький М. Полное собрание сочинений: Письма: В 24 т. Т. 14. С. 44–45, 55, 93, 94, 97, 123–124, 162, 177–179, 188.

Новая русская книга: [Ежемесячный критико-библиографический журнал]. Берлин: Изд-во И. П. Ладыжникова, 1922. № 1–2; Пильняк Б. Город Ростиславль: Отрывки из повести // Накануне. 1922. № 2. 28 марта.

390

Цит. по: Флейшман Л. М. Указ. соч. С. 7–28.

comments

Примечания редакции

1

Флорентий Федорович Павленков (1839–1900) — один из крупнейших русских книгоиздателей.

Перевод В. Жаботинского.

«Рабочие Сиона».

4

Industrial Workers of the World (IWW).

Имя при рождении — Лейба Давидович Бронштейн.

6

Крым, Коктебель, перед приходом Красной армии.

Подпись автора: «17. XI-1920. Константинополь. „Генерал Алексеев“. 20-ый кубрик. Темнота. Духота. Сырость. Крысы пицат».

Ныне Анкара.

Михаил Аронович Шейнкман.

Автору довелось в свое время видеть копию дела на агента Разведупра на японской территории В. С. Ощепкова, начавшего сотрудничество с советской разведкой в феврале 1920 года, но оформлено это сотрудничество было лишь в сентябре 1921-го, то есть полтора года спустя.

Ныне Бююкада.

Алексей Максимович Пешков.

Овсей-Герш Аронович Радомысльский.

Полную переписку А. М. Горького и Е. К. Феррари см. в *Приложении 1*.

Ходасевич В. Ф. Счастливый домик: Вторая книга стихов. Пг.; Берлин; М.: Изд-во З. И. Гржебина, 1922; *Ходасевич В. Ф.* Путем зерна: Третья книга стихов. М.: Творчество, 1922 (2-е изд.).

Одоевцева И. Двор чудес: Стихи (1920–1921). Пг.: Мысль, 1922.

Эмигрантская газета, как легко догадаться, не разделявшая идеи сменовеховцев.

В ежемесячном журнале «Новая русская книга», издававшемся в Берлине в 1921–1923 годах, в выпуске № 1 (январском) за 1923 год на странице 36 читаем: «...на очередной пятнице „Дома искусств“... 29 дек. Проф. С. С. Чахотин прочел психологический этюд „Заживопогребенный“ (так в публикации. — А. К.) и Е. К. Ферари (так в публикации. — А. К.) свои стихи».

Леонид Григорьевич (Леон Гершкович) Мунштейн (1866–1947) — поэт-эмигрант (псевдоним Лоло), родившийся в Екатеринославе, в 1920 году живший на острове Принкипо и скончавшийся во французской Ницце.

Сообщено автору Владимиром Владимировичем Нехотиным с опорой на семейные предания Шкловских.

Стихи Веры Михайловны (Моисеевны) Инбер (урожд. Шпенцер) посвящены ее двоюродному дяде — Льву Давидовичу Троцкому.

Ныне Славянская площадь (северная часть) и площадь Варварских
Ворот (южная часть).

Меер-Генох Моисеевич Валлах.

Израиль Лазаревич Гельфанд.

Славко (Славомир) Вукелич станет агентом советской военной разведки, будет воевать в Испании, устанавливать связь на линии Лиссабон — Москва, а когда вернется, его арестуют по ложному обвинению. Как ни удивительно, не расстреляют. Но годового следствия он не переживет. Выйдя из тюрьмы, Славко Вукелич сразу скончался. Судьба его жены автору неизвестна.

Перевод Ады Оношкович-Яцыны.

Вероятно, *Эдвард Филлипс Оппенгейм* (1866–1946) — популярный в первой половине XX века английский писатель, автор примерно 150 шпионских романов и новелл.

Самуил Гершевич Гинзберг.

Главный военный клинический госпиталь. Десятилетие спустя, после Великой Отечественной войны, ему будет присвоено имя Н. Н. Бурденко.

В деле его сестры дата ареста смещена на январь 1917 года и подтверждается показаниями участников подполья.

В этом и последующих письмах орфография и пунктуация сохранены.